

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

6

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

На Индию при Петре I

Княжна Тараканова

Потемкин на Дунае

Рассказы


Г.П. ДАНИЛЕВСКИЙ
6
Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

На Индию при Петре I

Княжна Тараканова

Потемкин на Дунае

Рассказы

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том
шестой



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.

Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. — М.: ТЕРРА, 1995. — 464 с.

ISBN 5-85255-733-1 (т. 6)
ISBN 5-85255-702-1

В шестой том вошли три исторических романа: «На Индию при Петре I», где автор показал картину неудачного хивинского похода кн. Бековича; «Потемкин на Дунае», в котором нарисованы картины второй турецкой войны, описан знаменитый штурм Измаила, и «Княжна Тараканова» — трогательная история несчастной и загадочной искательницы приключений. Сюда же включены рассказы.

Д $\frac{4702010100-037}{А30(03)-95}$ Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-733-1 (т. 6)
ISBN 5-85255-702-1



На Индию при Петре I

Ехать тебе к хивинскому хану и в Индию к Моголу... Для сего дать четыре тысячи солдат, судов и казаков. Все то сделать... а в газард не входить.

Приказ Петра I Бековичу

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ПАРИЖЕ

I

Парижские гардемарины

В числе молодых русских людей, изучавших в начале XVIII века морское дело в Париже, были между прочими москвичи Текутьев и Касаткин и сын зажиточного астраханского дворянина Юрлов.

Они жили дружно и обучались не без успеха, хотя, вырвавшись на волю, веселились во всю молодую душу, мотая последний рубль и входя в долги по уши.

В исходе 1716 года эту колонию заморских учеников смутила нежданная весть, что государь Петр, затевая поход на Индию, намерен вскоре посетить Голландию, а быть может, приехать и в Париж, где предполагает сделать гардемаринам испытание в науках и смотр.

Парижским агентом царя в то время состоял сын его старого учителя «всешутейшего князь-папы» Никиты Моисеевича Зотова — Конон Никитич.

Он был послан за море десять лет назад, а именно в 1706 году, в числе двухсот других взрослых и в большинстве женатых волонтеров-недорослей для «доброхотного и с понуждением изучения солдатского артикула, кумпаса, метания бомб, морского хождения и рисования мачтапов и карт». Комнатные спальники, боярские дети и провинциальные дворяне, проходя заморскую науку, сперва именовались навигаторами, потом получили название гардемаринов. Конон Зотов, ранее окончив учение, успел побывать в Англии, Португалии и Царьграде. После его производства в лейтенанты всешутейший «Магнус Наклеванги», его отец, хотел оставить сына в России, где предполагал его женить.

Чужие вольные края, однако, не на шутку пленили сына князь-папы. Родина и предстоявшая семейная жизнь со служебными занятиями в новой Петербургской гавани показались ему скучны. Он стал вторично проситься за море, чем весьма огорчил отца, но зато отменно обрадовал царя.

Конона снабдили наставлениями, и он был снова послан во Францию, где ему поручили надзор за новобранцами, проходившими науку в морских школах Людовика XIV, в Париже, а также в Марселе, Бресте и Тулоне.

Впечатлительный, живой, добродушный и легкомысленный Конон Зотов усердно взялся за выполнение различных поручений неугомонного непоседы-царя. Он подробно с 1710 по 1716 год ему доносил через кабинет-секретарей и в откровенных личных посланиях об успехах и поведении вверенных гардемаринов; приговаривал на русскую службу подходящих добрых ремесленников, матросов и прочих нарочито-опытных французов; давал государю советы по части торговли юфтью, воском и паюсной икрой; приискивал ему в теплицы пробковые и лавровые деревья, не свыше двух футов ростом; переводил на славянский штиль, «за их штилем не гоняясь», технические «нужные ко флоту» книги; по-

купал и отсылал в Петербург канаты, якоря, лечебные снадобья, подростков-крокодилов, попугаев, обезьян и прочие диковинки заморских краев.

Конон хлопотал и о дальнейшей присылке за море лучших недорослей — латинистов и математиков, как он выражался, «из средней статьи людей» — «не из подлых, ниже из породных» — «для того, что везде породные презирают труды».

Донесения Зотова о порученных ему гардемаринах радовали царя. Ученики, по словам блюстителя, успешно проходили навигацию, пушкарное и ружейное мастерство, учились астрономии, езде на лошадях, танцеванию, знанию приличий, биться на шпагах и рисовать.

Одно огорчало Зотова — скудость в деньгах на содержание учеников.

Зная расчетливость скупого на мелочи жизни царя, Конон еще с 1712 года осторожно, обиняками, «для сбережения репутации российских знатных сынов», стал уведомлять государя, что «признаваемые всею Европою за добрых кавалеров» ученики терпят непосильную нужду, вдаются в большие, неоплатные долги, а через то их не токмо тягают в полицейские расправы и по судам, но даже заключают, до уплаты долга, в тюрьму. «Заимодавцы — прежестокий и гнусный народ, — писал Зотов из Парижа, — теснят учащихся, штрафуют и отнимают у них шпаги. Умилосердись, надежа-государь: вонми нуждишкам твоих ребят. Зело скупятся твои министры, да на добро ль? Молодежь она хорошая, иногда грехом и пошалит. Казна хоть и не моего ума дело — да как умолчу?»

Царя, однако, трудно было провести. Он угадывал главную причину «скудостей» в обиходе заморских учеников. Ему было ведомо, что некоторым из них богатые отцы и матери слали тайные щедрые пособия вдобавок к содержанию от казны.

«Балуются господа, твои гардемарины, — отвечал царь Зотову, — плохо смотришь за ними. Чай, Ивашке Хмель-

ницкому, сиречь, по-вашему, по-заморски, богу Бахусу, весьма усердно служат, да и Венус, прекрасная богиня, знать, не без частых и обильных жертв... Приеду, увижу; экзаменом ведь не пошучу. Гляди на обученного Бековича — где он не полезен? И на Кубани, и за Каспием, и об Индии предлагает... А мы об Индии зело помышляем!»

Зотов задумался об Индии: «И впрямь царь снаряжает туда поход... отрядит, пожалуй, и его с учениками».

«Не гиппокритским языком, истинно говорю, — написал Конон государю спустя некоторое время, — лучше перебить подростков, что поросят, а не оставлять в гладе и хладе. Прости, что так открыто и просто написано. А что до Бахуса и до прелестные Венус, то вашему величеству перенесено неверно и через край, в чем животом ручаюсь, от верного сердца писавый, Зотов».

Царь ответил: «Ой, насквозь вижу, Конон, тебя и твоих шатунов. Мало вразумляешь и коришь, оттого и долги. Нужная вам казна — тысяча ефимки — довышлется через банкира сии ж дни; а пробелы в муштре и добром поведении школяров, как повидимся, Конон, допишу — только не на бумаге...»

Денежная подмога подросткам была выслана. Петр придумал и особую меру.

Осенью 1713 года он дал указ сенату через князя Якова Долгорукова: «Ко обретающимся в обученье за морем гардемаринам, кои на родине были женаты, безотложно послать из России их жен».

При этом государь посоветовал и родичу Зотова, отцу гардемарина Текутьева, препроводить к сыну невестку в Париж. «Твой молодожен хоть и без смутьянства, — сказал царь при этом Текутьеву, — но хозяйка во всяком разе даст порядок как домашнему нраву, так и статским делам».

Была, впрочем, и другая причина отсылки в Париж жены гардемарина Текутьева.

В подмосковной его отца проживала воспитанная с его женой и с младшей сестрой сирота по имени Дуня.

Дуне в то время, когда состоялся названный царский указ сенату, было около пятнадцати лет. Ее происхождение хранилось от всех в тайне. Называли ее просто Дуняша-сирота. Но все знали, что в ее судьбе принимал особое участие сам царь.

Сперва девочка жила в семье одного иностранного ремесленника в Москве, на Немецкой слободе; потом состояла при комнатах приятельниц царского любимца Меншикова, девиц Дашки да Варьки Арсеньевых, где пользовалась расположением и их тогдашней сожительницы Екатерины Трубачевой, впоследствии супруги государя, императрицы Екатерины Первой. После брака Меншикова с Дарьей Арсеньевой сироту держали в хоромах Данилыча. А когда двор окончательно переехал в Петербург, подрастающую Дуню поместили в московском доме, потом в подмосковной усадьбе Текутьевых, куда к ней приставили для обучения грамоте и шитью заезжую иноземку-няню.

Московские сплетницы передавали за верное, что Дуня — дочь Меншикова, прижитая Данилычем до его брака с Дарьей Арсеньевой. Другие толковали, что она духовного происхождения, чуть ли не дочь знаменитого церковного витии архиепископа Стефана Яворского и жены какого-то польского магната. Третьи шли еще далее: с оглядкой и шепотом сообщали, что рождение Дуни совпадает с одним из амурных похождений в Немецкой слободе самого Петра, что она тайная дочь царя.

Один Петр знал истинное происхождение Дуни и по особой причине держал это в секрете от всех, кроме двух-трех ближайших слуг, в том числе Меншикова. Через них он следил за сиротою, руководил ее воспитанием и, как знали Данилыч и старик Зотов, держал на ее имя где-то в иностранном банке немалую сумму денег, собранную из сбережений, нередко скудной, собственной своей казны.

Дуня в детстве часто видела Петра у Арсеньевых и у Меншикова. Государь брал на колени резвую, коротко

остриженную, веселую девочку, щекотал ее, пощипывал за круглые румяные щечки и любил с нею шутить.

— А где стрижка-бедокур? — говорил Петр, нежданно являясь в приветных арсеньевских светлицах, в конце Немецкой слободы. — Позвать стрекозу.

Белокурая резвая девочка вбегала с улицы, в перемаранных башмаках, или с огорода, в сенной трухе и в репейниках на голове.

— Эк, убралась! — смеялся государь. — А ну, сказку про Сашку или про белого бычка.

Быстроглазая девочка, раскачиваясь на его огромных ботфортах, начинала, пришепетывая: «Был человек Сашка, на спине драная рубашка...»

Все хохотали, смеялся и государь.

Долго помнила Дуня черные, для других грозные, для нее ласковые, глаза Петра, острый запах табака-кнастера из его смеющихся грубоватых губ и в трудах небритый, жесткий его подбородок, натиравший крупные пятна на ее щеках и ушах.

Жившая при Дуне в Мячкове иноземка-няня была до присылки к Текутьевым в числе мастериц по части заморских мод государевой сестры Натальи. Землячка царского друга, женевца Лефорта, она обучала питомицу кроме грамоты и шитья своему родному французскому, а отчасти и немецкому языку. На высоко взбитые золотистые, в пудре, волосы и красное, с хвостом, платье Дуняшиной няни заглядывались в околотке как на некое диво. «Жар-птица летит!» — говорили о ней крестьяне, когда няня и ее питомица с лукошками, книжкой и зонтиком отправлялись в лес на прохладе почитать и поискать грибов.

И в то время, когда окрестные, коломенские и каширские, боярышни коротали скучные досуги, слушая россказни мамушек и нянюшек о наваждениях злого духа или о пустынном житии святых, иноземка-няня учила Дуню игре на лютне, романсу о рыцаре Роланде и даме его сердца Розе и ломаным русским языком рассказывала ей о голубых горах

и озерах Швейцарии и о веселой чудной Франции, где учительница провела детские годы.

Дуня слушала рассказы наставницы, приглядываясь к тихим мячковским полям, и думала: «Царь ездит в чужие земли... возьмет ли он когда-нибудь и меня в те далекие, волшебные края?»

Засыпая в лунные, вешние ночи на мячковской вышке, Дуня грезила, что вот пробьет час и она поедет в эти шумные заморские города, где женщины, по слухам, живут на свободе, носят красивые одежды, ездят на балы, театры и вечера, где народ ласковый, добрый и где, по словам няни, жизнь катится так весело и легко.

И вдруг — сон наяву, страница из волшебной сказки...

Жене гардемарина Текутьева и Дуне с ее няней была объявлена царская воля — ехать немедленно в Париж. Сестре Текутьева, как сговоренной невесте драгунского майора Франкенберга, было разрешено остаться у отца, в ожидании близкой свадьбы.

Сборы были недолги. Старые бояре знали, что государь не любит шутить с отсрочками. Дни и недели скучного медленного переезда искупались для странниц ожиданиями заветной цели вояжа. Молодайка Текутьева твердила: «Ах, Дунюшка, друг, скоро ли, скоро ли? Спроси у мадамы!» Дуня не отрывалась от окна рыдвана, который тащился пятую неделю по Германии от польских границ. Ее наставница при виде скал и зеленых берегов Рейна расплакалась, а у въезда в парижскую заставу не выдержала и бросилась на шею загорелого и запыленного инвалида. Путницы устроились у Зотова, жившего с Текутьевым, за Сеной, у какого-то огородника, возле Дома инвалидов. Средствами из Мячкова были снабжены достаточно; на Дуню было отпущено и от государевой ближней канцелярии. Посетили оперу, подгородные королевские мызы, балет; гуляли в Тюильри и Версале; катались в катере по Сене. Текутьев и его това-

рищи-гардемарины выбивались из сил, чтобы занять дорогих гостей. Дуня обо всем, что видела и слышала, извещала в дружеских письмах в Мячково сестру Текутьева: куда и как ее возили, как поют знаменитые королевские певицы Пелисье и Сале и как пляшет восхитительная балетчица — девица Камарго.

Высланные по воле государя жены гардемаринов упали, как снег, на голову заморских учеников. Рассеянная светская жизнь, волокитства и открытые столы богатых, попойки с уличной молодежью и карточная игра остальных должны были поневоле прекратиться. Лень и шатание по Парижу первым присланным в науку русским варварам пришлось бросить, усерднее сесть за книги и чертежи.

«Прозорлив еси, великий государь, — не утерпев, написал Конон Зотов Петру, — попал, ваше величество, не в бровь, а самою точию в глаз. Все тебе ведомо, сквозь землю на три локтя зришь. Ребятам от сожительниц пришел пребольшущий конфуз, и все, можно сказать, исправились; злющие и бедовые бабенки оказались у иных. Пошли тебе Боже долгие, славные дни.»

«То-то, Конон, — отвечал Зотову царь, — и им впредь будет не повадно, да и тебе, яко их Аргусу, в немалый авантаж.»

Недолго пожил со своей хозяйкой гардемарин Текутьев. В Париже в том году свирепствовала оспа. От нее заболела Текутьева, лежала недолго и, через три месяца по приезде в Париж, умерла. Скорбь молодого вдовца была непритворная. Он с первых дней женитьбы от всего сердца любил жену.

«Дунюшку отделял ли от покойной хозяйки Текутьева? — тревожился царь, осведомляясь у Зотова об остальной парижской колонии. — Берегитесь дьявольской болячки и не плошайте.»

— Да, á propos, — сказал государь кабинет-секретарю Макарову, — напиши Зотову, чтоб, не мешкав, съездил к королевским министрам и, для Бога, просил бы оказать мне

особую услугу: поместить нашу сироту в некое изрядное учебное пристанище. Их у моего брата, короля Луи, доволе; хоть бы, примером, в оный преславный Сент-Сирский девичий монастырь, о коем почасту в «Курантах» читаем. Конону и потому надобеть скорее то уладить, что его родич нонче овдовел, а он не женат, и ему, несемейному, хоть и имеется при ней мадама, не след в доме холостую девку растить.

Макаров обо всем известил Конона. Тот бросился выполнять новое поручение царя, но встретил нежданную преграду.

Девичьим Сен-Сирским, Людовика Святого, монастырем в то время заведовала его покровительница, доживавшая век в Трианоне знаменитая фаворитка, потом тайная жена престарелого Людовика XIV, вдова поэта Скаррона, Франциска Д'Обиньи, восьмидесятилетняя маркиза де Ментенон. Аристократическая чопорность и предрассудки основателей этого приюта поставили множество преград для поступления в его среду. Требовались, между прочим, дворянская кровь и знаменитость рода, не менее четырех восходящих колен по отцу.

Приходилось избрать другое училище или объяснить тайну рождения Дуни. Петру не хотелось ее лишить благопотребного в лучшей тогдашней школе европейского образования. Он снесся с полномочным своим послом в Голландии князем Куракиным и поручил ему кончить это дело. Куракин, под особым подходящим предлогом, посетил для этой цели Париж. Он переговорил с секретарем главного министра, показал ему бумаги Дуни и расписку банка о вложенном на ее имя капитале, поднес ему и маркизе Ментенон щедрые презенты, и Дуня в конце 1714 года была помещена в Сен-Сирский монастырь.

Зотов не мог помириться с мыслью, что Куракин вырвал у него в этом деле успех. Приезд русского посла и его секретные сношения с кабинетом и Сен-Сиром не остались между тем не замеченными и в Париже. Все заговорили о таинственной русской сироте, несколько загадочно помещен-

ной в число монастырок Людовика Святого. Обратили внимание на то, что l'orphéline russe при вступлении в школу названа просто mademoiselle Eudoxie, без всякой фамилии и титула.

— Впрочем, слава тебе, Господи! С глаз долой, с рук долой! — сказал себе в утешение Конон Зотов, проводив Дуню в монастырь, — а то с нонешними здешними нравами не обраться бы ой каких хлопот. Наши-то еще мало опасны; холостым не до того, у прочих — жены... А вот тутошние дюки да шевалье и всякие петиметры-сорванцы... только держись...

В числе новобранцев, проходивших в 1716 году учение в Париже, особым расположением Зотова пользовались, кроме его родича и сожителя Текутьева, другой москвич, Алексей Касаткин, и сын зажиточного астраханского дворянина Аким Юрлов.

Касаткин был холост, Юрлов женат. Оба были запросто вхожи в дом Зотова: Касаткин — по давней дружбе своего отца с князь-папой Никитой Моисеевичем; Юрлов — по особой милости государя к его старому родителю, который имел обширные, с рыболовными, поместья близ Астрахани и во время булавинского бунта оказал немалые доброхотные услуги царю.

Юрлов нередко получал щедрые пособия из дому, причем подчас выручал из затруднений и самого Зотова.

Касаткин нуждался более всех гардемаринов. Его отец, тугой и неподатливый к увлечениям и ошибкам молодежи старик-москвич, копя деньги, на все мольбы сына по поводу «скудостей заморского обихода» отвечал одно: «Учись, трудись и терпи; доволе казенного пайка... помру, все будет твое» — и денег ему не посылал. Была у Касаткина богатая старая тетка, его крестная мать; но о ней шли слухи, что она собирается принять пострижение и отдать все свое достояние на монастырь.

Придумывали гардемарины в дни оскудения карманов разные уловки: переписывали за деньги ноты и манускрипты

и снимали по заказам частных конструкторов планы и чертежи фортеций и кораблей. Юрлов умудрился некоторое время заведовать чьей-то табачной, потом винной лавочкой, а другие шли еще далее: нанимались в церковные и даже в увеселительные, трактирные, хоры.

Один Алексей Касаткин не унывал и в неисходном «пустокарманстве» не думал о завтрашнем дне.

Веселый и мягкий нравом, он — в полном смысле слова забубенная голова — беззаботно переходил от чертежей и навигаторских классов к картам, от вина к переводу скучной ученой книги и опять к песням, вину и к беззаветным парижским гулякам. Касаткин играл в карты счастливо, без разбора сорил деньгами, когда они у него бывали, а когда спускал все дочиста, смеющийся, чисто умытый, одетый, завитый и даже надушенный, с легким сердцем и с запасом новостей приходил к Зотову, жарил ему в камине каштаны, помогал стряпне в кухне или садился с ним играть в шахматы, до которых тот был страстный охотник. Он сблизился и с домашними Зотова, утешал Текутьева в горе, когда тот схоронил жену, и помогал Конону разведками при определении Дуни в монастырь.

II

Монастырская авантюра

Слухи о мысли Петра посетить Амстердам и Париж привели Зотова в сильную тревогу.

— Приедет, до всего докопается — рассуждал он, — вывернет всю душу, а уж ребят станет испытывать от киля до вымпела и от порошинки до бомб и до небесного, звездного бега...

А тут еще готовилось нежданное семейное горе. Из Петербурга пришла весть, что всешутейшего князь-папу, отца Зотова, государь — как герр-протодьякон Михайлов своей

тост-коллегии — решил в веселую минуту для потехи всей компании женить на шутихе, вдове Анне Стремоуховой.

Конон не мог равнодушно снести нового издевательства над выжившим из ума и совести престарелым родителем. Состоя во главе сумасбродного, шумного и всепьянейшего «собора» бесстыжих придворных скоморохов и гуляк, генерал-президент ближней государевой канцелярии Никита Моисеевич Зотов — он же Магнус Наклеванги — носил еще титул патриарха Пресбурского, Яузского и всего великого и малого Кукуя, то есть Немецкой слободы. Как верховный жрец Бахуса, он в смехотворной папской тиаре и в дьячковском стихаре на пирах благословлял сотрапезников двумя чубуками, сложенными накрест, и в шутовских индульгенциях подписывался «smirennyi Anikit, wlasnoju rukoju». В «соборе» под его председательством участвовали и дамские персоны, между ними архиерейша Бутурлина и князь-игуменья Ржевская. Свадьба «бахусоподражательного» отца Аникиты была оглашена Петербургу с большой церемонией; призыв на нее выкрикивали, в платьях герольдов, отборнейшие заики.

Конон Зотов написал слезное письмо кабинет-секретарю Макарову, отпросился через него у государя на побывку домой и снова навестил Петербург.

— Таким ли венцом следует короновать конец ваших дней? — сказал Конон отцу.

— А что разве? — спросил тот.

— Да свадьба-то, простите...

— Слушай, — отвечал семидесятилетний родитель, — не смею прогневить его царского величества; столько платья к свадьбе нашито и названо для меня стариков... не могу...

— Но супруга... ведь она дурка, шутиха!

— Врешь, молокосос; по летам мне выбрана — средовечная. А станешь перечить, то такого вам черта бабу на шею посажу, что своему животу не будешь рад. Лучше о себе самом помысли...

Свадьба князь-папы состоялась по всей церемонии. Распевались установленные шутовские канты. Один клир возглашал:

«Пьянство бахусово да будет с тобой, затмевающее, валяющее и безумствующее». Другой подхватывал: «Да веселися, во имя всех пьяниц и скляниц... Да кружится взор твой и ум твой, и да будут день и ночь дрожащи руце твоя...»

Столица щедро отдала дань Ивашке и Еремке, разгулу и вину. Один сын князь-папы был невесел и не знал, куда деться от досады и стыда.

— Что нос повесил? — спросил родитель Конона, едучи от венца. — Что зеваешь сам?

— Не понимаю, батюшка...

— А вот растолкую. Давно пора и тебе, Конон, сыскивать добрую женишку. Чем, примером, тебе не пара хоть бы наша заморская красавица?

— Какая?

— Да монастырка Дуня. Чай, знаешь и о вкладе? А не знаешь, слушай.

Старик рассказал сыну о приданом государевой питомки.

«Вклад вещь недурная, — подумал Конон, выслушав отца, — но ведь и сама Дуня лучше всякого приданого. И как я до сих пор о ней не мыслил? Надо расположить к тому царя, особо у него заслужить.»

Конон еще до поездки в Петербург задумал одну услугу Петру. Незадолго перед тем умер король Людовик XIV, и Францией в качестве регента управлял от имени его семилетнего правнука, Людовика XV, герцог Орлеанский. Зотов затеял устроить вторичный брак овдовевшего царевича Алексея Петровича с одной из дочерей дюка Орлеанского и положил в уме, что, если ему удастся эта важная «конъюнктура», ему ожидать от государя всякой похвалы и наград.

Всегда решительный и довольный собой, Конон не любил откладывать своих мыслей в долгий ящик. Он при первом же удобном случае, перед поездкой на родину, завел о царевиче секретный «дискурс» с министром регента маршалом Д'Этре, а затем ухитрился переговорить о сокровенном замысле и с самим регентом. Ему ответили отменными любезностями.

Мысль о французско-русском союзе засела в голове Зотова и не давала ему покоя. Едва же отец намекнул ему о Дуне, Конон сказал себе: «Вот что попрошу теперь, в венец своих заслуг!» — и, «ничтоже сумняся», по живости и легкости нрава испросил себе особую аудиенцию у государя и изложил ему свой прожект.

— С французами, верьте, было говорено не на ветер, — сказал Конон Петру, — к вашему же величеству у них отменное почитание и фавор. Тамошние принцессы, не пример немкам, все красавицы, тонкого и наиделикатного ума; а их придворные дамы, не в подобие длиннозубым и бранчливым венским фрейлинам, могли бы в России ввести пристойные и учтивые обычаи. С французской принцессой ваш сын мог бы в России все науки веселить, чтоб Германия с ревности подавилась, а турка прямо взяла бы лихорадка.

Петр слушал молча.

— И попомни, государь, слово Зотова, — продолжал Конон, — я убедился и того держу, что альянс и дружба с Францией будут нам полезны до конца дней, зане французы и русские, по дальности границ, друг другу зла не могут сделать, а добра сколько похотят. И если вашему величеству угодно одобрить мое представление — женить вашего сына на дочери Орлеанского дюка, — в том препоны не будет и состоится полезный и во всех негоциях желательный нам и парижскому кабинету французско-русский союз...

Петр обыкновенно не серчал на Зотова за его простой, откровенный, хоть подчас и не в меру болтливый язык. Вмешательство же в политические «негоции» и столь «азартные конъюнктуры» царю не понравилось.

— Слушай ты, бесструнная балалайка, — сказал Петр, выслушав Конона, — ты, видно, забыл пословицу о сверчке и шестке? Советую отныне усерднее запереть кашкад вашего красноречия и заняться иной, подобающею материей. Ей, Конон, пригляди за гардемаринами! Что думаешь? Экзаментом, как придет пора, повторяю, не пошучу.

Зотов совершенно растерялся от нежданного царского реприманда. Он долго не мог утешиться и по возвращении в Париж.

«Пребываю в меланхолии и акибы в повсегдашнем беспамятстве, — писал он оттуда отцу, — не уважено усердие и первого охотника тех его, государевых, любительных морских дел. Что значит малопоместный: трудись в поте лица и по всяк день жди гнева и истязания за верный долг.»

Отец отвечал: «Не унывай! Или не знаешь царя? Он выговорит напрямки и забудет. А ты изыскивай способы и вновь заслужишь его фавор».

Конон успокоился, приоделся и чаще стал навещать Дуню; возил ей лакомства, священные книги, беседовал с ее наставницами и думал: «Была не была; не женил царевича, сам женюсь».

Осенью 1716 года над Кононом стряслась новая и бо́льшая беда. Незадолго до приезда государя в Голландию в Париже произошло событие, наделавшее в обществе немало шума.

Ментенон и прочие обительские власти строго берегли питомиц Сен-Сирского монастыря.

Суровые и богомольные сестры-наставницы носили платья и наплечники из власяницы, с длинными рукавами, которые приподнимались только во время хорального пения в церкви. Черные четки, с распятием, мертвой головой и святостями в медальонах, висели у каждой с грубого, пенькового пояса. В суконной повязке поверх спрятанных волос они носили еще черное густое покрывало, спадавшее до колен.

Этот наряд, впрочем, не мешал сестрам-постницам изредка допускать в стены Сен-Сира грешных посетителей из богатых и знатных мирян. Желающим, по особой протекции, дозволялось в праздники навещать собственных и сторонних родных. Сами воспитанницы, в угоду основателя их общины, короля, и по воле маркизы, их патронессы, исполняли в монастырских залах трагедии Расина «Ифигения» и «Андро-

маха» и нарочно для них написанную «Эсфирь». Король давал девицам для убранства к театру свои алмазы, жемчуг и кружева и, окруженный пышным двором, являлся смотреть монастырок, одетых на обительской сцене в греческие и римские одежды.

С воцарением герцога-регента маркиза Ментенон поселилась в самом Сен-Сире. Строгости в уставе обители усилились. Светская мирская жизнь тем не менее давала о себе вести и сквозь стены монастыря.

То было время изящного общего эпикурейства. Ветреная богатая молодежь топила в легких нескончаемых забавах все свое достояние, чувства, ум.

По праздникам к монастырю подкатывали раззолоченные кареты, с жокеями, запряженные цугом красивых лошадей, убранных в страусовые перья. В парке гремели трубы и раздавалось щелканье бичей заезжих, с кабаньей или лисьей травли, охотников. В приемной зале монастырок собирался цвет знати, парижская золотая молодежь. Шли толки о светских модах, дуэлях, балете и карточной игре. Воспитанницы с жадностью, затаив дыхание, вслушивались в рассказы столичных кузенов о романтических приключениях, кипевших там, за оградой их однообразной, скучной тюрьмы.

А новая раскаявшаяся Магдалина, богомольная и дряхлая Ментенон, стараясь вразумить старших питомиц о настроении грешного мира, говорила им в дружеской беседе: «Берегитесь, дети! Свет неузнаваем! Старые предания рыцарской, дедовской чести умирают; водворяется царство грубых, продажных, низких мещан. Бегите, девицы, внешнего блеска. Нынешние молодые люди ходят в золоте, а внутри их безнравственность и пороки. Дворцы древней знати, Арманьяков и Кариньянов, обращены в притоны постыдного разгула, в академии карточной игры. Дворяне бросают поместья, офицеры — гарнизоны, высшее духовенство — епархии... Все стремится в этот новый Вавилон, Париж... Берегитесь Парижа, вы, будущие матери! Его ждет участь Содома и Гоморры».

Девицы слушали душеспасительные речи многоопытной старой проповедницы и с трепетом сердца присматривались из верхних монастырских окон на дорогу, которая густым лесом и зелеными холмистыми полями вела в этот таинственный, грешный, соблазнительный Париж.

Дуня с первых дней в монастыре особенно подружилась с одной из сверстниц, дочерью богатого вандейского дворянина. С нею она учила уроки, занималась музыкой и шитьем; освоясь же с французским языком, она с нею принялась за любимые тогдашние романы.

«Авантюры Телемака» Фенелона были прочтены несколько раз. Дуня, упав лицом в подушку, искренно оплакивала бедствия верного Телемака, отыскивающего своего отца Улиса. Она была готова улететь вслед за героем и его руководительницей, в образе Ментора, Минервой в таинственную Гесперию, где разочарованный войнами, изгнанный из Крита Идоменей устраивал в пастушеской простоте счастье своих новых подданных. Дуня спрашивала подругу: что это за люди и далеко ли от Парижа до Гесперии? Подруга объясняла, что дело идет не о чуждых, далеких странах, а о Франции: «Раскаявшийся Идоменей — это наш король Людовик XIV, Протезилай — его ненавистный министр Лувуа, а Калипсо — бывшая всемогущая, блестящая любимица короля Монтеспан, которую сменила наша святоша Ментенон».

После «Телемака» перешли к «Похождениям Жака Массе» и к «Хромому бесу» Лесажа. Дуня с замиранием сердца входила, вслед за гулякой Клеофасом и его провожатым Асмодеем, на высокую Мадридскую башню, и перед ней в ночной тишине по манию Асмодея поднимались крыши с богатых и бедных домов и раскрывались спрятанные под ними картины общественных бедствий, добродетелей, пороков и всяческой суеты. «Ах, где этот кудесник Асмодей и его волшебство? — говорила Дуня подруге. — Он отворяет

темницы, разбивает цепи и замки!» — «Погоди, — отвечала подруга, — настанет время и для нас.»

Ментенон, изрекая осуждения на неверующего регента и его придворных, предавала особой анафеме его друга Мирепуа, как говорили, не в шутку занимавшегося вызыванием злого духа и мертвецов. А монастырки знали, что сама их патронесса, труся смерти, запиралась с бродячими гадальщицами на картах и с астрологами и прибегала к открытиям геомантов, к заклинателям беса и толкователям снов.

К Ментенон ездили ее старые парижские друзья. Между ними девицам был особенно ненавистен один молодившийся, разряженный и завитой в букли и космочки приторно-сладкий старичок маркиз. Монастырки так его и прозвали «карамелькой».

Вечно улыбающийся и раздушенный, с мягкой, женской менуэтной походкой, этот старичок маркиз привозил Ментенон новые выпуски скучного «Журнала ученых», а девицам — святую воду в флакончиках от зубной боли, какие-то ленточки из Рима от грешных снов и груды конфет. Девицы ели конфеты, флаконы и ленточки бросали за окно, а про самого «карамельку» по секрету толковали, что он вовсе не такой святоша, каким кажется, что он кутит тайком в своем поместье с подобными себе ханжами и что при раздевании ему служит не лакей, а переодетая в мужское платье хорошенькая горничная...

С поступлением Дуни в Сен-Сир ее письма к сестре Текутьева в Мячково стали приходить реже. Они не походили на ее первые радостные известия о прибытии в Париж.

«Ах, я злосчастная! Ах, пропала я, с бедной головушкой! — писала Дуня былой сверстнице. — И почто такие напасти, лютое горе. Вся сфера небесная переменилась, свет мой заволокся тучами. Куда меня занесло? В гроб живая уложена, замурована в злу-каменную стену. И как то прилучилось негаданно, совсем не чаяла! Лизнула не к добру

медку, аки сын царя Саула, Нафан, и все отнято, вся жизни сладость. Давно ли, кажись, то было? Все вы твердили при нашем отъезде в вояж: ах, как они счастливы, как завидны! И что же! Одна странница в могиле, на чужой стороне; другая — в неисходных печалях — совсем надселася, хуже колодницы дни влачит. Таково ли было прежде провождение время, или, сказать, младым летам? Далеко до разделыца, света-надежи, милостивого царя. То все, знать, без него поделано. Просить ли его или молчать, чтобы не прейтить пределов?»

Сестра Текутьева вышла замуж за Франкенберга и с мужниным полком переехала в Казань. Летом 1716 года она там получила коротенькое письмо Дуни.

«Я вне себя, опять счастлива, — писала ей Дуняша, — воскресла я, на свет опять народилась. Край ранней могилы, у самого гробового камени, вырос вешний цветок. Ты радостна с другом, и я более не бесчастна. Не погуби, не выдай. И честна ли то будет совесть — с милым, с утехой разлучить? Глядят во все глаза старицы-черницы, да не выглядят; не потеряю перло жемчужное. Не долго ждать. По конец жизни — милый товарищ, утеха будет в глазах. Не спрашивай доподлинно, кто. Ушла бы с ним на край света; да двери все на запоре и стены высоки.»

Не одна Дуня гадала о вешнем, у гробового камня, цветке. Половина монастырок были влюблены, обожали собственных и чужих кузенов, королевских пажей, местного аббата, даже эконома и почти всех обительских учителей. В дортуарах разыгрывались сцены ревности, отчаяния и непримиримой мести.

В октябре 1716 года Дуня прогуливалась в монастырском саду со своей подругой.

Обе они уже были в высшем классе «розовых». Подруга повела ее в дальнюю аллею, чтоб наедине ей прочесть послание от своего поклонника.

Письмо было прочтено.

— Да, милая... поздравляю, — сказала подруга.

— С чем?

— Все наши убеждены, что ты окончательно помолвлена.

— Вот новость... за кого?

— Называют маркиза — «карамельку».

Дуня вспыхнула.

— Какая ложь! Ну, можно ли!.. Ах, какая ты! — вскрикнула она. — Не смей мне этого говорить — поссоримся...

— Нет, право, клянусь! — не унималась подруга, — уверяют, что уже написано в Московию к царю; ждут только его ответа, и ты скоро станешь маркизой...

— Слушай, — проговорила, бледнея, Дуня, — я сирота, тебе известно, но если так случится, если... я не снесу горя...

— Я тебя выручу, спасу! — объявила подруга. — Слушай... ведь ты мое сокровище, жизнь! Мой поклонник тебе известен; на него можно надеяться. Но ты не знаешь, не видела моего двоюродного брата... Он военный, красивый и храбрый, притом крестник нашей патронессы... Хочешь, я ему напишу, вызову его в отпуск и познакомлю с тобой?..

— Ты говоришь, он храбрый? — спросила Дуня.

— Как лев.

— И смел, великодушен?

— Как рыцарь...

— Подумаю, — ответила Дуня.

Прошло несколько дней. Дуня просиживала ночи напролет у окна спальни, глядя сверху на заветную дорогу, по которой из таинственной дали должен был явиться, в образе преданного Телемака или смелого и страстного Роланда, могучий, давно нагаданный избавитель.

На рассвете пасмурного октябрьского утра Дуня подошла к кровати подруги, села у ее изголовья и ее разбудила.

— Что ты?

— Зови своего кузена! — сказала Дуня.

— Я уж ему написала... он будет на днях... Так ты решилась? Ах, как я рада!

— С одним уговором, — ответила Дуня. — Не сердись... но у меня одна мысль, и я хочу прежде с ним поговорить одна и откровенно...

Подруга восторженно подняла Дуню. Она была на седьмом небе.

Вызванный кузен явился, стал посещать монастырь. Подруга Дуни торопила затеянную фантастическую развязку. С ее обожателем у нее уже давно все было условлено и решено.

— Он не обидится? — спросила Дуня приятельницу после одного из свиданий.

— Чем?

— Ах, я и тут несчастна! — ответила в тревоге Дуня. — Ты не знаешь, не поймешь!..

— Что такое? Да говори же, объяснись...

— Я люблю... мы любим друг друга! — проговорила Дуня.

— Ну и отлично! — сказала, просияв, приятельница. — Тем лучше, значит, успех?

Дуня кинулась к ней на шею, судорожно ее обняла и чуть слышно что-то прошептала.

— Может ли быть? — удивилась, всплеснув руками, подруга. — Где доказательства?

Дуня вынула из-за лифа ладонку и крестик: на них висело бирюзовое кольцо.

— Как? Даже обручены? — вскрикнула исповедница. — Это же когда?

— Еще летом...

— Ах, ты недобрая! Скрывалась предо мной!

— Прости, милая, — ответила Дуня, — у тебя родители; они тебя простят, ты им дочь... я же сирота и всем обязана благодетелю-царю... А ты слышала, знаешь о нем?

III

Корзины

Вечером в конце октября 1716 года к опушке Сен-Сирского леса подъехали две наемные городские кареты. Из них вышли четыре путника. Под деревом, где они остановились, стояла, их поджидая, телега. На телеге лежали корзины.

Путники велели кучерам ждать, а сами, с телегой и с ее возничим, направились в чащу леса. Дорога им была, очевидно, известна. Несмотря на сумрак и густоту деревьев, простиравших ветви на узкую извилистую дорогу, они скоро миновали опушку парка и зверинец и вышли на поляну, в конце которой возвышалась каменная, с башенками, стена Сен-Сирского монастыря.

Телега приблизилась к ограде. Сопровождавшие ее постучались в ворота.

— Кто там? — спросил голос из-за ограды.

— Садовники... за цветами...

— Кой-черт так поздно? И какие цветы в такую темень?

— У герцога завтра обед и бал — свадьба дочери... Дорога грязная, припоздали.

Привратник сходил к товарищу за ключом и отпер ворота. Садовники тем временем, усевшись на траве, раскупорили объемистую флягу бургонского, попотчевали и стражу.

— Да, не тем будь помянута наша патронесса, — сказал, угостившись, старший из сторожей, — в сад не пускает никого; на запоре все входы и выходы, а цветами торгует, как базарница... Ну, дело ли это маркизы?.. Вам каких?..

— Всяких, дедушка, да побольше... а еще стакан? Это из герцогского погреба; кастелян угостил.

— Ну, дорогу, верно, знаете, — сказал привратник, — петуний и гелиотропов наберете и впотьмах... а розы — с теми осторожнее — у главного корпуса, не переколите рук!..

— Что нам! Не впервые! — ответили путники, уходя с корзинами в сад. Возница остался с флягой и сторожами за оградой.

Наполнив одну из корзин цветами, вошедшие в сад сели в лодку у пруда, огибавшего эту часть сада, и переправились к главному зданию обители.

Здесь, между кустов сирени и роз, на площадке, окаймленной высокими дубами и буками, возвышалось длинное двухъярусное, с крыльцами и стекольчатыми переходами, главное здание обители. Верхние и нижние окна были темны. Полная тишина царила кругом.

Трое из пришедших, миновав площадку, углубились в кусты и стали рвать розы, четвертый остался у пруда, где несколько раз, с расстановкой, плеснул веслом.

С последним звуком весла одно из верхних окон здания тихо раскрылось, и в нем показалось что-то неясное, белое.

Из окна, распустившись до земли, упала шелковая лестница. По лестнице спустилась невысокая фигура, за ней другая, повыше.

— Прощайте, прощайте! — слышались в сумраке робкие, сдержанные голоса.

Лестницу опять втянули кверху. Окно закрылось. Лодка с корзинами, полными цветов, снова переправилась за пруд к ограде.

Садовники бережно уставили корзины на телегу и, расплатясь со сторожами, отправились обратно парком.

Через полчаса две кареты мчались во всю прыть на север от монастыря, поднимая столбы пыли и оглашая бубенчиками и щелканьями бичей тонувшие в ночной мгле и тишине лесистые окрестности обители.

На следующий день Париж заговорил о любопытном событии: из строго оберегаемого Сен-Сирского монастыря разом бежали две воспитанницы. Устная молва и журналы

разнесли об этом много странных и необъяснимых подробностей.

Конон Зотов узнал о том из последних. Когда ему показали листок «Курантов» и он в нем прочитал, что одной из беглянок была «la belle pensionnaire russe», свет померк в его глазах и он чуть не лишился чувств. Сомнения не было: Дуня бежала. Но куда? И кто ее похититель?

Первой мыслью ошеломленного Зотова было начать неотложные поиски. «Я опекун, я здешний главный царский агент, — рассуждал он, — с меня взыщут больше всех. Проворонил, скажут, не доглядел... Но к кому обратиться за помощью? Кто искренно захочет пособить?» Перебирая в уме земляков-гардемаринов, он прежде прочих остановился на смышленом и более других развитом Алексее Касаткине. Друг овдовевшего Текутьева и давний еще по Москве знакомец Дуни, Касаткин чаще остальной компании виделся с нею, исполнял ее поручения, знал ее мысли и мог дать о ней хоть какие-либо указания.

Собираясь, однако, на квартиру Касаткина, Зотов вспомнил, что сам дня четыре назад отпустил Алексея в Гаагу.

Недели за полторы перед тем голландский посол князь Куракин оповестил Касаткина о кончине в Москве его богатой тетки и крестной матери, отказавшей Алексею все свое достояние. Переведя на имя Касаткина в Париж изрядную долю денег, высланных тому из Москвы, князь Куракин предложил Алексею составить неотложные по наследству бумаги и для рукоприкладства и их подачи лично прибыть в посольскую канцелярию в Гаагу.

Зотов думал, что Алексей, получив наследство, завертится в новых шалостях и кутежах. Вышло, однако, иначе: тот изготовил нужные бумаги и решил ехать в Голландию без замедления.

«Блажен иже не идет на совет нечестивых, — утешился Зотов, видя, как присмирел и вдруг будто переродился Касаткин, — что значит смерть крестившей нас, а тем паче от нее наследство?»

Зотов не мог без внутренней улыбки смотреть на смиренный и постный вид Алексея, бывшего еще так недавно басней целых парижских кварталов.

Касаткин был памятен многим и дома, в Замоскворечье, где ребенком, учеником латинской архиерейской школы, он делал опустошительные набеги на соседние огороды и сады, а юношей, состоя в новоустроенном, у Сухаревой башни, навигацком училище, съездил на масленую, с товарищами в гости к важному, только что прибывшему бухарскому послу в санках на шестерне нестерпимо оравших свиней.

Парижский воздух поощрял и подзадоривал широкую, дикую натуру веселого русского гардемарина, которому здесь исполнилось двадцать три года. Расцветший, стройного роста, плечистый, румяный, с русой косой и с голубыми глазами, Касаткин стал коноводом лихих и отчаянных гуляк. Устроить ли ночной кошачий концерт толстому, притязательному аббату, перепугать ли полицию криками среди бела дня — «Пожар! Грабят! Режут!» — или в полночной тишине с сонного базара пустить сноп трескучих самоделковых ракет — все это было обычным делом Касаткина и его новых французских друзей.

Еще недавно, в темную летнюю ночь, когда налетевшая, с грозой, буря ревела над Парижем, срывая двери, ставни и черепицу с домов, Алексей с приятелями из Сорбоннской академии умудрился переменить вывески в целом людном предместье.

Город проснулся и ахнул: на лавке гробовщика оказалась трактирная вывеска: «Увеселительный приют дяди Пьера», над кабаком надпись: «Продажа ладана и свечей». Кабинет врача превратился в лавку мясника, а на калитке знаменитого иезуитского витии и постника-исповедника — доска с надписью: «Школа для взрослых девиц».

Последней ночной проделкой парижских шалунов, в которой предводительствовал Касаткин, было снятие летом того же года с уединенного арсенального бастиона в форштадте Бурдонне небольшой медной пушки. Они ее стащили из-под

носа часового, уставили на мосту через Сену, зарядили и впотьмах дважды из нее выпалили вдоль реки. Переполох сонных жителей был неимоверный.

Все эти похождения и проказы проделывались между тем так ловко, что виновников их, как ни билась полиция, не могли открыть и уличить. Спустя некоторое время сам Касаткин обыкновенно приходил к Зотову и во всем ему каялся. Озадаченный Конон только разводил руками. «Эк, Алеха! На что тебя опять сподобило!» — говорил он, но, охраняя себя, разумеется, не выдавал и его.

И вдруг этот самый Касаткин, первый проказник и бедокур, на глазах Зотова стал тише воды, ниже травы. Даже в последний заезд с Кононом в Сен-Сир, когда Дуня, вновь сетуя на утеснения, строгости и скуку, ударилась в слезы и сказала: «Умру, с тоски руки на себя наложу», — Алексей ей ответил при Зотове: «Простите, сударыня, надо читать наставительные книжки, жития святых отцов; здешние прискучили, своих словенских ищите; не обрящете, вам их прешлю...» И послал.

Спохватясь, что Алексей уехал в Гаагу, Зотов поговорил с другими гардемаринами; те не нашлись, что посоветовать. Конон поехал к королевскому прокурору и дал явку в полицию с обещанием награды за указание следов беглянки.

Он побывал и у курантельщика, то есть журналиста, печечатавшего еженедельные тетрадки тогдашней «Gazette de France», носившей в публике кличку «Бюро адресов и экстраординарностей». Цензор или редактор газеты сообщил Конону, что похитителем французской беглянки, очевидно, был племянник местного епископа, поручик в отряде королевских войск; русскую же монастырку, по слухам, увез родственник первой девушки, сын вандейского дворянина, янсениста по вере, крестник маркизы Ментенон. Курантельщик прибавил, что маркиза очень огорчена этим событием

и что по ее просьбе полиция уже обыскала весь монастырь и окрестности Сен-Сира.

Поиски увенчались некоторым успехом. В молитвеннике одной из питомиц класса «розовых» нашли пачку страстных писем поручика, а в тюфяке другой — из класса «зеленых» — отыскалась более ясная улика — шелковая лестница. Побегу, очевидно, способствовали кроме взрослых ближайших подруг и «желтые» с «голубыми» до крохотных «приготовишек», так как беглянки должны были пройти через общие спальни в уединенную и всегда запертую молельную, окна которой выходили, над отделением маленьких, в сторону пруда. Пьяные сторожа и оброненный похитителями батистовый с кружевами и вензелем платок пояснили остальное в том происшествии.

Зотов поспешил в Сен-Сир. Его не приняли. Он решил ехать в Вандею, а перед выездом написал обо всем в Данию царю и несколько строк в Гаагу Касаткину.

«Следи, благодетель Алексей Ильич, по голландским «Курантам» за нашей сбежавшей распрекрасной Еленой, — писал Конон Алексею, — чай, все уже знаешь о прегорестной с Дунюшкой авантюре. Посейчас как в воду опущен. Поспешаю в вандейскую провинцию Пуату, не изловлю ли выпорхнувшей и ее предерзкого Париса? Что сведаешь об оной новой Елене, не медли, для Бога, отпиши.»

Не в духе возвратился Зотов из Вандеи. Его поиски не привели ни к чему. «Треклятые жадные французишки, — рассуждал он, забыв придуманный им французский союз, — пронюхали, видно, о тайном приданом Дуни и устроили этот увоз... Ах ты, Конон, Конон, слепота! Одурачили тебя, как гороховое чучело, провели...»

Зотов, однако, вскоре был утешен. От Касаткина пришло приятное известие.

«Радуйтесь и веселитесь, о Господи, досточтимый наш пестун и друг, Конон Никитич! — писал Алексей. — Искомая вами новая Елена обрелась, но не в вандейском округе Пуату, а в голландском городе Гааге, и не в объятиях нового

дерзкого Париса, а в квартире здешнего, при нашей посольской колонии, попа престарелого отца Ивана Поборского. Привезенный сюда князем Львовым, сердцем добрый и на услуги готовый, оный поп призрел заблудшую овцу, вразумил ее и точию потщился обратить ее вспять, в оставленный ей монастырь, откуда она бежала, по ее словам, из-за искательства некоего дряхлого маркиза. Князь Борис Иванович Куракин только ждет, с кем бы ее беспродлительно отправить под оставленный ею кров.»

Дуню в Париж отвезла родственница гаагского бургомистра, ехавшая туда с дочерью. Следом за ними, устроив дело о наследстве, возвратился и Касаткин.

— Ну, как же, Алеша, все то было, расскажи, свет-радость? — спросил Зотов приехавшего Касаткина. — Ведь вот случай! Думали ль мы с тобой?

— Ничего особенного, — ответил Алексей. — Надоел ей с приставаниями старый волокита, ну и по родине стосковалась! А вот слышали ль, какая туча восходит на нашем горизонте?

— Что такое?

— Да государь-то... что ни день, ждут его шествия в те гавани...

Как ни был готов Зотов к вести о прибытии царя, слова Касаткина его сразили. Исполин, ловец перед Господом встал в его мыслях во весь рост...

— Други сердечные, братцы-голубчики! — сказал он Алексею. — Выручьте на испытании, не ударьте в грязь лицом.

— Будьте спокойны, Конон Никитич; помилуйте: сами знаем, государь не пошутит...

Вскоре Зотов получил из Дании бумагу, что оттуда действительно к голландским границам шествовал сам «ловец перед Господом» — былой сардамский царь-плотник Питер Тиммерман. В бумаге предписывалось Зотову и гардемари-

нам немедленно выехать в Булонь, найти там новопостроенную русскую шхуну «Чайку», купить и взять на ее борт в должном количестве нужный для морского дела в России запас якорей, канатов и парусных полотен, а при оной оказии туда же погрузить гардемаринов и несколько заводских мериносовых баранов лучшего завода и, не мешкав, плыть, с той клажей и с гардемаринами, в Амстердам.

«Ну, как-то вынесет Господь? Уж ли оттуда прямо в Индию? — мыслил Зотов, едучи морем и вглядываясь в синюю даль. — Иисусе многомилостивый! Защити нас и укрой ризой своей теплоты и доброты!»

Свежий попутный ветер быстро гнал ходкую шхуну по легкой зыби.

Показались прибрежья Голландии. Остроконечные церкви, башни, темные верфи, ряды свай, каналы и лес мачт у белых плоских берегов Амстердама быстро выходили из пенистых валов.

IV

Экзамен

Шестого декабря 1716 года император Петр прибыл в Амстердам. Погода стояла теплая, почти весенняя. Был вечер.

Место, где высадился царь, была знаменитая Ост-индская верфь. Здесь Петр в качестве простого матроса работал восемнадцать лет назад.

— Вашему величеству салют и виват! — сказал посол Куракин, встретив царя у борта корабля.

— Спасибо! — ответил Петр. — Мы приехали сюда из Невы путем, коим Рюрик к нам шел восемь веков назад.

— Счастлив еси, государь, — произнес Куракин, представляя царю бургомистра и прочих голландских чинов, —

все вас прославляют: столько творишь в авантаж российской коммерции.

Петр, перекинувшись словами с голландцами, сошел на берег. Его лицо сияло. Перед ним опять были синее вольное море, фабрики, верфи, громадные, океанийские корабли. Родина также угомонилась под веянием теплых и мягких западных новин. Умолкли заговоры и казни. Все перестраивалось дикое и бедное соломенное царство.

— В Копенгагене, ваше величество, — сказал Куракин, — изволили испытать своих первых встреченных в Европе гардемаринов. Как их нашли?

— Обрадовали ребята управлением и лавировкой судов. Одно хромает — пушечная поноровка, стрельба в цель. Скоро ли ждешь Зотова и его учеников?

— Прибыли вчера, ушли на верфь, где кончают на диво сложенный корабль... ребята — охочие ко всему...

Куракин не договорил. Толпа скрытых за бочками и тюками городских школяров окружила Петра. Девочки в белых платьях бросали ему под ноги свежие гиацинты, нарциссы и лилии, мальчики — еловые и дубовые венки. И вся эта веселая и шумная гурьба, несмотря на знаки важного, с жезлом, бургомистра, сильно вспотевшего в алой, на соболях, бархатной шубе, кричала и вприпрыжку, теснясь по узким улицам, обгоняла царя.

У низенького ветхого, вросшего в землю домика былого царского приятеля, рыболова и плотника Геррита Киста, грянул плохо одетый уличный оркестр. Со всех сторон из окон, с заборов и крыш Петру махали шляпами и платками. Он, улыбаясь, раскланивался на все стороны. «Маг — не человек», — шептали голландцы, счастливые новым заездом далекого северного царя.

Дикому величию царственного скифа в толпе разряженных горожан шел и его огромный рост, и громкий, сиповатый голос, потертый зеленый кафтан, полотняный жгут вместо кружевного шейного платка, волосы без пудры и рубаха без манжет.

Петр пожал руку бургомистру, прошел в отведенную ему квартиру, поговорил кое с кем из свиты, отметил на аспидной доске: «С Кононом о Сент-Сире», — разделся, отпустил денщика, лег в постель и задул свечу.

Веселые детские крики, музыка, лилии и гиацинты не выходили из головы Петра.

Ему вспомнились собственные детские и юношеские годы, бунт стрельцов, точивших на него ножи, как на убитого царевича Дмитрия, Переяславское озеро и Белое море. «Кремль — не монастырь и царь — не всероссийский, вечно молящийся в церкви патриарх», — говорил он тогда, стремясь взглянуть на чужие дальние страны. Сестра Софья звала его шатуном и жидовиным сыном. А стрельцы, избив на глазах Петра его родных по матери, повторяли: «Щуку съели, зубы остались! Пора на рогатину и ее последыша!» — и решили бросить ему в сани ручную, с зажженным фитилем, гранату, когда он поедет на пир к Лефорту.

И еще вспомнилось Петру одно событие. Затопив Москву кровью стрельцов, когда трупы казненных валялись по месяцам среди площадей и сложилась о Кремле поговорка: «Что ни зубец, то и стрелец», Петр уехал отдохнуть в Воронеж, где строилось его любимое чадо — флот. Без него в Москве заболел и скончался его лучший друг и учитель Лефорт.

В предсмертном горячечном бреду больной метался, набрасывая и сжигая письма к царственному другу, призвал музыкантов и умер под звуки родных швейцарских кантат. Москвичи толковали, что Лефорт умер не у себя, а в чужом доме, где втайне от его жены проживала некая, незадолго перед тем умершая, близкая ему особа. Ночью в собственной опустелой спальне Лефорта, как отметил в дневнике и австрийский летописец, слышались вздохи и тихий шелест шагов, а наутро в ней оказалась опрокинутой вся утварь. «К черту-немцу, пока он помирал, — говорили москвичи, — душа его полюбовницы приходила просить, чтоб он пристроил прижитое с ней малое дитя!»

Узнав о смерти друга, Петр открыл гроб Лефорта, бросился с рыданиями к его трупу и долго, запершись, разбирал его посмертные бумаги. Щедро одарив и отпустив обратно в Женеву вдову Лефорта, Петр не забывал покойника, мысленно повторяя: «Осталось дорогое, тайное наследие друга... Чем ему воздам? Чем отблагодарю?»

Проснувшись и взглянув в узенькое залитое солнцем окно, Петр быстро оделся, узнал от денщика, кто ждет в приемной, и вышел.

— А! Потворщик шалунов, Конон! Здравствуй! — весело сказал Петр, завидя Зотова. — Как дела с ребятами?

Зотов, подбодрясь, как мог, и стараясь говорить приятное, передал вкратце сведения о гардемаринах.

— Ну а Дунюшка? — спросил царь. — Что она?

Зотов смешался.

— Было с ней, как вашему величеству донесено, неладное, — ответил он, — да все нынче исправилось.

— Говори, говори, — произнес, садясь, государь.

Зотов в подробности рассказал о приключении с Дуняшей.

— Так ты все это объясняешь притязаниями старого маркиза и тоской по родине?

— Так именно, ваше величество... родич же и жених ее подруги только пособляли в бегстве.

— Ну, видно, Конон, ты, как и твои ученики, больше подпивахом с французами, — сказал Петр, — и куплименты чинил их соблазнительницам, приседающим хвостами... проглядел такой пассаж!..

— Виноват, государь, да в силах ли было? — ответил Зотов. — Монастырское начальство не чета, и те оплошали...

— Не оправдание... Спите все... А посему измерь помыслы циркулем усердия и получше исполняй долг... Привез якоря и паруса?

— Доставил все, завтра сдаю.

— Ну, гляди в оба... О Дуне ж еще потолкуем... скоро мы будем к ней в гости.

Зотов поклонился.

— Да, á propos, — сказал царь, — давно не читал «Курантов», что́ пишут о нас во Франции?

— Зовут ваше величество творцом российского народа...

— Курантельщики — народ юркий и шустрый, — произнес Петр, — но весьма и везде любят ефимки. И тебе бы, Конон, не дурно с ними сойтись и их приласкать, чтоб и впредь печатали о нас добрые вести... Это будет полезнее, чем вести дискурсы с бестиями-иезувитами о неподобающих политических затеях. Будут к нам склонны, и мы не отшатнемся от них, воздадим!

В тот же день государь объявил свите, что решил сделать экзамен гардемаринам. Последние были собраны у пушечного завода за городом.

— Готовы ли? — спросил царь Зотова.

— Ждут повелений и милости вашего величества.

— Ну, господа, в путь! — объявил Петр, надевая треугол и лосиные перчатки. — Леность и непотребства, Конон Никитич, я предупреждал тебя, скажутся на этом суде, и тогда виновным истязание и гнев.

Царь и свита, выйдя на улицу, сели на подведенных лошадей. Все направились за город. Там, у смотрительской камеры, стояли местное начальство, литейщики, кузнецы и русские гардемарины.

— Здорово, молодцы! — сказал Петр ученикам, вставая с белого рослого фрисландского коня.

Те ему отвечали громким «виват!».

— Всему ли вы научились, для чего были посланы? — спросил царь, обходя гардемаринов и вглядываясь в их молодые обветренные, то робкие и встревоженные, то смелые и беззаботно-открытые лица.

— Всемилостивейший государь, — заговорил, сбиваясь и несколько витиевато, старший из учеников, белотелый, полный и неповоротливый гардемарин Тувалков, опускаясь на одно колено и произнося, очевидно, заранее вытверженную речь, — прилежали мы по всей нашей возможности, но прости, отец, не можем похвалиться, чтоб все изучили и произошли...

Петр чуть улыбнулся, заметив, что и в толпе школьников улыбались чьи-то добродушные и веселые глаза. То был широкоплечий, белокурый и рослый юноша, с лукавой и слегка вздернутой верхней губой.

— Трудиться надобно, — ответил оратору Петр, снимая перчатку с правой сильно загорелой руки, — видите, братцы, я и ваш царь, а у меня на руках неисходные мозоли... И все от того, чтоб другим показать пример и, хоть под старость, увидеть достойных помощников, а отечеству слуг. Вам предстоит многое — в Индию затеваем путь...

Тувалков поймал и поцеловал протянутую руку Петра.

— Встань и первый давай ответы, — сказал ему царь, — не робей, говори, что знаешь, а в чем не силен, так и объяви. Господа, — обратился он к литейщикам, — спрашивайте.

Экзамен, при посредстве переводчика, начался.

Ученики осматривали и объясняли литейную камеру, устройство плавильных печей и форм, разные заводские инструменты, лафеты, пушки и руды. Из литейной перешли на верфь, где испытание в устройстве крепостей, подкопов и взрывов и в знании навигации делалось над образцами слепленных из глины фортеций и над готовым, только что осмоленным громадным океанийским кораблем.

Царь остался доволен словесной частью экзамена. Текутьеву и Юрлову было объявлено, что, если они окажутся так же успешны и в прочем — «а паче в наводке орудий пробной пальбе», — ждать им хвалы и производства в чин.

— Теперь, господа, в поле! — сказал Петр. — Все ли налажено?

Государь, Куракин, иноземные зрители и свита с учениками вышли за ограду. Там, на обширной гладкой поляне, стояли назначенные к стрельбе чугунные и медные пушки. Вдали, у длинной желтой насыпи, виднелись несколько мишеней.

Идя к пушкам, Петр подал Зотову свою походную зрительную трубу.

— Наведи-ка, — сказал он, — да кстати, где тот школяр, что первый тебе прислал отсюда весть о Дуне?

Касаткин, ладя в десяти шагах назначенную ему странного вида тупорылую пушчонку, от слова до слова слышал ответ Конона царю.

— Это что на свиньях-то к бухарцу ездил? — спросил Петр, оглядываясь и по некоторым чертам, наконец, узнавая в возмужалом статном юноше былого подростка московской навигацкой школы. — Расцвел тюльпан! Как-то порадует наукой?

Пробная пальба началась.

Царь, окруженный иноземным начальством и пушками, следил в трубку с пригорка. Стреляли в бело-черные щиты, в башенку и в дощатую фигуру корабля. Заряды большею частью перелетали. Промахнулись первые десять учеников; только один из выстрелов Юрлова слегка задел верх башни.

— Бабы! Ротозеи! — ворчал Петр, хмурясь на учеников. — В их глазах еще старый хмель... Филь брантвейн трункен! — обратился он к голландцам, видя, как те вежливо и обидно-снисходительно улыбались.

Зотов стоял ни жив ни мертв.

— Что мечешься? Чисто католицкий патер! — крикнул Петр, подходя к раскрасневшемуся оробелому Тувалкову. — Забыл вычисления? Ну-ка, в корабельный диск.

Близорукий Тувалков окончательно растерялся. Он навел пушку и, зажмурясь, приложил фитиль. Выстрел грянул. Заряд взрыл землю на полпути до насыпи, поднял облачко пыли и далеко перелетел за цель.

— Вот твои неучи! — крикнул царь Зотову. — Любуйся! За чем смотрел?

— Робеют, ваше величество...

— А не робели вертопрашить да с французенками мотать рубли? Выдолбили плавильное и подкопное дело, устройство фортеций, а стал дубинище с фитилем, попадает пальцем в небо...

— Ну-ка, ты, бухарец! — обратился Петр к Касаткину. — Твоя очередь... Не выручишь ли оных неучей и скотов?

Касаткин видел общее тяжелое смущение и гнев государя. Ему было жаль и толстого, чуть не плакавшего добряка Тувалкова, и оторопелых от неудачи прочих товарищей, и бледного Зотова, глядевшего в тревоге и страхе, как малое, жалкое дитя. Но, странное дело, Алексей был, по-видимому, совершенно покоен, даже, как хорошо потом помнил, думал о постороннем. В его празднично настроенных мыслях проносились все какие-то светлые образы; в душе точно переваливалось и пело что-то восхитительное.

— Правый щит! — раздалась с пригорка сердитая команда царя.

Касаткин присел на корточки, повозился у затравки, навел на щит тупорылую ржавую пушчонку и выпалил: мишень повалилась.

— Левый угол башни! — послышалась та же команда с пригорка.

Вдали что-то с шумом треснуло. Вверх и в бока полетели щепки. Над башенкой взвился победный флаг.

Касаткин снова зарядил пушку и ждал. На время вкруг него все затихло. Царь и голландцы, очевидно, совещались.

— Мачту корабля! Грот-мачту! — раздался опять, как бы над самым ухом Алексея, оживленный голос царя.

Касаткин очнулся. Его лицо было в поту, глаза горели. Он снял с себя треугол, оправил волосы.

— Скорее, скорее! — шептали товарищи.

Алексей снова стал наводить пушку и вдруг почувствовал странную, почти детскую робость. Ему ни с того ни с сего в эту минуту вспомнилась кутежная темная летняя ночь, когда он с кучкой повес стащил из-под носа часового пушку и выпалил из нее, в мертвой тишине, на сенском мосту.

И еще нечто более страшное и ответственное припомнилось в это мгновение Касаткину. Мертвящая, холодная дрожь прошла у него с головы до пят.

Он смущенно нагнулся к лафету, дрожащей рукой куда-то направил прицел орудия и с мыслью: «Помяни, Господи, царя Давида...» — ткнул во что-то остатком догоравшего чадного фитиля.

Выстрел загудел особенно звонко и раскатисто. Зрители вскрикнули. У мишени опять взвился красный победный флаг.

— Ай да метальщик! — кричал обрадованный Петр. — Да ты и сам, через двух и трех человек, мог бы метаться, как в комедии... Есть глаз, размер и верная рука! — пояснил царь Зотову. — Вот так бы и прочим...

Испробовали снова и других учеников. Те, ободрясь, также поправились. Но никто не превзошел Касаткина.

— Объявляю тебя поручиком галерного флота! — сказал ему государь. — Произвожу тебя первого, стань сюда ближе.

Алексей, замирая, подошел к царю. Петр откинул с его лба густые русые волосы, слегка придержал его за чуб и, глядя в его счастливое, смущенное лицо, произнес: «Честные, почитай, девичьи глаза! Будешь мне верным слугой».

Сказав это, Петр притянул к себе и поцеловал Касаткина. Тот еще более смешался, смертельно побледнел и вдруг упал перед царем на колени.

— Не достоин, ваше величество, — проговорил он, склонив голову, — возьмите чин и похвалы... Не милуйте, казните...

— Что с тобой? — удивился государь.

— Вор я и обманщик, — продолжал Касаткин, — всех и тебя обманул...

— Да в чем дело? Какие вины за тобой?

— Я — дерзкий, окаянный... Я увез Дуню из Сен-Сирского монастыря...

Петр остолбенел. Кровь бросилась ему в голову, выступила багровыми пятнами на щеках.

Все видели, как щека и правый угол рта государя, с подстриженным, щетинистым усом, судорожно задергались и как затряслась его кудрявая, точно каменная, голова.

Стиснув зубы, Петр медленно, с дрожью вздел на руку перчатку, пылающим, гневным взглядом, как бы не видя никого, чуть окинул присутствующих, сказал Касаткину: «За мной!» — крикнул коня и молча поскакал в город.

Белый, горбоносый и толстоногий фрисландский конь тяжело скакал по гладкому полю.

V

В Сен-Сире

Возвратясь в город, Петр позвал Касаткина, притворил за ним дверь, молча прошелся по комнате и сел на стул.

— Ну, молодчик, вывертывайся, — сказал он.

Касаткин стоял молча. Язык ему отказывался служить.

— Что же молчишь? — спросил Петр. — Из ребят, чай, вышел; я же не человекоядец — обсужу, не съем.

— Прости, государь, — проговорил Алексей, — не суд твой страшен, тяжела мысль: я тебя прогневил.

— Поздно жалеть, говори дело...

— Посуди, милостивый, — продолжал Касаткин. — Птицы имеют гнезда и лисы норы, язвины; ужли ж было оставаться без своего вертепа?

— Не так добывают свой угол!

— Увоз сделал тайно для всех, но по соглашению, — произнес Касаткин, — я давно любил Дуню, она меня...

— Где познакомились?

— Еще в Москве у Текутьевых.

— Как проникал в монастырь?

— Сперва с Кононом Никитичем, потом под видом родича, сказать — кузена.

— Как устроил увоз?

Алексей передал подробности похищения.

— Ловко слажено! И оную гисторию ты изложил немрачно! — сказал Петр. — Сенс ясен, и везде на месте точки и запятые! Да как же ты осмелился? Знал, под чьим кровом та особа?

— Знал и не стерпел, — ответил Алексей, — бродила одна надежда на правый твой суд да сладкая мысль о будущем добром товарище, любимой жене...

— А ведал о вкладе?

— О каком вкладе? — спросил Алексей, чувствуя, что вдруг ему стало грозить нечто неожиданное, страшное.

— О приданом этой сироты?

— Клянусь, ничего не знал... Вели судить, пытать... Да я и решился, когда пришла весть о собственном, но малом наследии...

Царь помолчал.

— Так обвенчаться думал? — спросил он, вставая. — Далеко, брат, до наших попов... Дудки!

Сухая, острая усмешка сверкнула в глазах Петра. Он подошел к столу, взял из кучи бумаг потертый распечатанный пакет, достал из него письмо и медленно, про себя, стал его читать: «Точно угадывал, поручая чадо сердца, любви, — сказал он себе, — точно сам, приснопамятный, умирая, напророчил ей собственный, бурный, страстями исполненный путь».

— Так по сердцу, с согласия? — спросил, вглядываясь в Касаткина, царь.

— Вся жизнь, вся... И весь я твой, государь, — вскрикнул Алексей, чувствуя, как сжалось его горло и как по его лицу бежали слезы, — она же... Ты ее не знаешь, видел подростком, дитей... Нет ее лучше на свете...

— Ну, посмотрим, — холодно ответил Петр, — не ты, так другой; сорока с тыну, десять на тын... Но ты коснулся запретного дела и должен то отслужить. Лучше солдату смерть в баталии, чем на дыбе...

Петр помолчал.

— У меня в Каспий брошен очарованный, волшебный перстень, — продолжал он, — туда послан Бекович — его достать... Не понимаешь? Говорю переносно... Бековичу велено открыть старый торговый путь в Индию через Каспийское море; ему дано против тамошних диких народов войско, пушки и флот для десанта за море. Ты — навигатор и пушкарь... Готовься, завтра поедешь на Каспий, отвезешь бумаги Бековичу и еще захватишь оный поход, понюхаешь пороху... Ну, будешь жив, тогда решим...

В тот же день Касаткина снабдили подорожной, деньгами и бумагами. Наутро он собрался и выехал в Астрахань.

Касаткина смущало одно обстоятельство: он открыл не всю истину царю.

«И зачем я послушался Дуни? — мыслил он. — Отчего тогда с нею не ушел на край света?.. Отгонял злые думы, сомнения, и вот что вышло... Я был плаватель, убивающий птицу, предвестницу бурь. Вещунья-птица погибла, а буря надвинулась, растет...»

Приезд императрицы в Голландию, ее роды и болезнь задержали Петра в Амстердаме. Он выехал во Францию только в апреле 1717 года. Его путь лежал через Брюссель, Кале и Булонь. В государевой свите кроме присланного его приветствовать маршала де Тессе и лейб-медикуса Арескина был, в качестве знавшего Францию и ее язык, голландский посол и царский свояк Куракин.

Высокий, тучный, от природы ленивый, изнеженный и скупой, князь Борис Иванович Куракин радовался, что избавился от ненавистных ему дорожных хлопот, что он наконец спокойно выспится и отлично поест, и только досадовал, что придется немало тратиться в беготне по Парижу неугомонного и тугого на расчеты Петра.

В Париж приехали поздно вечером. В ярко освещенном дворце вдовствующей королевы русского государя встретил богато накрытый ужин. На столе красовались вкусные дымящиеся блюда и целые батареи разнообразных тонких вин. Куракин уже предвкушал наслаждения.

— Нет ли, Борис Иванович, пивца? — обратился государь к посланнику.

Побежали за пивом.

— Пить умеют, — сказал Петр, отведав и вина, — только сильно роскошничают и неудобь ярко освещено...

Пройдя в отведенную ему опочивальню и подняв канделябр, Петр осмотрел мягкую, высоко взбитую постель, мраморный рукомойник и пушистый, с амурами и букетами, ковер.

— Нет, князенька, — произнес он, — скажи им, я тут не засну. Королеве или изнеженной придворной девке то было б под стать; мне же неповадно наплескать тут, с дорожной пылью, ушат воды...

Царя и его свиту поместили у старого арсенала, за Сеной, в отеле Ледигье. Петр велел внести свою походную постель в комнату, отведенную денщику, и объявил, что лучшей спальни ему не надо.

Чуть свет царь уже был на ногах. Из окон были видны арсенал, Дом инвалидов, гудевшие народом улицы, рынок, а над Сеной мачты и флаги, множество торговых судов. Петру не сиделось, но обычай не дозволял ему выйти в город: царь ожидал визита регента.

Герцог Орлеанский, а за ним и восьмилетний король Людовик XV не замедлили приветствовать Петра. Белоку-

рый, румяный и не по годам толстый мальчик-король прибыл отдать визит Петру в сопровождении разубранных в золото и перья игравших в трубы верховых гвардейцев. Царь подхватил озадаченного ребенка и, целуя его, торжественно внес к себе.

— Всю вашу Францию несу на своих руках! — сказал он, разглядывая лицо, шпагу и хитро скроенную горностаевую епанечку малютки.

«Катеринушка, друг мой сердечненькой, здравствуй, — писал Петр об этом свидании императрице, — извещаю вас, мейн-герценскинд, — визитовал меня нонче здешний королища; дитя зело изрядное — от полу не видно, а предивно сказывал дискурсы. Как здравие «шишечки» и прочего нашего потроха? Ей, без вас скучнехонько; не подумайте, чтоб утешался с матресишками. Мы старики и не такофские. Да и Борис Иванович с дохтуром не допустят; запретительные человеки.»

Отдав все должные парадные визиты, Петр с неудержимой ретивостью бросился на осмотр Парижа, который предварительно оглядел в трубу с колокольни Богоматери.

— Ваше величество, невмоготу! — сказал на одной из прогулок выбившийся из сил государев толмач и проводник Куракин. — Прости, милостивый, все винты развинтились.

— А разве что? — удивился Петр, отирая лицо.

— Не гневайся, государь, — чуть не со слезами произнес Куракин, — за тобой следуют раззолоченные королевские кареты, а ты, прости за смелость, аки нищий студиоз, все пеш да пеш...

— Ну, постой, князенька, — ответил Петр, — вот еще лавка... Ишь товаров-то... Постой, зайдем; все индейские — корица, индиго, перец, кашемир... Горе! Не научили их речи, а чертовски ко всему способный народ... Только в людях подлых бедность немалая да на улицах воняет, у немцев чище не в пример..

Первое свободное утро по приезде в Париж Петр провел в Сен-Жермене у герцогини Бургондской. Здесь был собран цвет знатных красавиц и разумниц Парижа, а потому царь был особенно в духе и, против обычая, по моде и даже щеголевато одет. Отсюда в сопровождении Куракина государь проехал в Сен-Сирский монастырь.

Завидев за оградой павильон, в котором помещалась начальница обители, Петр оставил карету и парком пошел к маркизе Ментенон.

Прислуга успела доложить о нем маркизе.

— Как? Без предупреждения и так просто? — изумилась восьмидесятилетняя былая красавица и властительница покойного короля. — Да ведь это беспримерное вандальство, непростительное даже последнему дикарю!

Ментенон в ужасе взглянула в парк и на свой домашний убор, опустила оконные занавески, бросилась на постель и, задернув полог, велела объявить непрошеному гостю, что она больна и не принимает никого.

Не успела прислуга кинуться в приемную, в другом конце здания, от теплиц, послышались на крыльце, потом в столовой твердые — «точно железные или каменные», как потом отзывалась маркиза, — шаги царя. За порогом испуганно и звонко залаяла крохотная маркизина собачка, общая любимица монастыря.

Дверь отворилась. Вошел Петр, за ним Куракин.

— Скажи ее светлости, — обратился царь к послу, — извиняюсь, что прибыл не к часу: крайне нам дорого время.

— Да где же она? Знать, недомогает — в постели! — ответил, разглядывая комнату, Куракин.

Петр отдернул оконную занавеску, приподнял полог и, увидя маркизу на кровати, отвесил ей глубокий и вежливый поклон.

— Чем вы больны? — спросил царь, садясь у ног маркизы.

— Старостью, — ответила Ментенон.

— Такие люди не стареют, — произнес Петр, — ваши глаза то доказывают... Переведи ей, Борис Иванович, мой комплимент! — обратился он к Куракину.

Князь в отменно изысканных выражениях передал маркизе государевы слова.

Луч прежней, давно угасшей красоты скользнул в радостно засветившемся лице польщенной старухи. Она — в ожидании новых приветствий — молча всматривалась в северного колосса.

— Ну, матушка, — сказал, помолчав, Петр, — просажено на тебя казны! Мои матресски обходились мне дешевле... Этого, впрочем, князь, ты Ментенонше не переводи...

Отвесив новый, по правилам, поклон, царь вышел, узнал ближайший путь к обители и, обмахиваясь шляпой, направился через сад.

Монастырь не ожидал посещения Петра. Младшие воспитанницы сидели в классах; старшие были в зале, на уроке танцев.

Исполняя какую-то фигуру менуэта, Дуня взглянула в окно и увидела необычных гостей. По главной садовой аллее, впереди другого посетителя, шел, срывая с грядок цветы, огромного роста незнакомец.

Он был в модном шелковом, цвета васильков, кафтане, с красным стамедным подбоем, в белых — в обтяжку — чулках, в лаковых, с пряжками, башмаках и без шляпы.

Гобои и скрипки доигрывали последние трели, когда незнакомцы, пройдя крыльцо, были введены в зал.

Дуня сразу узнала дорогого гостя по его курчавой, выше всех голове, по смуглому, до невероятности загорелому лицу, по осанке, подстриженным усам и по живым черным, гордо глядевшим глазам.

Петр, со своей стороны, видя ряды розовых и зеленых девушек, под звуки скрипок, с раскачиваньем плывших и кланявшихся друг другу, не мог разобрать, которая из этих белокурых и темноволосых, причудливо причесанных головок принадлежала Дуне.

И он увидел вспыхнувшие щеки, растерянно и укоризненно улыбающиеся глаза. «Не сказал, не предупредил! — говорили ему эти глаза из толпы движущихся и кланявшихся девушек. — А я-то о тебе думала, тебя ждала...»

Танец кончился. Из круга вышла и, вне всяких уставных приличий, бросилась на шею Петра взрослая, в полном цвете красавица.

— Дозволяется? — спросил царь, оглядываясь на Куракина и наставниц.

Все почтительно расступились.

— Не узнал!.. Принцесса! — сказал Петр, разглядывая Дуню и ее красивый танцевальный наряд. — Похорошела! Отдаю решпект выправке... Вот тебе в презентец цветы...

— К нам, к нам! — кричали прочие девицы, окружая царя. — К зеленым, к голубым... У нас пение... Декламаторский урок...

Осаждаемый и со всех сторон тормошимый монастырками, царь направился в классы. Ему показали все отделения, столовую и молельню, где под звуки органа был исполнен хоральный гимн. «Поют не дурно, — подумал Петр, — однако отсюда ведь и умудрились бежать...»

Поклонясь наставницам, царь взял Дуню под руку и прошел с нею в сад.

— Ну, сударыня, — сказал он, садясь там на скамью под деревом, — исполать! Тобой довольны... Скоро и ученью конец...

Дуня молчала. Смущение и тревога отражались в ее робко склоненном лице.

— Виновата я, государь! — проговорила она.

— Знаю... Напроказила! Ну, да кто Богу не грешен?.. Молодец, однако, твой сосватанный вихорь-лихач! И я его отличил...

— Не то, государь... Ах, не то! — сказала Дуня, ломая руки. — Прости за другое, скрытое от тебя...

— Что же он? Что вы? — спросил Петр.

Дуня склонилась к руке царя и что-то тихо, вне себя, повторяла.

— Не слышу, матушка... Говори ясней!

— Ах! Прости... Да не простишь...

— Ну?

— Мы... Давно обвенчаны...

— Как? Шутишь! — вскрикнул Петр. — Где достали попа?

— Посольский отец Иван тайно венчал в Гааге...

Петр был ошеломлен. Его лицо подернулось судорогой. Глаза сверкнули, но опять стали нежны и ласковы.

— Ах, вы путаники, ветрогоны! — сказал царь. — И отчего было сразу не открыться? Ну, видно, так и быть... Перст Божий... Я же тебе вместо отца, оттого его и послал...

— Куда? — спросила Дуня.

— А вот погоди, — ответил Петр, — есть до тебя более важное дело... Ты в возрасте, пришло время, и потому могу тебе объявить, кто ты...

— Своей матери ты лишилась младенцем, — продолжал царь, — о ней не спрашивай, красы она была неописанной — ты становишься схожа с ней! — но незнатной русской семьи... Твой же отец... Ты хотя и не от брака, но мне порученная дочь приснопамятного в нашей службе моего учителя и лучшего друга...

Петр взял Дуню за обе руки.

— Имя твоего отца, — сказал он, — гордись им... Адмирал и бывший наш посол Франц Яковлевич Лефорт...

Дуня не поднимала глаз, молчала.

— А куда же ты, государь, услал Алексея? — спросила она, замирая.

— На Каспий, голубушка, в знатный индийский поход в Хиву...

Дуня вскрикнула и без памяти упала со скамьи к ногам царя.

— Оный женский пол, — заметил Петр Куракину, уезжая из монастыря, — часто бестолков и несносен... Но в нем много привлекающего... Дуне пора на свободу...

«Уж не приглянулась ли ему питомка?» — подумал Куракин, вспоминая отзыв о Петре лейб-медика Арескина: «Царь одержим легионом бесов сластолюбия; он всегда циник, никогда селадон.»

— И скажу тебе, — продолжал царь, — француженки нравом не похвалятся; далеко им до иных земель. Женский пол у них благообразен, даже неотразим... Примером, девица Камарго... К молодежи они любезны и приемны, к домашнему ж труду весьма не горазды и больше все в прохладах да суетах...

«Пой, пой, — думал на это Куракин, — увидим.»

После осмотра остальных диковин Парижа — мозаичной, чулочной и прочих фабрик, кабинетов редкостей, академий и больниц — Петр отдал дань и удовольствиям: посетил балет «Очарованная Армида» и комедию «Притворный адвокат». Разрешив списать свою персону живописцам Натье и Риго, он предварительно вымылся в бане. В кафе «Прокоп», обычном сборище тогдашних литературных и ученых знаменитостей, царю представили Реомюра. На смотре парижских войск царь лихо проскакал вдоль строя, но остался недоволен страшной пылью и толпой лезших поглазеть на него уличных зевак. Не оставлялась и политика: шли переговоры с министрами, писались какие-то бумаги.

Накануне отъезда из Парижа Петр посетил французский парламент.

Зрительные трубы и взоры публики были устремлены на редкого гостя. Депутаты сидели в парадных красных мантиях и беретах, в которых палаты некогда встречали Карла Пятого. После шумных о чем-то прений королевский прокурор, сняв шляпу, сказал с кафедры приветственную пышную речь царю. Ему отвечали первые ораторы Герен и Мишо, причем одним из них было заявлено, что русскому государю за карту Каспийского моря в тот день

был поднесен диплом Парижской академии наук. Публика и члены палат рукоплескали.

— Краснобайски витийствуют, куда нашим киевским бурсакам! — сказал Петр, оставляя парламент, свободой и шумом которого был несколько озадачен. — А их дела, Борис Иванович, скажу, не в авантаже — у голландцев деньги занимают под немалый рост...

Девятого июня Петр вторично и в последний раз навестил Сен-Сирский монастырь. В тот же день он выехал из Парижа, где его пребывание, несмотря на всю его расчетливость и простоту, обходилось королевской казне по тысяче восемьсот ливров в день.

Был вечер.

Запряженные кареты стояли у подъезда. Народ толпился, глядя на крыльцо и в окно царского помещения.

Зазвучали трубы, защелкали бичи. Экипажи двинулись.

— А мы, князенька, свое дело сделали, — сказал царь Куракину, раскланиваясь из кареты бежавшему за ним народу, — союз не союз, а выговорили у здешней министерии помощь против шведа и турок... А где поместил Дуню?

— В Калеше с Арескиным следует, — ответил Куракин, — не можется ей что-то в закрытом, бледна и как бы ей все дурно...

— Утешится, — сказал царь, — отпросилась к мужу, хочет его первая встретить с похода с победным венком... Как-то все уладил там Бекович? За его ведь Каспийскую карту мы нынче академики...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИНДИЙСКИЙ ПОХОД

VI

Сборы

В конце февраля 1717 года полуазиатский, бедно обстроенный и малонаселенный город Астрахань вдруг оживился. По его улицам сновали пехотные солдаты, гребенские и яицкие казаки, разъезжали верхом офицеры, тащились с кладжей верблюды и воловьи возы.

Жители толковали о предстоящем походе отряда князя Бековича-Черкасского за Амударью, на Индию, через Хиву.

В небольшом домике, где помещалась семья командира отрядных полков майора Франкенберга, каждый вечер собирались офицеры.

Марья Саввишна Франкенберг, урожденная Текутьева, была живая нравом, радушная и приветливая хозяйка. Провожая мужа, она была рада, чем могла, развеселить его товарищей. Гости пили пунш, играли в карты, пели под лютню песни, беседовали о предстоящей экспедиции.

В числе офицеров были и подоспевшие к походу присланные государем, вслед за Касаткиным, произведенные из гардемаринов морские офицеры — брат хозяйки Текутьев, Тувалков, Лебедев и Юрлов. Первым трем от царя было

велено заведовать отрядной артиллерией и помогать при перевозке десанта через Каспийское море. Касаткин был назначен в личное распоряжение князя Бековича.

Еще прежде присланный в Астрахань морской поручик Кожин, помогавший Черкасскому в постановке новозаложенной Тюб-Караганской крепостцы и успевший побывать в Персии и на Кавказе, выделялся из остальных офицеров несколько чванным, заносчивым нравом и беспрестанно спорил с властями, осуждая чуть не каждое распоряжение Бековича.

Был конец масленой.

Окна квартиры Франкенберга были весело освещены. В двух комнатах играли в ломбер. В третьей, за разложенной картой каспийских берегов, шла беседа о предстоящем походе.

— А все-таки не понимаю, — сказал с немецким выговором хозяин, добродушный, с проседью, давно обруселый пехотный майор Франкенберг, — откуда доказательства, что в старину был торг в этих мертвых, сыпучих песках? Ни, жилья, ни воды...

— История, сударь, — ответил недавний парижский школяр Тувалков, — Геродот, Плиний, Страбон... Ну — Аристовул да и Птоломей весьма ясно указывают на коммéрс Европы с Востоком в тех местах.

— Засыпал, батюшка, именами... Не выговоришь! Ты лучше объясни, отчего тот коммéрс нынче прекратился?

Молодежь переглянулась. В глазах некоторых читалось: «Ну, что с ним, стариком, разговаривать, когда видно, что не заглядывал в прочтенные нами книги?»

Пока близорукий толстый Тувалков, водя носом по карте Каспийского моря, шептался с Юрловым, вошла и с улыбкой облокотилась о стол красивая, статная, с двумя пышными русыми косами, Марья Саввишна.

— Ох, уж вы спорщики! — произнесла она, окинув всех ласковым, спокойным взглядом.

Касаткин при этом взгляде и голосе вспомнил далекую былую подругу хозяйки, царскую питомицу Дуню, и вспых-

нул. Его давно брала охота поговорить в этом задушевном кругу, теперь его будто нечто подхватило на крылья.

— Вот видите ли, Дяденька, — сказал Касаткин, именуя этой всеми принятой задушевной кличкой общего любимца отряда, — хивинцы пресекли, издавна преградили воды Аму плотинами, и все города и села в той старой горловине стали пусты.

— Но зачем же они преградили?

— Дабы истомить, Дяденька, сжаждити вольные, непокорные племена, своих соседей. Вот его величество и повелел идти, разрыть те плотины и направить реку Амударью вспять в былое ложе.

Марья Саввишна перевела одобрительный ласковый взгляд на Касаткина и не переставала следить за ним, как бы говоря: «Вот он, друг моей Дуни; вот слушайте, как он дельно и красно говорит».

— И скажу вам, досточтимый государь мой, — продолжал, оживляясь более и более, Касаткин, — его величество — в том засвидетельствуют и остальные товарищи — ни на день не спускает мыслей с ориента, с восточных рубежей отечества; посылая нас сюда, государь изволил выразиться, что России нужны не новые земли... Их доволе у нас.

— Именно так, — прибавил Тувалков, — мы-де, бедная, забытая другими страна; нам нужны иные завоевания, говорил царь, у нас недостаток в деньгах, в товарищах и в новых торговых путях.

— Оттого и поход, — подтвердил Лебедев, — по этому закрытому пути в древние годы торговали финикийцы, генуэзцы, венециане. Царь Грозный заботился о возобновлении его; Годунову англичане строили в Нижнем для Каспия суда; царь Алексей спустил сюда корабль «Орел».

— Там, за Хивой, у ворот Индии, — продолжал Касаткин, — царство древнего Могола; там лежит богатый золотом и всякими дивами город Иркен, и к тому городу ведет эта самая великая, как Миссисипи, сказочная река Окс, или Аму, по коей в древности к нашим

хвалынским, то есть каспийским, берегам двигались караваны предивных сокровищ.

— И мы двинемся туда! — проговорил Юрлов. — Штыками, пулями возвратим реку Аму из Аральского в Каспийское море, навеки прославим наш отряд.

Марья Саввишна вздохнула.

«Да, — подумала она, глядя на мужа и на оживленные лица офицеров, — как-то вам всем посчастливится в этом деле? Как-то возвратитесь из дальнего тяжелого пути?»

— А паче всего, — произнес Касаткин, — государь, отпуская нас, велел напомнить князю: посылает-де он его не завоевателем, а мирным послом и купцом, хоть и дано ему в охрану семь тысяч войска. И приказал в тех местах князю думать не о лаврах Александра Македонского, а лишь о купеческих, для будущей торговли, барышах...

— Добавлю и я, — сказал, отирая лицо, Франкенберг, — и это я уже знаю из бумаг: государь повелел все делать разумно, не торопиться, а главное — не входить в газард, дабы дела не погубить и людей даром не терять. Знаете это?

— Ну, разумеется, — заговорили молодые гости, — кто же будет поступать, очертя голову? Не такое предстоит дело — азиатская, хитрая страна...

— В этой самой инструкции, — продолжал Франкенберг, — царем указано, пройдя старым руслом Аму, склонить хивинского хана в нашу дружбу, обнадежив наследством престола, а его подданных всячески ласкать: мы-де пришли не дуванить, а вести торг. И если хан пожелает защиты от своих, то дать ему в охрану нашу гвардию; а нечем будет ей платить жалованье, то на год от нас довольствовать его и казной... Ну, что на это скажете?

— Умно, — произнес Тувалков, — дельно и умно.

— А вы же, государи мои, — сказал с улыбкой хозяин, — думали штыками да пулями все-то скорехонько добыть...

— Ну, разумеется... Ведь это, если бы азиаты вдруг заспорили...

— А надо, чтоб не вышло спора, — заключил Франкенберг, — в том-то опытность и мудрость... Князь, без сумнения, все то устроит по приказу. Многоводная, нужная нам Аму польется с ледяных высот Памира в Каспий. Только и вы, господа, помните, да получше, царские слова: быть во всем настороже, а паче... Паче всего — не входить в ненужный, вредный газард.

Марья Саввишна подала руку мужу. Все пошли ужинать. «Те красно говорят, — мыслила она, — горячие, бедовые головы... Мой тише, смирнее, но правда чуть ли не на его стороне.»

И, видя переглядывание, слыша насмешливый шепот молодых людей, она крепко сжала руку мужа, с усталым и озабоченным видом молча шедшего с нею сзади гостей.

Князь Бекович-Черкасский, возвратясь из осмотра новозаложенной закаспийской, Тюб-Караганской крепости св. Петра, спешил кончить приготовления к походу, чтобы двинуться до летнего тепла.

Войско, сверх ожидания, еще не было в сборе. Кончали постройку и снаряжение судов для перевозки за море войсковых тяжестей и торгового индийского каравана. Продовольствия припасли на полгода. Сборным местом был назначен, в устье Урала, укрепленный Гурьев-городок.

Касаткин явился с бумагами к князю Бековичу ранее прочих гардемаринов и был им принят отменно ласково. «Очень рад, — сказал Бекович, — мы, товарищи гардемарины, докажем, каковы плоды наук.»

Родом из владетельных черкасских князей, уроженец Большой Кабарды, Александр Бекович, то есть сын бека — князя, Черкасский был в детстве тайно похищен ногайцами у отца, вскоре затем, при осаде Азова, попал в плен к русским, получил в крещении имя Александр и воспитывался в

семье знаменитого наперсника Софьи князя Василия Голицына, где выучился русскому и латинскому языкам. Австрийский посол Корб, видя красивого черкесского юношу за пышными подмосковными обедами его воспитателя, занес в свои записки о благородстве и твердости духа, обличавших в пленном сироте воина по происхождению.

Одной крови с другими Черкасскими, более ранними выходцами с Кавказа, по второй жене Грозного уже бывшими в родне с Рюриковичами, Бекович был замечен Петром у Голицына. Возведя его в звание стольника, царь его с Зотовым и другими послал для обучения морскому делу в Европу, откуда Бекович возвратился в 1708 году. Хорошо, по времени, образованный двадцатипятилетний красавец черкес свел с ума не одну из невест тогдашнего Петербурга и Москвы. Он женился по любви на родственнице своего воспитателя княжне Марфе Борисовне Голицыной, пожил с нею некоторое время в поместьях ее отца и опять возвратился на службу. Вскоре его имя стало неразлучно с важнейшими из предприятий Петра на Востоке.

Посетив Кавказ, Черкасский в 1711 году предложил государю принять в подданство, с клятвой на Коране, его братьев и родину Кабарду. Братья дали царю «шерть» — присягу — и объявили о свержении турецкого ига со своего народа. В 1713 году зачисленный в гвардию князь отличился в закубанском походе. Еще через год по воле царя Черкасский занялся съемкой восточных берегов Каспийского моря и, в видах будущего присоединения к России всего Кавказа, из первых дал Петру совет утвердиться на Каспии и в Персиде, а для поисков золота и серебра и развития торговли с Востоком предпринять индийский, за Амударью, поход. Перед отъездом с этим поручением в Астрахань Бекович был произведен в капитаны Преображенского полка.

Жена Бековича княгиня Марфа Борисовна была дочерью дядьки Петра, боярина князя Бориса Алексеевича Голицына, известного среди государевых слуг тем, что ему, между прочим, удалось уничтожить в своем царственном питомце

врождённую боязнь воды. Князь Борис Алексеевич заседал в пятичленном совете, управлявшем некоторое время государством, заведовал потом Казанским приказом, но оставил мирскую жизнь, постригся в монахи и три года назад умер семидесяти трех лет в пу́стыни Фролищевой, близ города Гороховца Владимирской губернии. Чтя его память, государь в приезды ко двору его дочери Марфы Бекович выходил к ней навстречу и лично ее высаживал из саней.

Сестры княгини Бекович были в замужестве также за князьями: Настасья — за Ромодановским, Аграфена — за Хованским и Анна — за царевым казнохранителем Прозоровским. В гербе Черкасских была золотая держава на горностаевом поле и шапка с зеленым пером пророка.

Княгиня Марфа Борисовна перед проводами мужа в поход съездила с четырьмя малолетними детьми на поклонение в Фролищеву пустынь, где внесла богатый вклад на монастырь и служила молебны об успехе похода на могиле отца. Она возвратилась в Астрахань незадолго до прибытия туда Касаткина.

Получив новые государевы приказы и наставления, привезенные Касаткиным из Голландии, князь Черкасский созвал военный совет. Голоса на совете разделились. Касаткин в подробности впоследствии помнил это совещание.

В особенности горячился морской поручик Кожин, невысокий, плотный и смуглолицый человек. Касаткин здесь разглядел его впервые. «Да, что вы, господа, — сказал Кожин, — из Казани еще не подъехали ожидаемые запасные, с походными аптеками, лекаря... Ведь этак, торопясь, всему семитысячному отряду придется, при беде, искать пособки у одного лишь врачебных дел мастера, да и то старика...»

После долгих споров, шума и даже перебранок, причем Кожин, в укор Черкасскому, назвал отрядных азиатов «гололобыми», а те чуть не схватились за ятаганы, был решен зимний поход передового отряда с частью пушек и с войсковым обозом.

— Моряков для флотилии у нас достаточно, — сказал Бекович, обращаясь к Касаткину, — опытных пушкарей ма-

ло; потому тебе, Алексей Ильич, поручаю проводить казаков, а притом осмотреть и приспособить гурьевскую гавань к высадке пехоты, моего штаба и остальных частей.

Казачий отряд двинулся из Астрахани на исходе великого поста. Колесный обоз с войлочными кибитками шел сзади, под прикрытием крещеных калмыков и мирных юртовских татар. На вьюках верблюдов отправили в дар великому индийскому Моголу на несколько тысяч рублей сукон, бархата, шуб, шелка и парчи. Хивинскому хану, кроме прочих даров, везли еще укрытую кошмами золоченую, со стеклами, карету, а за ней вели верхового вороного и цуг темно-серых упряжных вывезенных из Неметчины жеребцов.

Перед выходом головного отряда в Гурьев у Черкасского была прощальная вечеринка.

Угощались отрядное начальство и прочие чины. При возглашении обильных здравиц за царя и войско играла музыка, били в накры и барабаны.

Здесь был и Кожин. Он, по обычаю, заспорил с бригад-комиссаром Волковым.

— Не шутите, государь мой, — говорил Волков, — снаряжение обошлось в двести осьмнадцать тысяч... Чего же вам еще? Все предусмотрено.

— В двести осьмнадцать тысяч, знаю! — ответил насмешливо Кожин. — Все то высчитано и в реестрик, чай, занесено. Только, батюшка, не серчай: мало верблюдов, водка разбавлена да и мучица, ой, с душком...

Волков с криком стал опровергать.

— О чем речь? — спросил, подходя к спорившим, Бекович.

Кожин отвернулся. Бекович со снисходительной усмешкой посмотрел на его сердитое и красное от возлияний лицо, на небрежную прическу и поношенный, неряшливый кафтан и повторил вопрос.

— Да вот что, князь, — непочтительно грубо ответил Кожин, — все здесь не по указу... Вы готовитесь к баталиям, а вам что повелено? И из-за чего медлите с караваном?

— Объяснитесь, сударь, не разберу, — произнес Бекович, готовясь слушать.

— Несдобровать походу, попадетесь все в лещетку, в капкан! — продолжал Кожин, возвышая рвавшийся в досаде голос. — Не знаете игры... Много шахов, один мат!

— Так приказано его величеством! — ответил Бекович.

— А вы должны рапортовать царю, должны, — кричал, размахивая руками, Кожин, — все то недостаточно, говорю вам, и ничего не выйдет: нужно посольство, товары, дары, а вы, в виде конвоя, ведете экое войско... Ужли думаете отуманить отрожденных азиатов-хитрецов? Да на кошку чирикает и воробей...

«А ведь Кожин, пожалуй, и прав», — подумали некоторые, в том числе и Касаткин.

Темноволосый, с иссиня-черными красивыми задумчивыми глазами, костлявый, широкоплечий и худощавый лицом, Бекович сильно побледнел. Гордо улыбаясь, он молча слушал задорного моряка.

— Ай да придумали! Дивно, а не проведете! — продолжал Кожин, глядя на всех и в бешенстве не видя никого. — Калмыцкий Аюка-хан пишет: в Хиве уже проведали, что послы идут небывалые — с пехотой, конницей и пушками. Мне же, князь, указано особое поручение, — вдруг подступил к Бековичу и угловато поклонился Кожин, — пустите вперед; велено — под видом купчины, с караваном... Ну, и пройду без опаски не токмо в Хиву — в Индию, к Моголу... Не надо мне ваших конвоев... Пройду без сабли и штыка!

— Не ты вождь, я вождь, — спокойно возразил Черкасский, слегка покосив строгие глаза на спорщика, — не

пущу тебя купчиной, сам знаю! Ты моряк — вези, высаживай войско, не мути...

— Кто мутьян! Я? — крикнул, не помня себя, Кожин. — Это за услуги-то? Так не дадите каравана? Не пустите?..

— Не пущу.

— Кому же поручите?

— Не твое дело...

— Так я вам не пособник, с вами не пойду...

— А я прикажу... Твой начальник...

— Знаю, только есть правда повыше...

— Государя ослушаешься?

— Мой ответ, — произнес Кожин, — мало ли что издали приказано! На то глаза, чтоб смотреть.

— Трус! — презрительно прошептал и, сверкнув глазами, отвернулся Бекович.

— Ты мне это выкупишь, попомни, князь, — заключил Кожин, трясясь от волнения и злобы, — не пеняйте, господа, — обратился он к прочим офицерам, — берегите головы на плечах — хивинцы грозят набить ваши кожи сенной трухой...

— Цыплятам по осени счет! — ответил, крутя усы, Бекович. — А тебе, слушай, советую покориться; не то — по артикулу, под суд...

— Спасибо, угостили! — произнес, кланяясь князю и прочим, Кожин. — Дорóга скатертью — счастливого пути!

Он схватил шляпу и шпагу, застегнулся, отвесил низкий поклон княгине и, не глядя ни на кого и сердито пыхтя, вышел от Бековича.

— Проспится, утихнет! — толковали офицеры.

Кожин ночью написал рапорт Меншикову и Апраксину, извещая через них государя, что бросает Черкасского; утром тайно выехал в Казань, взял там подорожную и отправился в Петербург.

Передовой отряд вышел в Гурьев без него.

VII

Барка

Весна в 1717 году на севере Каспийского моря наступила поздно. Казачий отряд до сборного места шел около двух недель по снегу. Были еще и сильные морозы и не одна бурная, степная метель.

Майорша Франкенберг получила от Касаткина, с пути до Гурьева, два письма:

«Милостивая государыня моя, благодетельница и печальница, Марья Саввишна! — писал Касаткин в первом письме. — Вы себе представить не можете, как я радостен и многосчастен вашим данным пуховым рукавичкам и таковым же чулкам! Ну, вот уж удружили, пригрели, сберегли, а я еще совестился брать. Оно всегда так: думаешь о хоромах, а помогла щепка. Опишу все по порядку. Ай да южные, пустынные края: почитай, холоднее дальнего Питера. Так и сказывали: полгода студеные Холмогоры, полгода палящий Стамбул. Кто запасся, как отчасти и я, арчаком из жеребячьей шкуры либо киргизскими дохами, тому только спасенье и житье. Особливая ж благодать — сибирские со́вики, сказать — длинные, аки бы женска пола, оленьи рубахи до пят. Вы бы меня в таком наряде и не спознали, да когда еще притом на голове шапка из молодого олень-беляка, — не в пример благодать. Вместо пера обученного моряка у меня, сударыня, в промерзлой руке в сию минуту плохо даже очиненный карандашик; но я потщусь сдержать обещание и опишу, что видел и зрю.

Авангард Бековича на зимнем походе испытал немало бед в снежной, безлюдной степи. Краткие отдыхи сменялись однообразным, медленным движением нескольких сотен переполненных транспортных фур, под скрип оледенелых колес. Особенно надоедал несмолкаемо воющий, как зимой в трубе, северо-восточный злой ветер. Облака шли низко; днем и то было не совсем светло. Сумерки наступают скоро. Гремит барабан — радостный ночной привал. Разбиваются калмыцкие

кибитки — юлламы; вокруг табора ставится с ружьями стража. Развьючивают верблюдов к корму. Кашевары в суете: достают из переметных вьюков торсуки, баклаги с водой, котелки на похлебки, таганцы для огня и всякую снедь. Ночь без месяца и звезд; не видно ни зги. Издали только светятся яркие прорехи на боках и маковках кибиток, да вороха искр сыплются с дымных костров, сложенных из степной колючки и камыша.

Все подкрепились, — описывал такой привал Касаткин, — тот тянет песню, те улеглись в кибитки спать. Кругом смолкает. Даже ветер было усилился и затих; только перекликаются на углах табора часовые да протяжно, жалобно вдруг зарычит на всю окрестность иной верблюд. Ему, видно, как и людям, также вспомнилась, только не такая, ночевка — корму вдоволь, теплый зимовник. Давно ли и я с товарищами оставил чужие, дальние страны, Париж, где мы ходили по веселым, шумным улицам, видели иных людей! Давно ли я расстался с Дуней! Имеете ли письма о ней?

Пустынны и дики показались отряду зимой страшные, вечные Рынь-пески. Ни жилья, ни деревца; все под снежными кучугурами. Кое-где лишь выткнулся тощий, в колючках, кустарник да камыш. Ударила метель, верблюды сбиваются в кучу, хвостами к ветру. Но потянет теплом с юга, на диво скоро в этих местах рухнут снеговые сугробы, и не опомнится пустыня, как и вот она, весна.»

«Сегодня, Марья Саввишна, — писал Касаткин спустя три недели во втором письме, — скажу себе в утеху, будто дохнуло теплее с полудня, от южной морской стороны. И уж так-то мы все возрадовались, что и не сказать. Ужли и в самом деле шествует весна, аки бы пресветлая волшебница с могучим жезлом?»

Приметы сбылись. Прошел день, другой — степи не узнать. Куда ни кинуть взор, везде шумят, бегут веселые

ревущие снежные ручьи. Давно ли телеги и арбы тонули в сугробах? Теперь тонут в грязи.

Под Гурьевом измореннному отряду дали дневку. Привал объявили до захода солнца. Половина обозных верблюдов с частью лошадей отбили на тебеневку — пощипать в стороне, за приморским бугром, открывшейся на солнце прошлогодней ожившей травы. Сильно все обрадовались отдыху. В лагере было так мирно и тихо, что товарищи Касаткина по кибитке, состоявшие в драгунской сотне, два пленных шведа, даже разделись, как в бане, чтоб под ворохом полостей и шуб лучше согреться после долгой стужи и во всю сласть заснуть.

Они тихими, то радостными, то грустными голосами беседовали с Касаткиным о своей родине, о памятной Полтавской баталии и о своем давнем плене.

— И страшно было во время той битвы, под пушечной пальбой? — спросил Касаткин старшего шведа.

— Страшно... говорили, что у нас расстрелян весь порох, а ваши пушки все палили...

— Видели в битве царя?

— На белом коне... Я завидел; тут ударила пуля, я упал...

Швед не кончил. В лагере раздалась тревога. Затрещали барабаны, загремели вестовые трубы. Суета, беготня, крики начальства. Кое-где, впотьмах, выпалило ружье.

— В чем дело? — спросил, наскоро одевшись и выскочив из кибитки, Касаткин. — Откуда переполох?

— Не ведаем, батюшка, — отвечали казаки. — Кто е зна...

Алексей схватил шпагу, сел на чью-то лошадь и бросился сквозь толпу. Вокруг табора ставили завал из телег и вьюков. Беспорядочный, смутный говор кругом. Темень непроглядная. Ревут остальные, вьючимые верблюды. У разбираемой старшинской кибитки тявкает, трусливо заливаясь, полковая собачонка Рябка. Седлали лошадей — но куда? Никто не знает. Наконец, прискакал казак из полка Басманова.

— Налетели, — объявил он, — каракалпаки и погнали от бугра с тебеневки всех верблюдов и лошадей.

— На конь, на конь! — кричат есаулы.

Гребенская сотня выехала из табора, за ней Франкенберг с драгунами. Касаткин поскакал с последними. Хищников догнали на рассвете у какого-то яра. Те из засады дали залп. Кое-кто из казаков повалился.

— В сабли! — скомандовал Франкенберг и бросился первый. Хищники бежали, бросив добычу.

«Плохое предзнаменование, — мыслил Касаткин, возвращаясь к табору, — у себя, почитай, дома — под самой крепостью... Что же будет далее, там, в этой пустынной мертвой земле?»

Вновь поднялся отряд, вновь потянулся к недальнему городу. Рассвело. Солнце грело по-летнему. Степь синела и шумела тысячами ручьев. Дымились трубки, слышался казачий говор и смех. В передовой казачьей сотне гремели бубны, дружные голоса, заливаясь, пели: «Лен, лен молодой...» А товарищ Алексея, младший пленный швед, искусник в живописи, с верблюда, на ходу, заносил карандашом на бумажку виденный ночной переполох. Чуя близость жилья, бодрее шагали верблюды, неся на мягких горбах огромные, мерно качающиеся вьюки. Инородцы, в обозном прикрытии, разоделись на радости, как на праздник, мелькая желтыми, алыми и всяких цветов халатами. Они смеялись и, тыкая вдаль нагайками, что-то весело галдели.

«Еще десяток верст, и мы будем в Гурьеве, — приписал Касаткин Марье Саввишне с последнего привала, — оба мои к вам письма, как и особо здесь же, под печатью, прилагаемую на имя Дуни грамотку, для Бога, перешлите ей при оказии. Аз же писавший — здрав и невредим, по мольбам предстательствующих за ны.»

Марья Саввишна Франкенберг получила оба письма Касаткина уже после Пасхи. Их она не переслала в Париж, так как жена Касаткина к этому времени ее известила, что, узнав об отъезде мужа в Астрахань, она решилась, едва

прибудет во Францию государь, неотступно просить у него отпуска к мужу.

На Фоминой неделе двинулось в Гурьев на судах и остальное войско.

Духовенство служило на площади, в Астрахани, напутственный молебен. Кропили святой водой людей, суда, пушки и знамена. На красном шелковом знамени Бековича, с изображением солнца, месяца и орла, княгиней Марфой Борисовной были вышиты золотом восточные слова: «Девлет-Гильдей-Мурза» — «Покоритель стран, князь».

Кожин, еще когда княгиня вышивала знамя, не утерпев, напал и на эту надпись.

— Не статочно, ох, не ладно, и опять не к добру! — говорил он. — Попомните, оскорбятся дикие гордые князьки.

— Да ведь княжество родичам Черкасского дано еще царем Федором Алексеевичем, — возразили Кожину штабные, — а его братья и теперь владеют на Тереке черкесами и охочанами.

— Не то, говорю вам, не то, — возражал упрямый спорщик, — был я в этих краях, присмотрелся — слушались бы меня... Покоритель... А идем торговать...

Два брата Черкасского, красавцы и щеголи, Сиюнч и Акмурза подоспели с Кавказа к летней части похода. Их и двадцать ставших в личную охрану князя разряженных кабардинских узденей Черкасский взял на собственную бригантину.

Княгиня Бекович напросилась провожать мужа в море, куда решила взять с собой и трех малолетних детей — двух дочек и грудного сына, тезку отца, меньшого Александра.

— Лучше бы ты, княгинюшка, осталась дома, — уговаривал жену князь, — море не бабье дело: захвораешь, мало ли что!

Марфа Борисовна не послушалась мужа, снарядила детей и поехала. Хворавший лихорадкой старший сын, Александр большой, остался в горести и слезах у Марьи Саввишны в Астрахани.

Князь ступил на бригантину и поднял флаг к отплытию судов.

— Тятечка, тятя, — кричал на руках князева денщика шестилетний Саша, уцепившись за расшитую золотом полу отцова гвардейского кафтана, — возьми и меня.

— Полно, Шурка, увидимся, потерпи, — утешал, улыбаясь, князь.

— Слона приведи, — не унимался сын, — и живого льва...

— Хана тигра приведу, — крикнул с реки отец.

Суда двинулись. С бригантины были видны берег, покрытый народом, крыльцо Марьи Саввишны и на нем она с плачущим Сашей.

Погода стояла ясная, теплая. Кудрявые белые облака весело бежали по небу. Ветер был попутный. На второй день флот миновал устья Волги и, выйдя в море, убавил паруса. Князь стал прощаться с семьей.

— Не плачь, Марфуша-друг, — сказал Бекович жене, — разве забыла? Покойный твой батюшка отучил государя от страха воды. Вот и вышел царь-моряк, да какой, и мы с него моряки. И что я думаю: не отучи князь Борис Алексеевич царевича от водяной боязни, не видали бы мы ни этого синего, широкого моря, ни предстоящего к его чести и славе похода.

— Ах, князенька-свет, Сашечка ты мой собственный, — ответила Марфа Борисовна, — не страшусь я, душатка, ни моря, ни войны: ты отважен и смел, все снесешь... Но сердце вещает недоброе, щемит...

— Молись за нас, успокойся, скоро свидимся опять.

— Не отпускай нас, обожди, — молила княгиня, — дай наглядеться, поговорить... Пройдем вместе еще хоть малый час.

Князь опять поднял флаг. Но далее от устья Волги ветер стал свежее. По морю забегали зайчики, волны расходились вровень с кормой, начали хлестать на палубу. Солнце клонилось к закату. Полнеба застилалось темно-багровой тучей.

— Видишь, князь, журавлей? — сказала княгиня. — Вон тянутся из-под тучи полоской, чуть видать; а ближе... Белая чайка... Ишь, чуть машет, точно плывет в воздухе...

— Вижу.

— Ну, приметишь в пустыне журавлей либо где над водой чайку — вспомни нас.

— Нет, жена, довольно! — решил Бекович, обнимая княгиню и детей. — Езжай с Богом; чем дальше от берега, видишь, тем хуже... Не быть бы грозе, буре... Море не земля: на него не надейся...

Князь и княгиня простились.

— С денщиком отпиши, счастливо ли доедешь, с денщиком! — крикнул с бригантины Бекович.

Особо оснащенная барка с княгиней и детьми поплыла к берегу. Остальной флот, раздув паруса, двинулся полным ходом к Гурьеву.

— Прощай, Саша, прощай! — кричала княгиня Марфа Борисовна под шум крепчавшего ветра, поднимая с барочной палубы то сына, то дочек, в красной и синих рубашечках, и маша платком уплывавшему мужу. Слезы бежали по лицу князя.

— Господь да спасет всех... Всех! — доносилось по ветру с барки.

Бригантина стала удаляться. Марфа Борисовна упала на колени, молясь и не спуская глаз с белевших в сумерках парусов и не слыша ни налетавшего шквала, ни плеска сердито хлеставших валов. Туча разрослась. Устья Волги и берег были невдалеке, но их покрывали сумерки. Надо было пройти отмели.

— Ох, Демьяныч, страшно! — сказала княгиня шкиперу.

— Не бойтесь, государыня, — ответил тот, направляя руль, — на борту у нас катер, а мы отрожденные моряки.

— Не о том я... Счастливо ли из похода вернется князь?

Казаки-рыболовы с песчаной косы приметили вечером барку, различая на ней матросов и рослого, без шапки, шкипера, бившихся с парусами и рулем. К ночи буря усилилась.

— Не спустить ли, братцы, челна? — сказал один из рыбаков. — Кажись, с товаром... Не бухарцы ли?

— Лаком Акишка-черт... Ну, и мырни! — ответил из шалаша голос старшего.

— А что, как тонут? — не унимался рыбак.

— Бухарцы, жди! — отозвался тот же голос из шалаша. — Выудил намедни Ливо́шка укладку, а она казенная — засудили.

Под рев ветра на взморье раздалось несколько мушкетных выстрелов. Барку, очевидно, било среди отмелей — она взывала о помощи, но выстрелов не было слышно на берегу

К рассвету буря затихла. Рыбаки спустили челны и двинулись с сетями.

Безбрежное хмурое море было пусто. Расходившиеся волны с глухим плеском перебегали через гладкие белые косы отмелей.

— Ой, дядя, чтой-то белеет, — сказал Акишка, гоня свой челн, — во-во, за косой...

— Укладка, братцы, и есть, лови...

Бекович с пехотой и пушками высадился в Гурьеве в конце апреля. Встретив его на берегу, комендант сообщил, что каракалпаки вторично в минувшую ночь налетели с ближнего сырта и угнали с пастбища, из-под самого города, чуть не весь верблюжий табун.

— Как же это? А казаки, конвой? — спросил, нахмурясь, Бекович.

— Загуляли старшины, а за ними стража... Утром погнались, да, видно, поздно...

— Ох, бородачи, дорвались опять до кизлярки! И это вначале... Час от часу не легче. Сюда начальство!

Черкасский с узденями и драгунской сотней бросился в догонку. Хищников настигли по пути к Эмбе. Они, вогнав верблюдов в камыш, отстреливались из него от наспевших казаков. Провожавший Бековича Касаткин увидел с бугра

ручей, заросший лесом и камышом. Там и здесь поднимались белые дымки; просвистело несколько пуль.

— А, собачьи шкуры! — крикнул Бекович. — Есть и мушкеты... Бери, Алексей Ильич, с драгунами влево, я обойду вправо.

Дружный натиск и несколько залпов в окруженный с трех сторон камыш кончили дело. Табун был снова отбит. Драгуны, казаки и княжьи уздени окружили Бековича.

— Что? Будете водку пить? — спросил князь, с дрожью губ, казацких старшин.

Те молча кланялись.

— Первого пьяного в походе, кто б ни был, из своих рук кончу.

Подвели на аркане вожака каракалпаков. Бекович холодно чуть взглянул в загорелое, страшно худое и изуродованное оспой лицо раненого оборвыша и махнул узденям рукой. Те его молча пристрелили.

Возвратясь в Гурьев, князь назначил день к выходу войска. Оно было окончательно в сборе: четыре тысячи пехоты, две тысячи конных казаков, драгунский, с пленными шведами, эскадрон и около тысячи смешанного запаса.

Всех пушек было привезено более тридцати, из них около половины чугунных. Ядра для некоторых из них отливались из старого чугунного лома в Гурьеве. Но кинулись к орудиям — заготовленные ядра оказались более образца; пришлось часть из них перелить. Это задержало отряд. Оказался и недостаток вьючных верблюдов для поднятия привезенного морем остального обоза. Приходилось значительную долю нужных тяжестей, в том числе продовольствия, бросить. Многие при этом вспомнили Кожина.

Провиантмейстер напал на бригад-комиссара, сказав, что тот более думал о своем кармане, чем о снаряжении войскового обоза. Бригад-комиссар кричал, что напишет обо всем своему патрону и милостивцу Меншикову, а не то и самому государю. И оба шли разбираться к Бековичу. Князь не знал, куда деться с этими дрязгами. Но кое-как все улади-

лось: перелили ядра, добыли часть верблюдов, уменьшили и навьючили провиант. Из Казани подъехали и давно ожидаемые два запасных лекаря с аптечками. Из Астрабада явился маркитант-перс с палаткой вин, табака, пряностей и разных лакомств. Был уже на исходе май. Все, наконец, стянулось, собралось, приободрилось и было готово в путь.

Один Бекович медлил, о чем-то все думал и хмурился. Он поджидал денщика с письмом от жены, которому давно уже следовало подъехать, и удивлялся его отсутствию.

Накануне дня, окончательно назначенного для похода, Черкасский с гурьевским комендантом и с некоторыми из офицеров сделал прощальный смотр перевозочным судам. Все было найдено в порядке. Начальнику флотилии и штурманам князь обещал того же дня написать рапорт государю с похвалой морякам. Княжие спутники были веселы, в духе. Говорили, не умолкая, о предстоящем походе.

Возвращаясь на катере в Гурьев с князем, комендантом и Франкенбергом, Касаткин увидел плывшую им навстречу лодку и на ней стоявшего, странного вида, человека.

— Это ваш денщик Максим, — сказал Касаткин, глядя в подзорную трубу.

Бекович побледнел. «Наконец-то, — подумал он, — явился вестник...»

Лодка подплыла. Обветренный, в пыли, смущенный и сам на себя не похожий, Максим молча подал письмо Франкенбергу.

— А мне? — спросил изумленный князь.

Денщик смущенно стал рыться в сумке. Франкенберг вскрыл и наскоро пробежал поданное ему письмо: оно было от его жены.

«Страшное горе, небеса разверзлись для кары неповинных, — писала Марья Саввишна, — приготовь, лапушка-друг, князя — перо отказывается писать. Буря разбила в море барку. Княгиня с обеими дочками, и все до одного матросы, как и шкипер, утонули.»

Далее Франкенберг едва читал. Строки спутались, прыгали в его глазах.

«Дивным чудом, — продолжала в письме Марья Саввишна, — уцелел один младший княжий сынок. Его полумертвого снесло и бросило на отмель, где утром его нашли рыбаки. Он и старший сын князя, по милости Божьей, здравствуют у меня в Астрахани. Злосчастное знамение. Упаси вас Господи и помилуй тамо, в пустыне.»

Франкенберг передал письмо Касаткину.

Бекович по их молчанию и лицам понял, что привезена весть о чем-то не в меру гибельном, роковом.

— Что пишут? — спросил он майора.

— Ничего особенного... Едемте...

— А мне? Разве нет писем? — спросил князь, оглядываясь на лодку, где все еще копался в сумке денщик.

— Успокойтесь, — сказал Франкенберг.

— Жена больна, дети? Говорите...

Франкенберг намекнул на бурю, потом подробнее рассказал о барке. Но когда Касаткин, желая смягчить слова майора, сказал коменданту: «Великое горе, правда, да Господь сохранил сына, оба сына живы!» — отчаянию князя не было пределов. Он стал рвать на себе волосы, одежду и два раза пытался броситься с катера в воду.

Бековича на берегу сдали в охрану братьям. «Девлет, Девлет! — повторяли на родном языке Сиюнч и Акмурза. — Нашему племени не диво горе... Не плачь, молись, будь тверд.»

Князь был неутешен. Сраженный вестью о гибели жены и обеих дочерей, он заперся в доме коменданта. Отказываясь от пищи и питья и сидя по-азиатски между братьями, на ковре, он бил себя в грудь и, вспоминая далекое кавказское детство, громко и жалобно выл непонятные русским татарские молитвы.

Так прошло еще более недели. Войско продолжало стоять под Гурьевом.

— Бог дал, Бог взял! — сказал, наконец, князь. — Я дал царю слово сослужить — отслужу... Возьмем у Хивы, вернем в Каспий Амударью... Будут помнить Бековича в пустыне!..

Красное шелковое знамя с золотой вышивкой княгини Марфы Борисовны развернулось над войском.

Покоритель-князь сел на коня.

VIII

На пути

Отряд двинулся.

От Каспия, в Гурьеве, до озер Амударьи шли два месяца.

Выступили в день памяти Мученицы Марфы, девятого июня. За реку Эмбу переправились вброд и на плотах на четвертой неделе Петрова поста, накануне дня апостола Иуды, брата Господня.

Шли, по указу Петра, вдоль старого высохшего русла Амударьи, влево от хивинского торгового пути, по мертвым песчаным равнинам и солончакам.

Зной стоял невыносимый. Люди, верблюды и лошади уже с первых же дней стали изнывать от безводицы и худых кормов. На привалах рыли десятки колодцев, добывая в песке скудную горько-соленую воду с запахом серных паров.

— Эх, страшное дело, — толковали солдаты, — гляди, брат, сколько идем, ни травки тебе, ни жилья, ни воды...

— В поле, брат, две доли, — заметил денщик Касаткина Апронька, — чья возьмет.

— Да ты, черт, нешто заговорен? — скалили зубы солдаты.

— Ни моря без воды, ни войны без крови, — отвечал Апронька, — а вы, как погляжу, лихачи, лучше б сидели на печи...

— Его, паря, не тронь, он ловок, — отшучивались солдаты, — на войну ходил, рыбу в пруду громил...

Молочный брат и сверстник Алексея Апронька был долговязый, белобрысый малый, на вид увалень; но он первый разбивал кибитку своему барину, первый добывал ему на привалах воды и знал все, что делалось и говорилось в отряде. Он сам напросился за барином из подмосковной, куда по пути заехал Касаткин.

К иркенским песчано-каменистым холмам, барханам, пришли в разговенье, на рассвете праздника апостолов Петра и Павла. Здесь несколько дней отдохнули, наполнили бочонки и торсуки из обильных найденных ключей и двинулись далее. Холмами снова шли около семи недель.

К хивинским лугам и пашням, невдалеке от Аральского моря, спустились, близ залива Айбугир, в половине августа.

Здесь истомленный от зноя и всяких трудностей отряд Бековича на Успеньев день в урочище Карагач завидел, наконец, давно желанные воды и плотины Амударьи.

Касаткин в Гурьеве сшил из плотной синей бумаги, в осьмушку, небольшую тетрадь, вписал в нее для справок числовой календарь и в часы отдыха на пути стал туда заносить для жены «курантный о походе дневник».

Первые листы дневника были испещрены отрывочными, в двух-трех, иногда не оконченных словах, заметками о разных мелочах: когда и куда пришли, что видели, слышали о хивинцах и о дальнейшем пути, где ожидали найти колодец, у кого отстал конь, пал верблюд, как добывали топливо, кто заболел и пр.

Первые более подробные сведения Касаткин занес в эти листки по приходе к главному колодцу, среди иркенских холмов. Здесь, с подкреплением сил, к нему, очевидно, возвратились свежесть мыслей и отрада более словоохотливой, хотя и заочной, беседы с женой.

«Ныне день пр. Сампсония, память преславной Полтавской баталии, — писал Алексей в конце июня, — а где мы,

Боже Господи! На краю земных пределов. Крутом желтопесчаная пустыня, над головой раскаленные небеса. Гляжу, Дунюшка, далекий друг, на твой дар, алмазное в перстне сердце, и думаю: узришь ли когда эти слова? Ах, сколько претерпели! Шли полтора месяца, были гладны, томились неизобразимой жаждой. Что за лютая, убийством дышащая страна! А наши в Астрахани мнили, представь, что весь поход будет лишь мыслям и взору приятный променад. Придем-де, узрим и сразу восприимем славный триумф. Ан вышло иное...»

От Эмбы почва пошла уже везде скудная, илисто-солонцеватая, напоминающая высохшее морское дно. Топкие, сверху подсохшие солончаки сменялись обветренной серой глиной, пыльным мергелем и железняками. Близ моря, среди соленого ила, кое-где еще попадались обрамленные красноватыми лишайными травами тощие колодцы и стоки воды. В расселинах, в прохладе, вытыкались свежие верески и даже вешние цветы — желтые тюльпаны, алые маки и воронцы.

За Эмбой, в каракумских песках, всякие злаки исчезли: ни дерева, ни съедобной травки, один, среди серо-пепельной глади, колючий терновник да жесткий, хрупкий саксаул. По песчаным наметам шныряли мохнатые тарантулы, огромные, паукообразные фаланги, скорпионы и серые змейки.

До Эмбы еще клектали могильные исполинские орлы, попадались на зеленых холмах дикие козы, тушканчики — земляные зайцы, свистели суслики и сурки. Здесь пошел сплошной такир — засыпанная песками осадочно-соленая равнина.

— Вот, братцы, жарит, полыхает! Страсть! — говорили, еле двигая ногами, солдаты, раздеваясь на пути чуть не донага. — Это хоть бы на полке, в бане... И куда это нас царь Пётра Ликсеич шлет?

— Будет ишшо тебе лучше... Подведет животы!..

— Нешто не знаешь? В Иркени, сказывают, золота наберем.

— Жди, идол, золота, вон с подметков звания одна — пальцы, ноженьки исколол.

— А мы с барином дождемся, — отвечал Апронька с горба верблюда, — барыне привезем гостинцев.

— Каких?

— Желтой, лимонной материи на роброн.

— Оставь же, слышь, на подвертки и нам.

— Го-о-о! — хохотали солдаты, мелькая рядами смеющихся загорелых лиц и оборванных рубах.

Струи знойного жгучего ветра дули в лицо, точно из раскаленной печи. В особенности донимала едкая и мелкая, как зола, серо-песчаная пыль. Никуда от нее нельзя было увернуться и спрятаться. Поднимаясь в безветрие из-под ног клубами, она лезла в ноздри, в уши, в рот. При ветре солнце казалось желто-багровым ядром. Люди шли ощупью, как бы по дну огненного, красно-туманного моря.

За несколько переходов до Айбугира в особенности натерпелись. В течение пяти дней не встречали воды. Половину захудалых, чуть живых лошадей бросили. Опаршивелые, как квелые индюшки, верблюды еле двигали ногами, с жалобным тихим ревом щипля на ходу занесенную песком тощую полынь. Торсуки давно были пусты. Ужас распространился по отряду. Началось смертное томление без воды. За кружку вонючей, грязной болтушки из найденной лужи офицеры платили казакам по битому венскому талеру. Головы мрачились, все шли, шатаясь, как безумные. Ночь не давала прохлады. Люди без команды, не разбивая кибиток и не развьючивая скота, в мучительной истоме падали на горячий песок. Лагерь походил на поле, покрытое телами недавнего боя.

И вдруг прогремел гром.

Апронька проснулся, протер глаза и разбудил Касаткина.

— Что ты? — спросил, с трудом поднимаясь, Алексей.

— Гляньте, барин, Илья-то наш пророк, Илья...

— Ну?

— Да вон, глядите сюда.

Касаткин привстал. Небо с востока чуть белело, прикрытое редкой в тех краях тучею. Туча бороздилась молниями. Гремел, с краткими раскатами, гром. Несколько

крупных капель дождя упало на лицо и руки Касаткина. Апронька крестился. Алексей бросился будить Бековича. Князь не спал.

— Я другое приметил, — сказал он, — слушайте...

Касаткин, затаив дыхание, сталь вслушиваться.

В конце табора, в казачьем обозе, явственно крикнул раз и другой давно молчавший уцелевший у казаков путевой петух.

— Быть воде... Близко жилье! — сказал Бекович. — Только к добру ли?

— Полноте, князь, радуйтесь, порадуем царя.

— Ах, сны, какие сны... Синие рубашечки...

Касаткину при отблеске молний показалось, что Бекович плакал.

Дождь разбудил, освежил лагерь.

А наутро еще более радости. Вожак, калмык Манглай-Кашка, спустился с холма, взял влево, еще левее и стал звать. Все бросились туда. В лощине, между барханов, оказался глубокий, с каменной древнею кладкой, неистощимый колодец. Вокруг колодца зеленели травы, шумел зеленый и высокий, как лес, камыш.

— Хива, Хива! — повторял Манглай, указывая вправо за барханы.

Люди кинулись к воде, вырывая друг у друга ведра, баклаги, поя вьючный скот и обливаясь. Все освежело; песни, крики, костры из натасканных окрестных колючек. В версте от колодца солдаты нашли еще впадину, в ней как бы исток колодца.

— Что же ты, черт лупоглазый, — кричали солдаты Манглаю, — отчего не сказывал, скрыл экую сокровищу?

— Хива, Хива! — лепетал вожак, указывая за барханы.

Ликованию отряда не было пределов. Солдаты и казаки, дорвавшись до вольной воды, купались, мыли и сушили рубахи. Развязались ранцы, из них добылись шильце-мыльце, всякая веревочка и ремешок. «Соколики, соколы...» — раздавалась песня в гребенской сотне.

— Эх, погляжу я на тебя, — говорил с укоризной солдат казаку, нагишом разлегшемуся на натоптанной скользкой грязи у подхода к колодцу, — что растянулся?

— Пехота, пехота, не пыли!.. В горле пересохло...

Касаткин передал Бековичу совет Франкенберга и других старших офицеров занять сторожевой цепью доступ к колодцу и к ручью для охраны людей от опоя и простуды.

— Обопьются, переболеют, — сказал он.

— Пусть делают, как хотят, — ответил Бекович.

— Ну, наш князь! — рассуждал, ставя охрану, Касаткин. — Да что же это будет с ним? Дело к концу, а на нем лица нет...

— Ой, братцы, пустите! — кричал, пробиваясь сквозь цепь, отсталый, почти нагой, с израненными ногами, казак. — Сопрел, душенька ноет...

— Полведерка ему, напиться и умыться, — командовали офицеры.

— Еще, еще, — молил казак.

Лошади, раздув красные, иссохшие, жаркие ноздри, с бешеным ржанием рвались с поводов к наставленным студеным бадьям.

Князь не выходил из головы Касаткина. С каждым днем и прочие все убеждались в чем-то гибельном, роковом, чему не могли приискать ни имени, ни объяснения.

— Видите? — спрашивали офицеры старичка лекаря.

— Что?

— Да князь-то?

— Да! — отвечал тот головой.

— Ну, как по-вашему?

— Меланхолия.

«И точно — рассуждал Касаткин, — вот слово... Кто ожидал?»

Радость и горе, светлое и мрачное, казалось, не трогали князя. Туча черной, неотходной тоски коршуном обвила его голову и ни на час не покидала с начала пути. Гибель жены и детей не выходила из его мыслей, не давала ему покоя.

Он нес тяготы похода, как все, спал, как солдат, на голой земле, а в глазах были ужас и смерть.

Чтобы развеселить князя, в день открытия прибрежий Айбугира офицеры пригласили его к палатке маркитанта. Здесь распили несколько уцелевших бутылок вина и стали беседовать. Был позван ликующий вожак Манглай.

Хитрый калмык стал рассказывать о близкой Хиве: какие там высокие каменные стены, бойницы, мечети и далеко, за много верст, видна круглая башня, с желтыми, красными и голубыми играющими на солнце изразцами. «Куда ни глянешь, везде зелень, вода, стога сена, — расписывал Манглай, — в садах белая тутовая ягода, румяные яблоки; на базарах горячие лепешки, баранина, мед, а глиняные дома узбеков — под старыми тенистыми, прохладными вязами...»

Офицеры слушали, глотая слюни.

Пешему Манглаю и двум его товарищам-калмыкам в награду за их усердие и ввиду близкого конца похода Бекович подарил коней. Но едва отряд, с надеждой утром двинуться далее, заснул, Манглай и его товарищи сели впотьмах на дареных коней и ускакали в степь.

— Дело неладное! — заговорили старики. — Струсили ханы и затеяли измену.

— Бог вынесет, — утешалась молодежь, — куда нехристям справиться с нами?

В вожаки похода стал давно просившийся на это дело гилянский туркмен Ходжа Нефест.

«Скоро ли, ах, скоро ли, — думал Касаткин, — увидим на горизонте мощный поток Индии — мутную в горах, светлую в полях, отторгнутую от нашего моря реку-бродягу, Амударью?.. Исполним ли заветный царский приказ?»

Постепенно, песчано-каменистые, крутые и обрывистые барханы, лежавшие сплошными гигантскими кучами мусора, стали понижаться. Мелькнули зелень, деревца. При подъеме на один из холмов над передовым отрядом поднялся орел.

«Недалеко жилье, живым запахло!» — заговорили в войске.

На заре увидели стайку сайгаков, диких коз. Вдали, по равнине, легким взмахом ног пробежал тощий степной волк. Куцая собачонка Рябка, насторожив по ветру нос и окромсанные уши, то и дело ворчала и лаяла, глядя в ту сторону, куда скрылся волк. «И на кого ты, чертова голова, заришься?» — толковали солдаты. Меж бугров поймали оборванного конного хивинца с луком и стрелами за спиной. Он, очевидно, следил за отрядом. Его связали, узнав, что недалеко залив Аральского моря Айбугир.

Собрали совет. Бекович отрядил к хивинскому хану Ширгазы посла с сотней казаков, предварительными дарами и письмом, что он идет с миром, для царского торгового дела и прочих дружеских нужд. Припасы истощились.

У реки Аккул князя встретили ответные посланцы с дарами хана: конем, кафтаном и свежими хивинскими овощами.

Война песка и трав, безводья и воды кончилась. Равнины весело зеленели. Терновник сменился кленом, буком, вязами.

Бекович разбил табор у озера Карагач.

Над широким водным плесом летали рыболовы, носились пчелоеды, кулички. Воздух стал мягче, дышал пахучей, прохладной сыростью.

А там, за озером, в желтых чуть покатых берегах, как бирюза в золотой оправе, сверкали прегражденные плотинами разливы и плавни голубой Амударьи...

Не слышно более жалобных, получеловеческих криков верблюдов. Горбатые труженики напились и неслышно под вьюками шли мерной, мягкой пятой.

— Следовало бы удвоить караулы, — сказал Франкенберг Бековичу, — глядите...

Князь взял подзорную трубу. В серой, мглистой дали на холмах справа и слева виднелись странного вида люди, точно ястребы, следя издали за отрядом.

— Пастухи, — ответил Бекович, — а впрочем, не мешает.

Был Успеньев день. Гребенские казаки утром пришли к своему полковнику.

— Что вам? — спросил последний.

— Рыбки, батюшка, позволь в озере половить... Голодно...

— Ну, куда, черти? — стал отговаривать полковник. — До Хивы всего три-четыре перехода, налопаетесь вдоволь.

— Добрались, батька, — отвечали казаки, — вода немереная... А как нони два месяца, выходит, порядком не мывшись... Ну, обувишка... Портки...

Полковник отпустил казаков с сетями.

В обед у Бековича шло обсуждение с офицерами, идти ли без остановки далее к городу Хиве или здесь, у Карагача, возвести по указу царя фортецию и начать переговоры с ханом о пропуске послов и каравана в Индию и о срытии ближайших к озеру плотин Амударьи.

Совет длился до вечера. Он был прерван вестовым от гребенской сотни.

— Горе, батюшка-князь, — сказал вестовой.

— Что случилось?

— Мы это, значит, рыбки... Тридцать человек пошли на озеро, а *он* как вдарит из камышей-то... Страсть!

— Кто он?

— Бог е зна... Галдят, должно — хивинцы... Видимо-невидимо...

— Ну?

— Одних побили из мушкетов, других побрали в полон...

— Много погибло вас?

— Троечка только и осталась...

— Вот-те и мир, и обмен даров! — сказал майор Пальчиков. — Не я ли говорил?

Все были смущены, напали на казацкого полковника, тот пошел к своим разбирать дело.

— Господа артиллеристы! — обратился Бекович к Юрлову, Касаткину и другим офицерам. — Выгружайте заступы, лопаты, разбивайте линию — надо рыть окопы, ставить батареи...

На ночь огородились арбами, вьюками. Лошадей и верблюдов с пастбища, по совету вожака-туркмена, согнали внутрь. Всю ночь шла земляная работа. К утру был вырыт первый со стороны степи ров.

К вечеру следующего дня табор с трех сторон был обведен рвами и насыпями. С четвертой он упирался в озеро. Белые рубахи копошились, сновали, как муравьи.

— Что, землячок, какая *ему* зато будет управа? — спросил драгуна казак из молодых, выкидывая из канавы красноватую глину на насыпь.

— Эх, погляжу я на тебя, — презрительно ответил, окапывая угол бойницы, драгун, — не вышел ты.

— Чем не вышел?

— Да ихний-то хан — что? Ну, свиное ухо... Не примет нашей веры, пропал... Будет ему!..

— Что стали, черти? Куда прешь? Посторонитесь! — кричал на казаков драгунский капрал, таща по земле веревку, другой конец которой был в руках офицера. — Сказано, неучи, бородачи.

— А у тебя мочалка за дорогу не отросла? Забыл скоблить...

«Начинается! Скоро будет настоящее дело...» — думал Касаткин, ладя с Юрловым передовую батарею и ощущая невольную радостную дрожь при мысли о близком, давно жданном конце похода.

Подошел, отирая лицо, весь потный, усталый Тувалков.

— Что, други, — сказал он, — скоро у вас будет готово?

— Ну, это, брат, не школьный парад, не Париж и не Амстердам, — ответил, почесываясь, Юрлов, — как видишь, насыпь кончаем, а надо еще плести заслоны, тащить пушки. А у тебя?

— Моя батарея крайняя к озеру, — произнес, уходя, Тувалков, — у меня что! Лоза и камыш под рукой, заслоны сплетены, орудия уставлены, а кстати... И выкупаться можно.

Солнце начало садиться. Все глядели на небо. Багровый, тусклый шар солнца в сухом тумане казался тройным кольцом. Люди крестились.

Вдруг на краю лагеря раздались крики. На холме у озера показалась пыль, белели дымки выстрелов. Над свежею насыпью просвистело несколько пуль.

Офицеры побежали в ту часть лагеря. Там, у кибитки Тувалкова, смущенно стояли солдаты, и, на ходу снимая с себя кафтан, туда ковылял старичок, отрядный медикус.

— Что здесь? Что случилось? — спросил, проталкиваясь меж солдат, Касаткин.

На войлоке в кибитке лежал его спутник по походу, пленный живописец-швед. Пленник не вытерпел, выскочил с охотниками за ров, когда хивинцы стали снова стрелять от озера, и выпалил из мушкета. Его привели обратно бледного, с раздробленным плечом. Доктор, сам бывший вторую неделю в лихорадке и едва таскавший ноги, принялся дрожащими руками раздевать и осматривать раненого.

— Это, как жарнет он, раз в раз! — вполголоса толковали у входа в кибитку с озадаченными, вытянутыми лицами солдаты. — Ружьища у них — во, пули — во...

— Испужался, братцы, и я, как несли его, страсть! — прибавил, оглядываясь куда-то в угол кибитки, высокий есаул. — Думал — ранен, а он...

Касаткин в числе других заметил у двери бледное, со строгим выражением лицо своего денщика Апроньки. Тот тоже смотрел в глубь кибитки.

На знакомой Алексею чистенькой, купленной в Астрахани кошме, головой на подушке седла, лежал плотный и в походе мало похудевший Тувалков. Его миловидное, женоподобное и нежное лицо, сильно загорелое и обросшее бородой, было спокойно. Незакрытые близорукие глаза странно смотрели из глубины кибитки мимо всех, в распахнутую войлочную дверь. Руки бессильно были брошены по бокам лежавшего.

— Что он? — тихо спросил у Юрлова Касаткин.

— Убит наповал, — ответил кто-то.

«Да, — подумал Касаткин, чувствуя, как защемило его сердце, — видно и впрямь, предстоит не один триумф и несущий всякую шумную славу променад.»

Он пошел к своей батарее. Не весь еще лагерь знал о бедствии. У яицкой коновязи, в лощине, беседовали пехотные офицеры постарше.

— Ах, аргамаки у них! Видели? — толковал крайний из офицеров. — Жеребцы-то?.. Вот бы отбить парочку таких аргамачков...

Хан Ширгазы долго колебался, не будучи в силах объяснить истинной цели похода Бековича.

Вожак, калмык Манглай, и ушедшие с ним товарищи, обогнав русских, по-своему объяснили загадку хана. С их прибытием все поднялось на ноги в Хиве.

— Близится войско, значит, идут не посольством, а войной, — толковали узбеки и муллы, — а что шлют дары и письма, то одна хитрость неверных и обман...

Зашумели улусы и базары. Полетели во все стороны гонцы.

Ширгазы собрал по одним — тридцать, по другим — до пятидесяти тысяч конного и пешего войска и встретил Бековича у крайнего «бента» — плотины Амударьи, близ озера Карагач.

IX

Ожидания

В то время, когда отряд Бековича был еще на походе, из-за границы в Петербург возвратилась жена Касаткина.

Авдотью Францевну сильно занимал «любительный царский парадиз», куда по пути к мужу в Астрахань она завезла

государыне письмо и подарки царя, уехавшего перед тем из Парижа в Спа. Истомленная от долгого морского переезда и волнений, исхудалая Касаткина отправилась с посылками на мызу государыни, Петергоф. Здесь ее осыпали расспросами о царе и заморских новостях, показали ей дворец, новый сад и мызный огород, где сама государыня, недавняя нарвская пленница, любила, в подражание мужу, полоть овощи и аптечные травы и копаться в земле.

Касаткина застала Екатерину с лейкой у посаженных Петром дубков и лип, в пудромантеле, переднике и чепце.

В это время в окрестностях Петербурга поспела ягода черника, и все обитатели новой резиденции, в том числе царица и ее фрейлины, были с синими ртами и губами.

Пришел важный, разряженный в шелк и кружева, женственно-красивый камергер Монс; за ним рыжий, в веснушках, камер-юнкер князь Гагарин. У них, как заметила Дуня, были также синие рты.

Но все были веселы, оживленны, смеялись и без умолку болтали под влиянием отличной, теплой погоды и общего довольства.

Темно-русая, еще молодая, хотя заметно пополневшая, с темно-карими глазами, ямочками на пухлых щеках и вздернутым носиком, Екатерина приняла былую московскую знакомку отменно ласково.

— Кушайте, вот рюмочка! — говорила она с сильным акцентом, угощая Дуню сластями и вином на крыльце Монплезира, где присела выслушать грамотку мужа-царя.

Сын грозного и жадного сибирского губернатора, щеголь и мот, камер-юнкер князь Гагарин с трудом, вполголоса, прочел сильно неразборчивые, с сокращениями и титлами, торопливые каракули Петра. Скрывавшая свою неграмотность Екатерина тем временем, перешептываясь с фрейлинами, подбирала пучок цветов. Фрейлины также вязали букеты.

Над одним местом письма, где среди обычных «корцвельвортов» — острот Петра — были слова об амуре и

«скучающей веревочке», царица не выдержала и простодушно, звонко, до слез расхохоталась.

«А доносим тебе, друг сердешненькой, — продолжал читать Гагарин, — сего магазина будет с нас доволе: крепыша две фляги да король прислал погреб ренского. Молодые в очки не смотрят; значит, мы старики...»

— Очки! Герр-е! — опять рассмеялась Екатерина, переглянувшись с Монсом.

Фрейлины прыскали в платки.

«За сим поцелуй нововыезжого шишечку-барабанщика и прочий наш потрох, — дочитывал Гагарин приветствия шутника-отца царевичу и дочкам, — Анниньку-лапушку и разбойницу Лизабет... Да оснасти, матка многомышленная, общей девочек посылаемыми презенты. А помоля богодавца о здравии, помысли и о приносительнице сего письма. Богу извольшу, беглянка повенчалась и ныне, с нашей воли, размахнула к мужу в Астрахань. Окажи ей в дороге фавор; зане, полагать надо, понадобится.»

Екатерина взглянула на Касаткину и здесь только заметила ее худобу и другие изменения в ее наружности. Она подсадила Дуню к себе, расспросила о ее романтической свадьбе и при ней поручила Монсу просить сенаторов дать ей средства — скорее и благополучно доехать в Астрахань.

Все пошли в гору, к зверинцу и фонтанам. По пути Екатерина опять заговорила с Дуней, обращая к ней вопросы о фантанжах, агажантах и других модных парижских уборах. У зверинца гремел хор музыки. Свита рассыпалась у фонтанов; одни играли в воланы, другие кормили попугаев, дразнили обезьян.

— Так он не в команде у твоего отца? — спросил Монс игравшего в волан Гагарина.

— Нет, у Бековича, — ответил тот.

Оба оглянулись на Дуню.

Из дальнейших разговоров придворных Касаткина узнала, что в Индию, к сказочному городу Иркеню, кроме южного отряда Бековича двигался из Сибири, по Иртышу, другой, се-

верный, отряд капитана Бухгольца. Здесь же от одной из фрейлин она впервые услышала и недавно привезенную весть о гибели в Каспийском море жены и дочерей Бековича.

— Где же теперь Бухгольц? — спросил кто-то возле Дуни Гагарина.

— Дошел до... Постой, припомню, — ответил князь, — до какого-то калмыцкого озера, поставил там фортецию и ждет подкреплений.

— А Бекович? — решилась спросить и Дуня.

— Недавно только двинулся из Гурьева, — ответил, ловя волан и щурясь на нее, Гагарин.

— Кто же из них кого предупредит? — спросил Монс.

— О, разумеется, Бухгольц... Мой батюшка князь в том без сумнения, — важничал сын сибирского губернатора.

— А ты когда за границу?

— Жду только денег...

Касаткина не весело возвратилась в Петербург.

Ее мучили сомнения, предчувствия; тяготила эта легкая, беззаботная веселость двора. «Как! У вождя дальнего, опасного похода погибла семья, а они забавляются обезьянами, обливают друг друга из фонтанов, как школьники!.. Агажáнты, фантáнжи, каблуки...»

Невольно при этом Дуне вспомнились московские рассказы Арсеньевых о былой Марфе Сковорощенковой или Сковороцкой, по первому мужу, солдату Раабе, Трубачевой, а теперь императрице Екатерине, — как она, проживая у бедного чухонского пастора, обшивала, мыла и водила в кирку его детей, мела его комнаты и стирала белье. Обвенчавшись с рабыней-пленницей, по примеру императоров Василия, Юстиниана и Ираклия, царь утешился новой семьей. Жаль было Дуне этого Петра — семьянина, ее благодетеля. Многого она наслушалась по пути из-за моря. Но то, что узнала в Петербурге и о чем шептали по его закоулкам, ее особенно огорчило.

В то время, когда новая государыня, в крещении восприемная дочь царевича Алексея, беспечно проживала на мызе,

гуляя, слушая музыку и толкуя о нарядах и разных пустых новостях, самому царевичу предстоял грозный расчет с отцом.

Вдовый Алексей, как говорили в городе, схоронив жену, австрийскую принцессу, свел амуры с девкой Афросиньей, стал на сторону старцев, попов и других недругов родителя, бросил ненавистный отцов парадиз и бежал в чужие края. Ненавистное племя первой, нелюбимой и ревнивой, постриженной царицы Авдотьи подняло всю желчь в душе Петра. Ожидали страшных бурь и потрясений.

Развозя письма женам сановников из свиты царя, Касаткина узнала последние подробности о раздоре царевича с отцом.

«Зоон! — писал сыну Петр. — Обозряся на линию наследства, горесть мя снедает. Готов простить, только одумайся.» За Алексеем в чужие края были посланы сыщики. Его отыскали, но ничто не брало. «Замерзлый наш зверь не хочет вспять, — извещал оттуда сыщик Румянцев, — он грозится, не устоять-де Петербургу, быть ему пусту. По вашей кончине мнит его оставить простым городом, кораблей не держать, а станет лето жить в Ярославле, зиму в Москве. И о матери-монахине беглец извергает с чужой речи крамольные непотребные словеса — клобук-де не гвоздем прибит». — «И во всем, — доносили сыщики, — уповает на попов и на чернь, будто днесь не без замешаний и на Низу... А тому, кто вешал и пластал, самому-де торчать на коле...»

«Того ли он ждал от собственного первородного чада?» — думала Касаткина, воображая себе острую, щемящую горечь и гнев Петра, который теперь, через посредство Дуни, так простодушно шутил в письмах к новой своей семье.

Касаткина располагала долее побыть в Петербурге, отдохнуть и еще кое-кого навестить. Хваленая новая столица ей не понравилась. Наскоро сколоченные деревянные дома и домишки, вместо мостовой — ряды бревен по болотистым улицам и площадям, кучи мусора, кабаки с песнями и криками пьяных матросов, марширующие нарядные, громадного роста, гвардейцы и толпы оборванных, испачканных извест-

кой и глиной каменщиков и землекопов — все это томило Дуню. Получив прогоны и охранный лист от сената, она поспешила в подмосковную к Текутьевым, оттуда в Астрахань. «Что-то будет? Чем-то кончится поход?» — мыслила она, замирая, дорогой.

Первое нежданное нападение хивинцев на отряд Бековича в лагере у Карагача сочли за случайную попытку отдельных бродячих степных сорванцов.

— Не может быть, чтоб это было с ведома хана, — утешали себя офицеры, — он высылал посольство, принял дары.

— Ен что, ему воля! — толковали о хивинцах солдаты. — Все ему под рукой: и хлебушка, и всякий харч; а ты сиди за насыпом, хоть бы тебе баранинки... Хлебушка, соли!.. На одних сухарях...

Убитого Тувалкова схоронили. На похоронах играла музыка и стреляли из ружей. Бросив с Текутьевым и Юрловым на свежую могилу товарища по горсти земли, Касаткин, сумрачный, расстроенный, возвратился в свою кибитку. Месяц всходил поздно. Ночь была темная, без звезд. Алексей прилег на бурку, но долго не мог сомкнуть глаз. Денщик Апронька, вздыхая и прислушиваясь к окликам часовых, сидел на корточках у двери, за кибиткой.

— Ты не спишь? — спросил его Касаткин.

— Где спать? Таки ли дела?

— О чем думаешь?

Денщик помолчал.

— Правда ли, сударь, — произнес он, — что царь немцем стал?

— Какой вздор! Из чего ты взял?

— Сказывают, Питеру сапоги позолотил, Москву в лапти обул, — проговорил как-то грубо, укорительно Апронька.

— Неладное говоришь, — строго ответил Касаткин, давно, впрочем, с удивлением заметивший, что простой народ

в глуши, куда он попал, вовсе не радовался тому, чем он, Касаткин, так восхищался и был счастлив.

— А куда и зачем это он вашу милость и всех шлет? — продолжал Апронька тем же укорительным, не свойственным ему суровым голосом. — Мало у него своих народов и земель? Понадобились бритоголовые, что жеребятину жрут...

Касаткин даже приподнялся на бурке, вглядываясь в дверь, за которой виднелись плечи и голова денщика.

— Не ты ли со мной просился в поход? — сказал Алексей. — Мать плакала, не боялся, что в такие места, — дальше, мол, солнца не пошлют! Вот вы, мужики... Всегда так...

— Плохо, сударь, мужичкам, ой, плохо! — произнес, пересаживаясь ближе к порогу, Апронька. — Не во гнев вам сказать, мы вот снялись, ну — ушли... А что там-то деется, дома? Ездят комиссары, фискалы по селам, грозят: не будете сносить денег в казну, виселицы поставим, начнем вершить. А уж не наш ли брат платит — с бань, дворов, мельниц, пчел, со всего? А тут еще хлебушка недород, скот выпал, всякая теснота...

— Да вы же вотчинные! — удивился Касаткин. — Как же вас трогать?

— Всех таскают — ладить пристани, дороги, рыть канавы... Плати с бабьего тканья, матушка последнюю коробенку продала, плати за долбленые гробы... Ты вот налетел, взял меня... А наша вся околица, как есть, на теплые воды, к черкесам, сбиралась идти.

— Бежать, Апроня? Что ты! Ведь это не ладно, грех! — сказал Алексей.

— Бегство нечестно, да здорово, — ответил денщик. — Мы не калмыки, отсель не бежим, а дома — ой, тягота...

— Что же ты в деревне молчал? А бурмистр расписывал...

— Бурмистр? Как, сударь, ни мой черного кобеля, белым не станет

Касаткин, услыша эти речи, не мог уснуть до утра. Ему вспомнились сборы в Голландии и в Астрахани, общие надежды, ожидания скорого и несомненного успеха. Он с мучительной болью перебирал мысли о Дуне, о предположенном отъезде которой на родину узнал от Марьи Саввишны, находясь еще в Гурьеве. Как доедет жена? Да где она теперь? Подоспеет ли к его возврату из похода?

Земляные окопы вокруг лагеря к утру наполовину были готовы. Хивинцы не дали кончить начатых работ. Они снова и с удвоенной силой напали в полдень, ударили отбой и опять, с воем и криками, повторили ряд приступов.

Первые натиски были особенно отчаянные. Пушки, еще не прилаженные и заслоненные насыпями, не могли стрелять. Зато пехотинцы стойко отбили все приступы. Казаки стали проситься у Бековича на вылазку, в погоню. Князь их не пустил.

— Куда нашим голодным, захудалым коням меряться с их скакунами! — сказал он казацким полковникам. — Давайте возведем фортецию, лошади отдохнут, будет всем вам дело... Да берегите харчи — на исходе...

Приступы возобновились на другой день и без перерыва длились до вечера.

— Господа морские поручики, — сказал Бекович, обходя работы, — скоро ли кончите батареи? У хивинцев ружья-самопалы, пушек, как видите, нет... Пора дать им, как следует, урок...

— Еще час-другой, — ответил из окопа Юрлов, — скоро втащим и пушки.

— А ваши? — спросил князь прочих офицеров.

— Моя готова, — отозвался Касаткин, — вот бы еще веревок... Рвутся... Да зарядов бы скорей.

Солнце стало спускаться за огромную желто-сизую тучу. Озеро застлалось туманом. Край неба над холмами ярко пылал. «Как тогда, при отъезде на Каспий», — пронеслось в

голове Бековича. Все на время притихло. Нападавшие также смолкли, спрятавшись за барханами.

Усталые, потные, в изорванных рубахах, солдаты докидывали на батареях Лебедева и Касаткина последние лопаты земли. Драгуны на веревках и обозной упряжи втаскивали чугунные и медные орудия.

Бекович взошел на батарею Касаткина, бывшую в правом, переднем углу. Он присел на насыпь. Кто-то сказал: «Смотрите». Вдали, на холмах, опять клубилась пыль, что-то в сумерках двигалось.

— Молодцы, — сказал князь солдатам, — старайтесь, отпишу царю.

Он взглянул в подзорную трубу, протер глаза и подал ее Алексею.

С батареи ясно была видна плоская у озера равнина, упиравшаяся в стемневшие холмы. Из расселины меж холмов неслась прямо на окопы густая лавина хивинцев. Другой хивинский отряд выскакивал из-за возвышенности справа, стремясь охватить укрепление сбоку и с тыла.

Впереди первого строя, как ясно разглядел Бекович, на высоком черно-пегом аргамаке, в кругу узденей, скакал в желтом кафтане, с заломленной на затылок белой папахой огромного роста всадник.

«Сам Ширгазы!» — подумал с дрожью Бекович, объявив офицерам, чтоб выждали скакавших на выстрел.

Пушкари стали на батареях к орудиям. Князь обернулся к Касаткину, хотел ему что-то сказать.

В это мгновение на небе, над укреплением, показалась стая спугнутых хивинцами журавлей.

Бековичу припомнилось прощание на море, уплывшая барка.

— В середину!.. Видишь? — крикнул он Касаткину. — В желтого.

Алексей уже нацелил пушку. В его мыслях также пронеслось недавнее былое — государево испытание, пальба в цель. Его рука, как и тогда, дрожала. «Счастье, отвернешься

ли ты от меня?» — подумал он, взяв у пушкаря и опуская на затравку фитиль.

Выстрелы грянули. Загудели ядра. Картечь засвистела по рядам налетавших под самую насыпь. Переполох хивинцев был неописанный. Передний и боковой их отряды остановились, смешались и, тесня, опрокидывая друг друга и подхватывая убитых и раненых, бросились врассыпную. Мушкеты пехотинцев затрещали по ближайшим сбившимся рядам. Груды тел безобразными кучами укрыли поле.

«Что же это? Ужели успех?» — с забившимся сердцем подумал Касаткин.

— Ура! — раздалось за насыпью. Гребенские казаки вопреки приказу князя, не вытерпев, выскакивали из окопов вдогонку за разбитыми и в беспорядке убегавшими толпами хивинцев.

— Победа! Победа! — перекликались офицеры. — А? Каков отпор? Виват!

Бекович не спускал подзорной трубы с холмов, куда бежали отступавшие. Глядел туда в поданную трубу и Касаткин.

Огромный, на пегом коне, желтый всадник, как ясно еще виднелось в той стороне, был невредим. Он спокойно, медленным шагом, въезжал на чуть белевшийся в сумерках бархан, вправо и влево разводя руками, очевидно отдавая новые приказания.

— А все-таки он, изверг, сломлен, побежден! — сказал Бекович офицерам, указывая на кучи хивинских тел, валявшихся по стемневшей равнине.

Ширгазы также ясно и бесповоротно понял, что он разбит наголову.

Главные пособники хана были убиты или ранены. Их отряды в ту же ночь бросились по домам. Остальные узбеки едва сдерживали бунтующую орду.

— Урус черт, вырывает на краю поля целые ряды! — говорили хану в паническом ужасе от пушечных залпов хивинцы.

— Иди к их вождю, клади знамя, — твердили старшины, — он заколдован нечистой силой... Пропадут наши семьи и дома...

Разбитый, истомленный неудачным трехдневным боем хан созвал ночью совет.

Его табор и ставка с обозом располагались за холмом, в нескольких верстах от укрепления Бековича. Оттуда меж бугров виднелись бивачные русские огни, слышались радостные крики и песни победителей. Лазутчики дали знать хану, что наутро Бекович отрядил, в обход ему, весь казачий отряд с конными орудиями.

«Отбил столько тысяч войска, разгромит и недальнюю Хиву!» — думал Ширгазы о князе, сидя в ставке, в кругу смущенной свиты и старейшин.

Его голова была обнажена. Пот крупными каплями катился с бритого сизого черепа. Еще моложавое смуглоскуластое лицо было неподвижно. В небольших гневно бегавших глазах хана выражались тупое недоумение и страх.

«Целыми рядами, рядами», — мыслил Ширгазы, вспоминая, как от русских ядер и картечи валились лучшие, храбрейшие из приведенного войска.

Совет длился за полночь. Все громко спорили, старались и не могли решить главного, рокового вопроса: зачем именно пришел в их землю Девлет-Гильдей-Бекович с русскими и как их заставить уйти назад?

Перед утром в ставку к хану позвали из обоза дряхлого ханского казначея бухарца Досим-бея, разумника и смелого на слова.

Казначея ввели к хану под руки. Он едва ступал слабыми, дрожащими ногами. Его тощие руки висели, с четками, как плети; нижняя челюсть — очевидно, от чрезмерного употребления гашиша — безобразно отвисла. Жизнь тепли-

лась только в его полузакрытых, точно сонных, небольших глазах. С ним вошел огромного роста, в зеленом шелковом халате, главный оруженосец хана.

— Спасай, советуй: как победить неверных? — сказал казначею хан. — Главные изменники — вожди ушли от нас с войском; собираются и другие трусы... Да не ругайся... Знаю тебя...

— Зачем ругаться, ты наш господин, — ответил, садясь и ворча, бухарец. — Только русских ты не победишь....

— Почему?

— Слушай... Я был слугой твоему отцу и дяде и тебе, молодому, помог стать ханом... Видишь, откуда пришли неверные?.. Ничего не испугались...

— Лучше бы ты, собака, и не являлся с такими псиными речами, — не стерпев, раздражительно сказал и гневно плюнул хан.

— Погоди, господин, лаяться, дослушай. Глупые русские, как все великодушные и гордые, доверчивы... Понял?.. Ну, начни с ними переговоры...

— Как, чтобы я первый просил мира? Унизился? — вскрикнул хан и, бросив взгляд на стражу, схватился за саблю.

Зеленый оруженосец подвинулся к казначею. Тот, будто не видя угрозы, еще более закрыл сонные веки, перебирая четки и чуть шевеля отвислыми губами.

— Погоди, дурак, не пыли, — проговорил казначей, помолчав, — ходила молода по воду, не побереглась на пути — ни воды, ни чести... А слушай старика... Старик говорит: начни переговоры, осуждай, бракуй послов — не умны они, непонятны! — и замани к себе в табор князя...

Бухарец опять помолчал.

— Вождь в руках, все войско в руках, — заключил он, — что, теперь понял?.. Ну, все сказано...

«А ведь старый черт прав!» — подумали в одно время хан и его советники.

X

У ворот Хивы

— Конец, други, конец! Мы у ворот Хивы! — радостно говорили офицеры, собравшись у ставки маркитанта-перса, где каким-то чудом явились опять припасы: кирпичный чай, разные плоды, напитки и табак.

— Ишь, бритый пес, — говорили о ловком торговце солдаты, — недаром галдел по-своему с пленными, тут кровь лилась, а он добыл всего...

Штаб разделился на две части.

Во главе боевого офицерства стояли начальники двух пехотных полков, майоры Франкенберг и Пальчиков. Эти советовали преследовать хана, добить его и, вконец рассеяв его орду, предписать мир на площади Хивы.

Другие, в том числе туркмен, вожак отряда, хранитель каравана, фискал Званский и сменивший раненого провиантмейстера грек-дворянин Экономов, указывали на истощение съестных и боевых припасов и намекали, что, если хан попросит пощады, следует здесь же заключить мир.

— И во всяком случае, — прибавил поборник второго мнения богатый армянин, стольник Заманов, — отворение свободного пути в Индию произошло; теперь от Хивы рукой подать в Балх, Памир, Бадахшан...

Утром, после разгрома хивинцев, к Бековичу с повинной головой явились новые ханские послы. Они просили пощады.

— Не верю, — сказал Бекович, — вы нынче даете слово, завтра его нарушаете...

Послы стали клясться за хана и за весь народ, что Хива желает навеки остаться с русскими в дружбе и не питает к ним вражды.

Князь дал слово отсрочить дальнейший поход, если хан немедленно начнет переговоры о мире. Но едва уехали послы, по казакам в тот же день опять стреляли у водопоя. «На конь, на конь!» — раздались крики по лагерю, куда

привезли раненых. Отряд зашумел, задвигался конными и пешими.

Хан не дал разыграться новой стычке. Из его отряда, махая белым тюрбаном, прискакал зеленый оруженосец с известием, что в русских друзей самовольно стреляли ослушные, уже схваченные, хивинцы.

— Пришли свидетелей, — сказал князю гонец, гордо поглядывая на него черными наглыми глазами, — велишь, будут казнены...

Посланные от Бековича казаки, товарищи раненых, и денщик Касаткина действительно видели, как по ханскому лагерю, будто бы в наказание, водили двух каких-то оборвышей на веревках, продетых одному в ухо, другому в ноздрю.

— Что, Проня, насмотрелся? — спросил вечером Юрлов, проходя мимо кибитки Касаткина.

— Не похоже на замирение, — ответил Апронька, сердито ладя барину постель.

— Что же они?

— Молчат треклятые, да так смотрят зло... Точно съесть хотят...

— Ничего, Пронюшка, рассчитаемся...

Душная войлочная кибитка опять не дала покоя и сна Касаткину. Он беспрестанно просыпался, бредя и опять погружаясь в тяжелую, тревожную дремоту. Ему грезилось нападение, отбитое накануне: рев ядер, визг картечи и пестрые в халатах всадники, с пиками в руках и с залитыми кровью, кривыми ятаганами в зубах, налетавшие и бившие смелых защитников. Алексею особенно вспомнилась свалка части казаков с отступавшими хивинцами, как трое из замедлившихся халатников крючьями тащили с седла заскакавшего вперед майора Пальчикова и как майор, отбиваясь, взмахом сабли снес одному из хивинцев половину лица.

Из-под распахнутой двери кибитки в бледном мерцании рассвета виднелись конусы других кибиток. Алексей вышел подышать свежим воздухом. Под колесами близ стоявшей арбы раздавался тяжелый прерывистый храп раскинувшегося

на земле, изморенного дневной суетой Апроньки. Где-то поодаль, у коновязи, тихо, точно всхлипывая, разговаривали двое пехотинцев.

— Ах, братец ты мой, — говорил один из них, — вот душегубы; у них, сказывают, ни суда, ни милости... Поймают, рассекут тебе пятки и набьют волосом — вовек чтоб не ушел... А то откормят, съедят...

— Мать сыра земля! На край света дошли, — причитывал другой голос, — это, как помер человек, и куда его душенька денется? Али она на небе, али мается, тошнехонько ей на земле?..

Касаткин возвратился в кибитку, накинул кафтан и, с ясным представлением о возможности гибели, мучений, смерти, с жаждой отстоять свою молодую жизнь, пошел к княжей ставке.

Начало светать.

Бекович, также одетый, ходил взад и вперед перед ставкой. В его руках была бумага. Он поглядывал вдаль, где к холмам по равнине двигались две какие-то тени. Мысли князя были смущены. В них неотступно стояли картины далекого прошлого — детство, Кавказские горы, плен матери и сестер, убитый в набеге отец, жизнь в голицынской подмосковной, учение в чужих краях, ласки царя, свадьба, счастье и недавнее страшное горе. «Да за что́ же, за что? — говорил себе князь. — За что эта гибель?.. И чем я у Бога виноват?»

— Пора бить зарю, поход! — сказал, подойдя к князю, Касаткин.

Бекович вздрогнул.

— Не приметил я тебя, — произнес он.

— Медлить нечего, — продолжал Касаткин, — осмелюсь советовать идти дальше и кончать.

— Поздно, — мрачно проговорил Бекович.

— Как поздно? Только светает, войско ждет. Хан ночью опять прислал нарочных — условиться о мире. Я согласился... Вон они ушли...

— Но ведь враг не положил оружия, вконец не истреблен. Подождать бы... Простите — как же, не созвав совета?

— Совет тут я сам, — твердо произнес Бекович, — помнишь? Через тебя же сказано: думать о торговле, мы завоеватели, купцы... Да и припасы на исходе...

Спорить дальше было нечего. Касаткин замолчал. Сошлись другие офицеры. В лагере узнали, что мир окончательно принят. После пересылки нескольких новых посланцев с той и другой стороны был исполнен вторичный, более торжественный, обмен даров.

Хан прислал Бековичу гнедого коня, кафтан «изарбатный», несколько халатов, саблю и новых овощей с дружеским приглашением — лично пожаловать для переговоров.

— Дары бедноваты! — толковали в русском лагере. — Хан плутует, или их земля так жалко бедна...

— Довольно путали наши послы, — сказал князю ханский посланец, — лучше обо всем договариваться и условиться лично; ты же посол царя, для того сюда и отряжен...

Офицеры окружили Бековича.

— Как? — заговорили они. — Ужли поедете?

— Поеду...

— Вы победитель, и вы же первый поедете на ханский зов? — не отставали офицеры. — Опомнитесь! Их дело, не наше, просить милости, класть к ногам победителя знамена. Их хан, не вы, должен первый явиться...

Бекович молча слушал возгласы офицеров, глядел на их загорелые, обветренные лица и, казалось, не понимал их горячности, споров. «И что им? Из-за чего так настаивают? — думалось ему. — Они целы, невредимы. А там, в море...» Красные и синие рубашечки не покидали его мыслей... «Папочка, папочка! — слышалось ему. — Слона приведи, тигра!»

— Погубят вас, предадут! — кричал перед князем весь красный, взволнованный Франкенберг. — Вы извините меня... Давно знакомы... Ну, и поход, братство...

— Да где же ваши глаза? — приставал храбрый, отличившийся в боях со шведами и с турками, майор Пальчи-

ков. — Доведите дело до конца, не губите даром себя, нас и наших семей...

«Ох, да что же им, чего хотят? — растерянно удивлялся Бекович, следя за ходом иных, затаенных, более ему понятных и мучительно-сладких мыслей. — Да! Именно в ту минуту, в час победы, я видел напророченных ею журавлей... Близ их столицы — та сказочная, многоводная река, там увижу чайку...» Он несколько мгновений помедлил, выпрямился. Лицо его было спокойно, глаза смотрели строго.

— Готовить и наши окончательные дары! — объявил Бекович хранителю каравана Званскому. — Я лично повезу хану царскую грамоту. Там подпишется мирный договор.

Позвав походного брадобрея татарина Алтына, побрившись и причесавшись, Бекович надел парадный преображенский кафтан и сел на гнедого ханского коня. Он был в странном, лихорадочном возбуждении, точно хмельной.

В сопровождении стольника Заманова, хранителя даров Званского, Экономова, вожака-туркмена, Касаткина, Юрлова и семисот казаков, с музыкантами и с распущенным красным знаменем, Бекович, сдав остальной отряд под охрану Франкенберга и Пальчикова, направился к хивинскому войску.

Сто пехотинцев с церемонией несли торговые царские дары хану: куски цветных сукон, сахар, соболя, серебряные блюда и тарелки, парчу. Драгуны вели сохраненный с великим трудом цуг темно-серых, присланных Петром из-за моря, фрисландских жеребцов, запряженных в позолоченную карету, и верхового вороного коня под расшитым жемчугами алым бархатным чепраком. Званский подумал: «Что им, нехристям, все отдавать!» — и на всякий случай поубавил даров, назначенных хану.

Хивинский отряд ожидал русского посла за холмами, в сборе, на конях.

С приближением русских хивинцы расступились, молча посматривая на пышное шествие русских.

— Точно ястребы глядят на пташек! — сказал Юрлов Касаткину.

Ханской ставки Бекович в хивинском отряде не нашел. Будто не зная о вызове посольства, хан передвинулся далее. К вечеру князь, провожаемый хивинским войском, настиг хана. Свидание, за темнотою, было отложено до утра. Бековичу отвели особую ставку. Ночью он снесся с остальным своим отрядом. Там все были настороже. Франкенберг и Пальчиков расположились на пушечный выстрел от хивинцев. Казачьи лошади были не расседланы, пехота под ружьем, пушки выставлены вперед. Из ханского шатра были видны русские сторожевые огни, слышались оклики часовых.

— Что, Максимушка, худо или хорошо? — спросил Касаткин князева денщика. — Ты с князем был в походах. Чего ждать? Как думаешь?

— Было бы, Алексей Ильич, счастье, а дни впереди, — ответил Максим, чистя и снаряжая запыленную князеву амуницию, — погляжу и я на князя — и что с ним делается? Ездили мы с княгинюшкой в монастырь, молились... Ох, помоги, Боже!.. Солнце светит на благие и злые...

Двадцать второго августа произошло первое свидание Бековича с ханом. В память Касаткина и прочих свидетелей до мелочей врезался этот день и все его события.

Долго прирожденный сын азиатской, вольной степи и былой черкес, с крещением принявший европейские обычаи и вид, смотрели друг на друга.

Бекович с достоинством вошел, в треуголе и при шпаге, в ханский шатер. Он молча подал хану царскую грамоту с печатью и золотым шнуром и сел рядом с ханом. Ширгазы не принял грамоты, а указал ее старшему мулле. Тот взял и, стоя, вслух прочел приложенный к грамоте хивинский перевод.

В подлинной грамоте значилось: «Хивинских и юргенских земель начальнику — нашего царского величества поздравление и привет. Изобрели мы за благо послать к тебе нашего посла, для общей пользы и нужнейших дел. И тебе бы, хану, принять его, посла, по его чину и достоинству, и тому, еже он тебе предложит, веру яти и дав решение, его — полномочного нашего посла — с удовольствием отпустить».

— Ты послом от белого царя? — спросил Ширгазы, не глядя на князя.

Бекович ответил. Переводчиком служил востроносый, добродушный и сильно встревоженный дворянин-грек Экономов.

— А зачем ты стал строить крепости в моих владениях?

— В каких?

— У Каспийского моря, оно мое... Да и здесь, в Карачаге, ты наделал насыпей и прорыл ров...

— Мы укрепились после твоих нападений, — ответил князь, — ты начал стрелять первый и прежде, чем я успел к тебе дойти...

— А почему ты шел с такой силой? Друзья ходят с товарами и без пушек.

— Не будь пушек, не довез бы тебе и царских даров.

— Ну, полно спорить, — вмешался сидевший тут же ханский казначей, — эка, горячки! Давай баранину. Помирились, надо есть и пить.

Бекович потребовал утверждения и подписи заявленных мирных условий.

Вошли главные узбеки.

— Соглашаешься ли, — спросил Бекович, — содержать вечную дружбу с царем?

Хан утвердительно кивнул головой.

— Пропустишь ли русского купца в Индию? Дашь ли нам нужных припасов? Дозволишь ли срыть плотины Амударьи?

— Согласен, — ответил и на эти вопросы хан.

— Присягай, — объявил Бекович.

Экономов перевел это слово. Хан смотрел на грамоту, будто не слыша или не понимая сказанного.

— Присягай, — повторил Экономов.

Хан злобно на него взглянул и дал рукой знак мулле.

Был принесен Коран. Ширгазы, старейшины, узбеки и ханская свита целовали священную книгу. Все клялись в вечной дружбе и покорности царю. Бекович поцеловал снятый

со своей груди крест, благословение покойной княгини, дав это поцеловать и прочим офицерам.

— А теперь угощение, — сказал казначей, поднимая полог и указывая князю и его провожатым другое отделение шатра.

Здесь на узорных кошмах был расставлен обед.

— Не сердись, ты меня напугал, я и собрал войско, — сказал хан князю за обедом, — как закусим — пойдем, конь с конем, в мою столицу...

— А подписать договор!

— Это сейчас кончим, — ответил Ширгазы, — поле битвы за тобой, значит, я у тебя в гостях. Пойдем и ко мне, ты посол, всего два-три перехода...

Бекович согласился. Оба отряда, по-прежнему в виду друг друга, двинулись к Хиве.

— Косы-то у этих хивинок и сарток! Косы! — говорили молодые офицеры. — Представь, Захаров, густые, длинные, и, ей-богу, лоснятся, как вороново крыло...

— Да что, есть восхитительные... Вон, Заманов говорил, он видел прежде...

— Эх, но как бы при этом да хоть бы парочку аргамачков, — толковали офицеры постарше, — вот бы рай...

— А что?

— Да в Казани, други, или в Москве за этакого можно взять полтысячи...

Через аральские пашни и урочище, старую Хиву, оба войска на другой день пришли к извилистой, в камышах и плавнях, реке Порсу.

Здесь местность была уже ровная, видимо плодородная и населенная. Попадались тенистые древесные насаждения, оросительные канавы, жилища из глины, минареты, с разноцветной, блестевшей на солнце поливой. Видны вдали стада верблюдов и овец. Дорога шла вдоль реки.

День настал пасмурно-знойный и тихий. Изредка в камыше срывался ветер, крутя мелкий прибрежный песок, точ-

но его взметала нетерпеливая лапа хищного зверя. Снова наступила обеденная пора.

— Слушай, — вдруг сказал хан в дороге Бековичу, — вижу, у тебя мало припасов, да и в моей столице не хватит кормов для всего твоего войска.

— Как же быть? — спросил, выходя из задумчивости, князь.

— Вот что я придумал, — произнес хан, — кроме Хивы у меня еще четыре города... Раздели свой отряд на части, я дам провожатых. Узбеки еще успеют до ночи развести по близости твоих конных и пеших... Все будут сыты и у тебя под рукой.

— Подумаю, — нехотя ответил, как бы что-то соображая, князь. «Провизии мало, мало», — сказал он себе.

Князь, не останавливаясь, послал о предложении хана известить Франкенберга и Пальчикова. Те наотрез отказались делиться на части.

— Передай князю, — сказал Франкенберг посланному, — с силой пришли, с силой надо и доканчивать поход.

Хан видел сношения, колебания русских. Он подтянул повод коня, поехал тише.

— Однако дары ты мне поднес драные, не цельные, — сказал он князю, как бы мимоходом.

— Как драные?

— Сукна хорошие, — продолжал хан, — посланы целиком, а ты их переполовинил.

Бекович взглянул на Званского.

— Это твое дело! — проговорил он. — В сто глаз за вами, губители, смотри — успел и здесь... Что не предупредил?

— А с чем было бы возвращаться, отдаривать за мир? — спокойно возразил Званский. — Карманы у них дырявые.

— Ну, Юрлов, и ты, Текутьев, — сказал Бекович, — езжайте к майорам и объявите им последний мой приказ. Не разделятся, не послушают, наряжу, по артикулу, военный суд. Разве не видят, что припасы на исходе? Беда!

Посланные уехали. Ширгазы дал знак к привалу. Все сели закусывать. Бекович ни до чего не дотрагивался. Зной пасмурного, серо-пепельного дня становился нестерпимым. Там и сям, вдоль реки, точно сами собой поднимались вертящиеся столбы песчаной белой пыли. Налетел, колыша камыш в вскрывая полы шатров, порывистый, бурный вихрь. «Крепи приколы! Береги коней», — раздались среди хивинцев русские казачьи голоса.

Ветер стих. Стало еще душнее.

В конце обеда к Бековичу в шатер возвратились посланные офицеры.

— Ваш приказ исполнен, — объявили они, — войско разделилось и уж уводится в указанные места узбеками.

Бекович выглянул из ставки.

— Смотри, — сказал он хану, — и это твое желание исполнено.

Из шатра были видны облака пыли. Пехота, драгуны и казачьи полки с остатками обоза тянулись по равнине длинными рядами, сверкая на выглянувшем солнце штыками и пушками. Еще простым глазом можно было узнать отдельные части, различить конного от пешего.

«Мать пресвятая Богородица, помилуй!» — тихо проговорил кто-то из казаков, державших у шатра лошадей.

— А в них, треклятых, пальнуть бы, вдарить по всем! — прибавил там же чей-то голос громче.

В шатер, мимо Бековича, чуть не задев его плечом, дерзко вошел и, нагнувшись, стал что-то говорить хану приезжавший накануне в лагерь, огромного роста, зеленый оруженосец. От него, как заметил Касаткин, пахнуло чем-то пряным, остро пахучим.

Мысли князя сбивались, реяли без числа. «Шепчутся, переглядываются... Пальнуть бы, ударить в них, — вдруг подумал и он, — а что? Ведь не поздно... Я мог бы еще дать знак, успеть...»

Ширгазы быстро встал и вышел из шатра. Вкруг него, как видел Бекович, на площадке столпились старейшины,

уздени. За шатром раздался хриплый, надтреснутый звук трубы; ей ответили, будто по условию, другие трубы.

— Вот привезенная тобою грамота, — сказал хан, оглядываясь и показывая Бековичу царский лист с печатью и золотым шнуром.

Бекович вышел из шатра.

— Ты меня обманул, — произнес хан, разрывая грамоту и топча ее желтыми туфлями, — с караваном ввел войско.

— Измена! — закричали офицеры, выхватывая сабли и бросаясь одни к князю, другие к лошадям. — Измена! На конь! Бей сбор!

Касаткин вскочил на лошадь, поданную денщиком. «Подтянуть бы подпругу... Эх, сударь, дело-то!» — прошептал бледный Апронька, трясущимися руками придерживая стремя. Алексей удивился, не слыша сигнального барабана. Все мертвенно стихло. На площадке что-то возилось, мелькали свои и чужие лица, руки, спины.

Прижатый с конем к толпе нахлынувших халатников, кого-то вязавших в свалке, Касаткин, как и другие офицеры, был мигом отделен от князя. С того места, где он очутился, видна была часть площадки,

Бековича хивинцы не трогали. Он спокойно, с гордым достоинством, молча сидел на коне. Его лицо было смертельно бледно, губы вздрагивали. Строгие впалые глаза презрительно смотрели на происходившее, как бы ничего не видя. «Вот оно, оправдалось!» — в ужасе, замирая, подумал Касаткин.

Там, где кого-то вязали, раздались отчаянные, дикие вопли. Касаткин, через головы близ стоявших хивинцев, увидел хана. На площадке у шатра был разостлан большой красный платок.

Ширгазы, с заломленной назад папахой, что-то кричал, размахивая руками. У его ног, на красной разостланной ткани, с обнаженной головой и в одном белье, стоял связанный хранитель каравана Званский.

Два узденя, справа и слева, рубили его саблями по окровавленным плечам и голове...

Бекович схватился за шпагу, дал шпоры коню.

— Злодей! Что ты? — крикнул он хану.

Толпа преградила князю дорогу, но он пробился к хану. У ног последнего, раскинув руки, лежало обезглавленное залитое кровью тело Званского.

— Бекович! Князь! — послышался новый раздирающий душу голос. — Царский ты посол и вождь, ужли не видишь?..

Бекович оглянулся. Ханские слуги вели к шатру связанного, бившегося и упиравшегося ногами стольника Заманова.

— Что же твоя надпись на знамени, отрожденный князь, победитель стран? — продолжал кричать Заманов.

Бледный, дрожащий Бекович стоял рядом с ханом.

— Что ты делаешь, зверь? Опомнись! — проговорил он. — Экономов, переведи ему... Ты клялся, я царский посол... Явятся новые силы... Отомстят...

Бекович не договорил. Стоявший сзади него приземистый, широкоскулый оборвыш-сарт с размаха ударил его чеканом по голове.

С князя слетела преображенская, с галуном и золоченой бляхой, треуголка, и сам он, как сноп, свалился с коня.

Офицеры бросились на выручку князя, окружили его, подняли. Хан еще медлил. На площадку ввалилась новая что-то кричавшая толпа. С седел сняли связанных, в окровавленных тряпках на голове Франкенберга и Пальчикова. Офицеров сняли, опять оттеснили к шатру. Слышался раскатистый, гортанный и в нос сердитый голос хана.

Князь опять очнулся, открыл глаза. Перед ним на площадке лежало несколько новых обезглавленных тел, в том числе Пальчиков, Франкенберг и оба княжих брата.

Сам Девлет-Гильдей-Бекович, раздетый, как последний отрепыш-невольник, стоял на коленях на залитом кровью платке, у той же ставки, где еще так недавно его угощали.

Кровь с раскроенной головы крупными теплыми каплями падала на хмурое, бледное, гордое лицо князя и на его красивые негодующие глаза.

Хан, подбоченясь, с усмешкой глядел мимо пленника на путь к Хиве, где еще ясно виднелись, в клубах пыли, ряды уходивших войск...

Бекович не понимал слов хана, с трудом соображая то, что делалось вокруг него, и удивляясь, почему он связан и зачем рядом с ним, в зеленом халате и белом жгуте огромной чалмы, молча стоял знакомый ему оруженосец хана.

Князю от шатра были видны край плеса синевшей в раме камышей реки Порсу, белые пески, новые плесы и камыши.

Над рекой в этот миг в теплой вечерней синеве показалась на широких, мягко махавших крыльях, белая, точно плывшая, чайка.

Бекович вспомнил море, прощание, барку. «Вот она, — подумал он с тихой, сладкой дрожью, — вот где увидел...»

Стоявший обок с ним зеленый хивинец взмахнул кривым ятаганом.

К ногам хана скатилась голова полномочного царского посла.

Касаткин куда-то рванулся. Его схватили чьи-то руки. «Барин, барин!» — слышались откуда-то, в общей свалке, знакомые жалобные крики.

XI

Пленники

Весь отряд Бековича был перевязан, ограблен и поголовно истреблен.

Войсковой обоз, пушки, одеяние, тела и головы начальников увезли в Хиву.

Небольшая кучка пленных уцелела в таборе одного из узбеков. Их некоторое время берегли, так как изменившие калмыки указали на них как на искусных пушкарей и вообще тем или другим полезных в захваченной добыче. Между последними были Касаткин и Юрлов, старичок врач, живо-

писец-швед и кое-кто из прислуги. Пленных гнали пешком в Хиву.

Близилась ночь. Изнемогая от жажды, со связанными за спиной руками, Касаткин шел невдалеке от Юрлова и сперва с ним переговаривался. Вскоре он впал почти в бессознательное забытье, едва двигая усталыми ногами и не видя, как садилось солнце, как они миновали несколько хивинских поселков и спустились в долину. Ему мерещились сборы в Астрахани, как офицерские жены снаряжали мужей и как старая нянька Бековичей, укладывая белье и посуду князя, все толковала: «Смотри же, князинька, вот это сорочки новые, сама княгиня шила, а вот это старые — привези и их... Да паче глаза кружечку береги — столько годов из нее во здравие пили...» — «Пили!» — с судорожной дрожью думал Касаткин, ища глазами хоть каплю воды.

Пленные сильно задерживали провожатых. В поздние сумерки у какого-то ручья ехавший впереди узбек придержал коня, пропустил мимо себя навьюченных грудой добычи всадников, подозвал ближайшего из стражи и указал ему на отставших.

Несколько конных отделились и, как бы чего-то ища по стемневшей дороге, заехали назад к ручью. Раздался залп ружей. Бо́льшая часть пленных повалилась на песок.

Хивинцы, разместив на седлах остальных, понеслись далее вскачь. Все спешили не опоздать к победному возврату остального войска в Хиву.

С рассветом следующего дня хан торжественно въехал в столицу. Впереди него, на копьях, несли головы Бековича, Франкенберга и других русских начальников. Народ с криками толпился на площадях и улицах. Женщины расстилали перед ханом цветные ткани; муллы кричали приветствия из мечетей. Весь день ханские вершники рыскали с кровавыми трофеями по городу.

К ночи Ширгазы велел головы казненных воткнуть на шестах у виселицы близ аральских ворот. Кожу, снятую с

замученных вождей, набили сенной трухой, одели в мундиры и поставили в виде стражи у тех же ворот.

Голову Бековича хан послал в дар бухарскому эмиру.

— Верно, ваш хан людоед, — сказал старик эмир прискакавшему гонцу, — вези этот дар обратно. Так не поступают с гостем и послом...

Новые и часть прежних пленных ожидали решения своей участи. Их, в числе сорока человек, вывели в следующий день на базарную площадь. Хан, окруженный знатью, выехал туда же на коне, полученном в дар от царя. Площадь гудела ликующей толпой. К столбу привязали очередных. Ждали главного муллу. Уздени обнажили ятаганы. Приведенный под руки ханский казначей держал народу речь. Отворилась мечеть. Оттуда вышел дряхлый белобородый старший мулла, ахун.

— Остановись! — сказал он хану. — Нет тебе благословения. Ты заманил шедших с посольством, клялся на Коране и преступил клятву.

— Это его обошли добычей, — объявил ближним казначей, — что его слушать!

Народ покорно смолк.

— Образумься, — возвысив голос, продолжал хану мулла, — пощади остальных. Ты не видел, я видел сон... Придут из-за моря новые рати... Кровь невинных будет звать об отмщении в роды родов...

Ширгазы отменил казнь. Пленные были розданы ближней ханской свите и распроданы в рабство в Кокан, Кашгар, Тибет и другие места.

Денщик Бековича Максим очнулся после залпа в пленных на берегу ручья. Была ночь. Он лежал навзничь у дороги. Светил полный месяц. Пахло сыростью, болотными травами. Его мучила жажда. Он ощупал себя. Кроме легкой раны в ногу чувствовалась еще боль от сквозной раны в плечо. Поняв, что он был безсознания от потери крови, Мак-

сим подполз к воде, промыл обе раны, обложил их травой и обвязал разорванным бельем.

До слуха Максима донесся тихий, подавленный стон. Между пристреленными пленными был еще один живой или умирающий. Максим пополз на голос. Он разглядел убитых Юрлова и Апроньку. Возле них на песке, головой к камышу, лежал еще кто-то бледный, окровавленный, с закрученными на спину руками.

— Максимушка, — проговорил знакомый, обрывавшийся голос, — ты ли?

— Я, сударь...

— Подними... Ох... Дай пить...

То был Касаткин. Максим зачерпнул в пригоршню воды, напоил, развязал и посадил Алексея.

— Думали ли? — говорил, всхлипывая, старик. — Сюда, батюшка, ножку, сюда ручку, вот так.

— Я ранен в грудь, — произнес через силу Касаткин, — вряд ли переживу... Вот тут, стой, в камзоле... тише... Листочки, грамотки... Я, Максимушка, женат...

— Знаем, отец родной... Князь сказывал...

— Коли спасешься... Увидишь... Отдай ей листки и вот этот перстень, ее дар... Не приметили изверги... Помоги снять... Запухла рука...

Алексей не договорил. Вдали по дороге послышался конский топот. Скакали опоздавшие с добычей грабители.

— Господь вас, батюшка, спасет! — прошептал Максим, бросаясь в камыш. — Не отзывайтесь, авось, не приметят, уйдут...

Касаткин ждал приближения всадников. Мысли без числа роились, пробегали в его голове. Отчего он так странно уцелел в общей кровавой резне? Отчего ранен теперь? Ему представлялась площадка перед ханским шатром, знойный день, запах крови и страшный, мокрый красный платок. И все ему теперь казалось далеким, конченым, а вместе отрадным и легко объяснимым. «Вот она, неразгаданная, непонятная прежде смерть... И где?.. Все кончено!..»

В ушах Алексея отдавалась пушечная пальба, визжали на разные голоса пули, слышались после того, отбитого, нападения сердитые, с бранью и проклятиями, стоны раненых и умирающих. «Ишь, дьяволы, не переменят тряпки... Все в крови...» — вспоминал он бред красивого и бойкого белокурого солдата. «Дымки-то, жарят!.. Важно... ох, щеголи!.. — говорил в бреду другой, смертельно раненный солдат, черноволосый и строгий с виду, из бывалых. — Им, треклятым, первый сухарь... Ведь у нас как?..»

Алексей силился вспомнить еще что-то: Париж, Дуню, Петра...

Всадники остановились у берега, сошли с коней. Они, очевидно, приметили Максима в ручье. Подъехавшие как бы рассуждали, спорили, удивлялись. Потом раздались сердитые оклики, угрозы. Максим, забравшись далее в плавни, притаился. Хивинцы было пустились в воду, шлепая в потемках, пробуя глубину и оступаясь. Наконец все затихло.

Рассвело. Туман клубился по ручью. Максим выглянул из камыша: берег был пуст, убитых, очевидно, подобрали. У дороги бродил только брошенный, с переломленной ногой, чей-то издыхавший верблюд.

Двое суток Максим скрывался в плавнях. На третий день он не вытерпел от голода, вылез на дорогу. Его подобрал толстый и сытый, евший какую-то вкусную лепешку, поселянин-хивинец, везший на базар арбу дынь. Оглядев еще дюжий стан раненого, он посадил его с собой, дал ему ломоть лепешки и повез, посмеиваясь, указывая вдаль и повторяя какие-то ободряющие слова. При въезде в город он его ловко спрятал под дыни.

Пленные в то время были уже прощены. Максим у аральских ворот увидел еще торчавшие на шестах головы казненных. Княжей головы он там не признал и сперва обрадовался — головы у виселицы были с бородами, а князь перед гибелью обрился.

Вскоре все узнали и об участи князя.

Первую весть о гибели всего отряда Бековича принесли в Астрахань осенью того же 1717 года.

Эту весть сперва доставили в Гурьев, потом астраханскому коменданту четверо случайно ушедших пленных. Их имена сохранились в бумагах того времени. Это были: яицкий казак Емельянов, юртовский татарин брадобрей Алтын, гребенской казак Белотелкин и спрятанный знакомыми сартами последний вожак похода туркмен Ходжа-Нефес.

После опроса в Астрахани и в Казани их на ямских отправили немешкотно в Петербург. Здесь перед сенатом, а потом в присутствии самого царя они передали, за скрепой своих рук, что видели и знали о несчастном конце индийского похода.

Вылеченный новым хозяином, Максим был обменен на другого раба, из персов, попал к иомудам, оттуда к текинцам, а от последних, в каком-то набеге, ушел в Тюб-Карага́нскую крепостцу. Отсюда он отплыл с комендантом Фандервидденом, когда последний в октябре 1717 года решил возвратить в Россию голодавший за морем гарнизон.

Буря разбила плохо оснащенные суда Фандервиддена. Отряд провел зиму в устье Куры. В море и во время зимовки от недостатка продовольствия и одежды отряд наполовину погиб. Остальные возвратились в Астрахань только в следующем 1718 году.

Здесь, в доме овдовевшей Марьи Саввишны Франкенберг, Максим кроме княжих сыновей нашел и больную, чуть не обезумевшую от горя и тщетных надежд Касаткину. У Дуни летом минувшего года в Астрахани родился сын Петр.

— Жив ли он? Жив ли, не томи? — ломая руки, допытывала Дуня Максима, как допытывала прошлой осенью первых пленных.

Максим, как мог, рассказал о последнем свидании с Алексеем.

— Лежали чуть живы, перстенька и бумаг не успели снять, — говорил он, — а утром гляжу — их уже нет...

— Но как же ты, как после не добился, не узнал? — неистово приставала Дуня.

— Сам, государыня моя, убей Бог, двое суток мок в воде, индо распух, — оправдывался денщик, — а куда дели, не токмо убитых, а и живых, в те смертные дни не у кого было и допросить...

Мучения Касаткиной были невыносимы. «Ну, тех несчастных порезали, постреляли, — рассуждала она, — их жены, семьи о том доподлинно извещены... А мой?..»

Она плакала и терзалась, не зная, что делать: служить ли о муже молебны или панихиды?

— Нет, он жив, жив! — безумствовала она, твердя своей сожительнице. — Смотри, Маша! Возвратилось столько человек, татары, казаки и даже княжий денщик... Что, если где-нибудь и он, бедный, томится, ждет воли?

Из ума Дуни не выходил перстень. «И тут что-нибудь да значит, — повторяла она, бродя, как тень, ночи напролет по комнатам подруги. — Знал бы, сердечный, что смерть близка, уж осилил бы себя, переслал бы, не оставил бы жениной памяти на поругание извергам.»

Касаткина надумала дело.

Она распродала, какие были, вещи, собрала денег и, как ни возражала Марья Саввишна, поехала с ребенком в Петербург.

«Благодетель царь положил где-то в банке, как сказывают, на мое имя немалую сумму денег, — решила она. — Все до последней полушки истрачу, отпрошусь с голландскими купцами и, хоть муки, смерть приму, пущусь на поиски...»

Мыслям Петра об Индии и о торговле с Азией суждено было встретить ряд неодолимых препятствий.

Почти одновременно с вестью о гибели отряда Бековича в Петербург пришли донесения и о неудаче северного отряда.

Капитан Бухгольц по пути к тому же сказочному Иркеню дошел до соленого Ямыш-озера и заложил там, как и Бе-

кович у Карагача, крепость. И его отряд был плохо снабжен продовольствием, еще хуже одет и вооружен. Питались полусгнившими сухарями, негодной солониной, а подчас дикими кореньями. В отряде развилась повальная цинга.

Узнав о бедственном положении русских, калмыцкий контайша с десятью тысячами войска окружил и осадил Бухгольца, отнял шедший с припасами от губернатора Гагарина опоздавший караван и после кровавой стычки заставил голодающее русское войско отступить. Бухгольц на восемнадцати кое-как сбитых дощаниках отплыл обратно к устьям Оми.

«Не радуют пособники на Востоке! — мыслил Петр. — А уж я ли на них не надеялся, их не баловал, не отличал!»

Царь видел самоотвержение и храбрость солдат, отвагу и стойкость отдельных командиров и угадывал, что всему виной — стоявшее в стороне главное начальство, ведавшее снаряжением и обеспечением войск.

Поручик Кожин, открыто бросивший отряд Бековича, по приезде в Петербург был отдан под военный суд. Напророченная им гибель отряда оправдала его поступок. Его продержали в крепости и выпустили. Петру в то время было не до него.

Давно уже шли особенно дурные вести о строптивом и жадном сибирском губернаторе князе Матвее Петровиче Гагарине.

Бывший нерчинский воевода, потом президент сибирского приказа и некоторое время московский комендант, князь Матвей Гагарин управлял в последние семь лет Сибирью в качестве ее губернатора. Никто не смел жаловаться на самовластного богатого князя. Сильные охотно с ним делились; мелкие боялись и взглянуть на пышного сатрапа, творившего беспощадную расправу и суд не только над инородцами, но и над своими.

Началось с разоблачений маленького и задорного присланного в Сибирь чиновника, провинциального фискала Нестерова.

Не боясь княжей грозы, смелый нравом и словом, Нестеров донес царю, что Гагарин ведет дела вообще не чисто: отправляет в Китай под видом государевых собственные товары и вымогательно, с угрозами, берет непомерные взятки с купцов и винных откупщиков. Он извещал, что купцы от придирок и безторжицы совсем оскудели и что сибирский губернатор, запрудив губернию своими родичами и свойственниками, первый потатчик всем грабителям и ворам.

«И давно бы тебе, государь, присылали отсюда просительные письма, — выразился Нестеров, — да боятся: княжий сын женат на Шафировой, а его дочка за Головкиным. Я же, аки утлый над морской бездной пловец, надеюсь токмо на тебя да на великого общего кормщика и богатодавца, святителя Николая.»

Царь под рукой дал знать Нестерову, что ждет от него дальнейших откровенных указаний. Нестеров ободрился и сообщил, что Гагарин, забыв присягу и всякий стыд, брал на себя и продавал казенный хлеб, в том числе немало припасов, заготовленных для войска в индийский поход, а чтоб скрыть это воровство, забросил или сжег подрядные счетные книги.

Это переполнило меру терпения Петра. Не сбылись предположения об Индии, приходилось отказываться и от видов на Китай.

Государь доведался, что самоуправец-князь дерзнул даже присвоить себе золотые и алмазные вещи, взятые в китайский торг из собственных комнат государыни, а узнав о посланных на него доносах, в свое спасение будто задумал и еще более смелое дело: отторжение под свою власть Сибири из подданства России.

1718 год был особенно тяжел для Петра. В это время в Москве происходил небывалый грозный суд, из полутораста высших светских и духовных сановников, над привезенным из Неаполя беглым царевичем Алексеем. Под предлогом участия в этом суде Петр, в числе других, вызвал в Москву и сибирского губернатора.

Польщенный новым почетом, князь Матвей Гагарин, не задумываясь, явился на зов, участвовал в разборе дела и с прочими товарищами скрепил своею подписью смертный приговор над царским сыном. Но, едва царевич кончил жизнь, Петр объявил строгое следствие над самим Гагариным.

Разбор этого дела, с отписками, запросами, очными ставками и разными волокитами, устроенными друзьями князя, длился около трех лет. Не спасли сибирского губернатора ни его высокий, почетный сан, ни нажитые в управлении губернией несметные богатства. Улики были собраны важные, неотразимые.

Князь Матвей Петрович, однако же, не унывал. Надеясь на припрятанные средства, а главное — на знатное родство и связи, он от всего отпирался.

Петр попытался обещать князю свое снисхождение, если тот добровольно покается. Жадный старик стал клясться, что на него взводят напраслину и что он не виноват ни в чем. Тогда ему объявили пытку и дважды вздернули его на дыбу. Кнут развязал княжий язык.

Гагарин взмолился и объявил, что готов принести полное покаяние, но лично самому царю.

Это было в июне 1721 года.

Авдотья Францевна Касаткина по возвращении в 1718 году из Астрахани в Петербург обратилась к государю с челобитной — ссудить ее средствами к отысканию мужа, без вести пропавшего в Хиве.

Долго Петр не соглашался изъявить согласие на поездку Дуни. Она обратилась к государыне. Та не нашла возможным просить за нее. В это время из Астрахани пришла весть, что там появился некий туркмен, доподлинно уверявший, что у какого-то узбека в Хиве он видел перстень, схожий с перстнем Алексея, и что эта вещь была добыта с пленником, которого узбек продал, как знающего пушечное дело, в Кашгар.

— Он, он! — твердила Дуня, скитаясь по сановным домам Петербурга.

Петр решил уважить просьбу своей питомицы. По его приказу снеслись с английскими и голландскими купцами, имевшими торговые дела с Индией. От имени Касаткиной была обещана награда шкиперу, который узнает и сообщит достоверные сведения о пропавшем без вести пленном. Сведений не приходило.

Дуне было выдано пособие из ее приданого. Оставив сына у знакомых, она в конце 1719 года отправилась в чужие края.

Проживая в Амстердаме, Ливерпуле и других приморских, голландских и английских городах, Касаткина посещала торговые и консульские конторы, печатала авизы о розыске мужа и с трепетом встречала каждый приходивший с Востока корабль.

Осенью 1720 года в одной из голландских газет явилось письмо врача, случайно заброшенного в Ост-Индию.

Описывая родным посещение Лакнаура, где от повальной желтой горячки вымерло множество жителей и чуть не вся семья владетельного раджи, врач прибавил следующие строки: «Болезнь проникла и в Дели. Ее туда занесли богомольцы, шедшие в Мекку. Между ними, по слухам, скрывается бежавший через Тибет и Кашемир некий артиллерист из отряда русского царя. Проданный хивинцами, он несколько лет находился где-то в горах, перерядился в одежду, какую носят богомольцы — посетители Мекки, прошел с ними в Индию и, заболев, также находится в Дели. Я еду туда... Всех занимает появление необычного, по сю сторону Гималаев, гостя — воина далекого северного царя».

Дуня обезумела от радости. Собрав все, что уцелело из ее средств, она послала в Индию, в Лакнаур, деньги на имя врача для передачи мужу, если тот жив, а сама уехала в Петербург, узнав о болезни сына. «Взойдет мое солнце, верю я, — написала она в Астрахань Марье Саввишне, — я в Питер, и он там — засияет, осветит мою тьму.»

Но прошли месяцы, снова целый год. Об Алексее не приходило вестей.

В Петербург в это время приехал из Парижа прежний искатель руки Дуни, Конон Зотов. В нем пробудились былые мысли. «Не обретется муж, — думал он, — это ясно; сразила горячка... Кого же ей, в таком разе, избрать в товарищи жизни, как не прежнего искателя и хранителя дней?»

XII

Гость

Император Петр, узнав о желании князя Гагарина принести ему лично повинную, решил к нему заехать в Петропавловскую крепость.

Это было в середине июня 1721 года. Погода в Петербурге стояла ясная, теплая. Близился вечер. Колокола тихо позванивали к вечерне. Нева была покрыта судами. Весело реяли на мачтах пестрые вымпелы. Большой, синий с белым флаг покачивался на тяжелом голландском бриге, подъехавшем в тот день с моря и выгружавшем товары у биржи Васильевского острова.

Петр возвращался Невой с порохового завода, бывшего на Петербургской стороне, за Колтовской. Тяжело было царю думать о заезде в крепость, о спросе виновного князя. Предстояли темные, незавидные откровения, желчь негодования, гнев. Петр вспомнил о крошечном домике с садом, на берегу против Петровского острова, и велел сидевшему у руля денщику Василию ехать туда. Там у вдовы кузнеца, булочницы, проживала с сыном Касаткина.

Государь давно не видел Дуни. Он знал ее напрасные ожидания, ее муки и, скорбя о ней, размышлял, как бы устроить судьбу ее сына.

Плеск весел и мерное покачивание катера навели Петра на более мягкие мысли о Гагарине. Внутренний голос шептал

ему, что не все ж в злом, погибшем человеке карать; что нередко, как и в данном случае, могут еще представиться неожиданные поводы к помилованию, даже к забвению невольных, навеянных грубостью нравов, грехов. «Но есть подозрение на лицеприятие защиты и корысть судий, — подумал Петр, — что-то не в меру сильно усердствуют следователи — офицеры, а с ними князь Яков Долгорукий и не раз уже попадавшийся, с нечистой стороны, Данилыч... Уж ли опять подкуп? Где же после того опора, поддержка в борьбе? Быть не может... Не верится... Довольно гибели надежд на проложение новых путей к Востоку. Погиб Бекович, вернулся Бухгольц... И где конец нестроению, неудачам?.. *Пожри, Господи, жертву хвалы и изму тя и прославиши мя!..*» — вспомнились Петру слова Писания.

Жители пустынной, тонувшей в березовых рощах Колтовской засуетились, увидя подъезжавший к берегу царский катер. Растворялись окна. Дети бежали по мосткам, через болота, к пристани. Стал виден меж дерев домик булочницы.

С приближением Петра от ворот этого домика что-то опрометью бросилось к берегу. Опушкой леса, минуя трясины и лужи, бежала с непокрытой головой и маша платком, какая-то женщина. Сзади нее, с ребенком на руках, ускоренным шагом шел высокий, плечистый, как бы не здешний мужчина, в морской, иностранного покроя куртке и в лакированной широкополой шляпе. «Матрос с подъехавшего заморского корабля!» — подумал, ступив на берег, Петр.

Дуня, чуть не падая, подбежала к пристани, хотела что-то сказать и от волнения не могла. Она была вне себя и вся красная от слез.

— Да иди же, ой, да скорее! — крикнула она обрывавшимся голосом, в исступлении глядя на подходившего мужчину.

Тот остановился, спустил с рук Дуниного ребенка. Трехлетний, толстенький, со спущенными чулками, Петрушка вперевалку побежал по мосткам к царю, не раз возившему ему гостинцы.

Петр смотрел на мальчугана. «Какие-то вести привез им, сиротам, этот заморский гость? — мыслил он. — Жив ли погибший... Видно, уже спроворила сбегать туда на корабль...»

И вдруг как бы сноп радостных, греющих лучей блеснул в лицо Петру. Он где-то видел два знакомых, тихо и приветливо на него устремленных глаза. «Кто же это? И где я видел, где знал эти, когда-то беззаветно-веселые, добрые и смелые глаза?»

Перед Петром стоял Алексей Касаткин.

По сильно загорелому, обветренному и худому лицу былого гардемарина бежали слезы.

— Ты? — вскричал Петр. — Касатка!.. Воскрес?..

Алексей, Дуня и мальчик обнимали ноги царя, покрывая поцелуями его руки, платье.

— Да говори же, Алеша, говори! — кричала в слезах, тормоша мужа, Дуня. — Ваше величество, к нам... В горницы, в сад... У нас ягоды, молоко...

Петр пошел к Касаткиным.

— Ну, дай же, странник, на тебя наглядеться! — произнес он, усаживаясь в саду. — Чудеса!.. Считался в расходе столько лет и найден! Из небытия в бытие явился! Рад, очень рад... Рассказывай, новый Одиссей, свои приключения...

Царь более часа пробыл у Касаткиных. Здесь он курил трубку, ел ягоды и пил молоко. «Не дорого, что вкусны, — говорил он Дуне, — дорого, что из твоих любезных ручек.» Сидели у стола под развесистой старой березой.

— Правда ли, что князь погиб от измены калмыков? — прервал Касаткина Петр. — Они ушли и предупредили хана...

— Была причина и в том, — ответил Алексей, — но главнейше — скудость обоза, одежды, харчей... Что можно было поднять? На столько тысяч войска всего триста верблюдов, да и тех пало больше половины... А тут еще тот горестный случай с княгиней и с детьми князя...

— Так и припасы, одежда? — спросил строго Петр. — Говори без утайки. Солдат голодал, как и у Бухгольца, был плохо одет и обут?

— Было, государь, всего...

— Ох, провиантщики да бригад-комиссары! Всему виной... Мечу изменили, первые и погибли от меча... Не за кого взяться... А сам ты как спасся?.. Говори...

— Моя доля, что же? — ответил, глядя на Дуню, Алексей. — Благо, спасен.

— Нет, сказывай.

— Раненого кое-как вылечили в Хиве, потом продали в Кашгар.

— Дорого продали?

— За четыре раскрашенные телячьи кожи.

— Выходит, сафьян?

— Он и есть.

— И хорошие там сафьяны?

— Есть мягкие, как шелк.

— Цена, вижу, не малая по тем местам, — сказал, подумав, Петр, — четыре кожи! Тобой дорожили...

— Доведались, что я знающ в пушечном деле, — произнес Алексей, — ну, и требовали ладить взятые у нас пушки и учить тамошних стрельбе.

— Как же тебя держали?

— В Хиве на цепи, в Кашгаре свободнее. Нашел я способ и бежал в Индию; оттуда, благодаря авизам вашего величества и тому врачу, доставлен морем в Голландию и сюда...

Солнце клонилось за рощу. Стало прохладно. Страдавший в то лето лихорадкой государь потребовал с катера плащ и пошел к реке.

— Так ты лично видел казнь покойного Бековича? — спросил Петр, едучи обратно с Касаткиными, которым предложил проводить себя во дворец, к Летнему саду.

— Не только казнь, — ответил со вздохом Касаткин, — но и пущее, злое поругательство... Кожу замучен-

ных — в мундирах, при шпагах, набитую сеном, у градских ворот.

— Дам я им, сафьянникам, кожи! — проговорил, мрачно отвернувшись, Петр.

Катер в это время огибал зеленый мысок у крепости. Петропавловский шпиц ярко блестел в последних багровых лучах заката.

— Стой, — вдруг сказал матросам Петр, — чаль к берегу. Зайду по делу, а вы, — обратился он к Касаткиным, сходя с катера, — хоть и не ждите...

Те остались у пристани. Петр вошел в крепость. Там раздался громкий караульный звонок.

Гневный и хмурый ступил Петр в каземат Гагарина. Родственники и сильные покровители успели дать знать арестанту, что государь не замедлит его видеть и выслушать. Князь потребовал бумаги, написал витиеватую челобитную о помиловании, а заслышав необычный по времени звонок, схватил припасенный через благодетелей мундир и приоделся. «Так-то, — думал он, — в губернаторском, не отнятом уборе, авось, не совсем порвет лютый волк...»

Царь вошел и молча стал у порога. В сумерках сперва он не совсем разглядел заключенного.

— Винюсь, милостивый, во всем, — произнес князь, падая среди каземата на колени и протягивая челобитную царю, — окажи снисхождение недостойному погибающему рабу.

— В чем твои вины? — спросил Петр, опуская бумагу в карман. — Ты пожелал меня видеть... Вот я лично....

Гагарин замялся. Он теперь без свидетелей, с глазу на глаз, был перед царем.

Заходящее солнце красно-желтыми косыми лучами освещало невысокий мрачный каземат, с фигурой Петра у дверей. Пыль, поднятая с каменных плит упавшим на колени вельможным колодником, вилась желтыми, точно кровью пропитанными, клубами.

— Как перед Господом, так пред тобой, государь, не умолчу, — начал князь Матвей Петрович. — первое, точно, не отрекаюсь, брал многие посулы, подарки и взятки. И все то, ох, правил я и делал непорядочно и просто, глупым умом, против указанных повелений... Смилуйся, отец, и уважь прежнюю службишку — мало ли было потружено? — виноват я токмо пред тобой....

— Как? Только предо мною? — произнес Петр. — А ограбленные жители? Голодный, неодетый и необутый солдат? А неудача задуманного розыска в Индию?

— Посулы и взятки, не гневись, — продолжал Гагарин, — приняты в почесть, мимо воли, запретным, в приказах заведенным непорядком... И все мы, ой, грешны пред тобой... Ты един без слабости и греха...

Петр молчал.

— Уличен, вельми уличен, — продолжал, воздевая руки, князь, — молю, аки Господа, отпусти, ваше величество, до конца дней в монастырь... А за преступление и неуказные, глупые дела, — прибавил он, всхлипнув, — над недвижимым и движимым достоянием да будет твоя воля...

Краска залила лицо Петра; подстриженный ус задвигался. Он, как желто-огненный призрак, недвижно стоял среди каземата.

— И ты, подписавший приговор моему сыну, — проговорил, сдерживая себя, Петр, — ты, смело изрекший смертную казнь царскому отпрыску, надеешься, молишь о пощаде? Ты — первый потатчик казнокрадов, разоритель целой страны, губернатор-вор?.. Да ты знаешь ли меня?

Свет померк в глазах Гагарина. На него пахнуло смертью, могилой. «Изменили пособники, христопродавцы-друзья! — пронеслось у него в мыслях. — Мало давано... Еще злые псы захотели...»

— Всё возьми, государь, всё, — завопил арестант, стукаясь об пол седой головой и судорожно хватая и целуя ботфорты Петра. — У сына маво, ох, в шкатуне зарыты яхонты, алмазы и зеньчуг... Невестушка, ой,

княгиня-невестка, тож передала... Через знакомцев... В Голландию...

— Сколько передано?

Помутившиеся глаза Гагарина забегали.

— По сущей правде, полсотни тысяч червонцев, — сказал он и запнулся, — также князь Якову Долгорукову с сенаторы, Лихареву с допросителем Пашковым... И... Данилычу... Давано ж в долг...

— Подкупал? — спросил Петр.

— Не стерпела плоть, сломили злы следственные дела... Судьи обещались...

— Аспиды! — вскрикнул Петр, вынув бумагу. — Что здесь написал?

— Покаяние... Просьбишка о милости недостойному рабу...

— Три года следственных розысков, — проговорил, комкая бумагу, Петр, — три года ты вилял, как вьюн, увертывался, всем отводил глаза и клял судий... Теперь же их выдаешь головой... Слушай, — продолжал он, — я не калмыцкий контайша, не Чёрен-Дондук и не людоядец Ширгазы... Они мунгальского подобия и нрава, мы — русские... Но если бы я тебя, дерзкий ребелизант и нищих вор, если бы я отдал на их суд, то и те азиаты изрекли бы тебе, что ты заслужил...

Лицо Петра задвигалось судорогами. Он ступил к двери.

— Помилуй... Царь Петр Алексеевич! — вскрикнул, влачась за ним, Гагарин. — Не казни... Я махонькому тебе усердствовал... Все мы богопродавцы... Один ты... Ты...

Дверь захлопнулась.

Черней тучи Петр вышел из крепости. Денщик и Касаткин помогли ему сесть в катер. Некоторое время все ехали молча. Крепость осталась позади. Нева покрылась сумерками.

— Господь даде, Господь и отъя, благословенно имя Господне! — сказал Петр, преследуя нить тайных, томивших

его мыслей. — Ну, прощай, моя сенсирка, — обратился он с улыбкой, у набережной, к Дуне. — Будь счастлива с мужем; растите и сына в доблестях и трудах.

Войдя в опочивальню, Петр отворил окно и зажег свечу. Вынув из кармана челобитную Гагарина, он ее прочел, бросил на стол и стал ходить из угла в угол.

Городская езда стихла. Из сада тянуло прохладой и запахом цветов. Огни давно погасли в комнатах царицы, царевен и царского внука. Не спал один Петр. Денщики Алешка Юртов и Васька Петров, долго за полночь, слышали мерные, тяжелые шаги в опочивальне царя.

Петр ходил, думая о признании Гагарина, о Долгорукове, Меншикове и других, вновь обличавшихся виновных. Царя смущала и общая заступница за его птенцов, жена Катеринушка, друг сердечненький, с которой он так любезно переписывался. «Скучнехонько без вас, — писал он ей еще недавно из вояжа, — воздух пременился, стало быть, ветрами, хладность... Так-то вы, Евины дочки, нас заворожили! Пришлите, в нашей несности, для вспоможения старости, флягу или две оного же крепыша.» А она ему в ответ: «Знаем, какие вы старики, напрасно то затеяно; старый гребнишко еще, чай, вот как сыщется.»

Теперь было иное. Остроты и шутки оставлены. Петр с негодованием видел покровительство жены недостойным ослушникам его воли. Еще того хуже... Глаз Петра злобно уже прозревал Монса...

— Боже! Да где же конец горечи, бедам? — сказал себе Петр, останавливаясь у окна на Неву.

И вдруг в его мыслях живым встал рассказ Касаткина о походе Бековича. Вереница опаршивелых, как квелые индюшки, верблюдов тянется по песку под тяжелыми вьюками; рядом с ними — изнуренные, в рубищах голодные солдаты. Тускло-серое небо, клубы раскаленной пыли. Все обезумели от жажды и зноя. Натиск орды отбит... Побежденный враг берет предательством. Войско перерезано, истреблено... Головы вождей торчат на позорных шестах.

Петр подошел к столу, схватил перо. На стене, в мерцании оплывшей восковой свечи, отразилась тень его курчавой трясущейся головы.

На челобитной Гагарина Петр положил такое решение: «Бывший сибирский губернатор, грабитель и вор, князь Матвей Гагарин просился в помилование, без препятия, на неисходное житье в монастырь. И тому не быть. В наказание ж оного вора и дабы прочим было не повадно, не мешкав, повесить его, на два месяца, перед окнами юстиц-коллегии».

Весть о предстоящей казни быстро разнеслась по городу.

Утром 18 июня 1721 года весь Петербург повалил на Васильевский остров, где у биржи перед зданием двенадцати коллегий в то время еще торчали головы Лопухина, Кикина и других казненных по делу царевича Алексея.

Здесь в присутствии царя, царицы, Меншикова, судий и сродников Гагарина, в том числе и его сына, разжалованного в тот день за сокрытие отцовской казны в матросы, бывший сибирский губернатор был вздернут на виселицу.

Прямо с казни Петр велел всем, в том числе и родичам Гагарина, ехать на его, государев, поминальный обед.

Было полное заседание и питье всей неизменной, усердной, царской «тост-коллегии». Перед дворцом, на галерее, по приказу царя играли одетые в черное, на обвитых трауром инструментах, музыканты. Из окон раздавались обычные здравицы. На Царицыном лугу палили пушки. Увидев после обеда в числе других приглашенных в сад Касаткина, Петр указал на него Меншикову.

— Какую же на *тебя* устроить виселицу? — сказал он вдруг Данилычу.

Меншиков замер, остолбенел.

— Ты молил за повешенного вора, — прибавил Петр, — а спроси вон того, уцелевшего из отряда Бековича, каково *им* было терпеть и страдать?

Касаткин за верную службу и за полонное терпение получил отпуск в запустелые отцовские деревни, куда и уехал с женой и сыном.

— Дай, оперимся, наладим флот, — сказал ему на прощание царь, — первое — промыслим о Персии, а там, в память прошлого, и далее...

Касаткин не был при казни Гагарина. Перед выездом из Петербурга, плывя в город на лодке мимо новой биржи, он взглянул на берег и невольно вздрогнул.

На перекладине, меж высоких столбов, висел сухой, невысокого роста старик. Лицо казненного, по обычаю, было закрыто платком; на ногах — русские круглые сапоги; из-под савана виднелся форменный, обшитый галуном, губернаторский кафтан.

В деревне Касаткин узнал, что веревка, на которой висел Гагарин, перегнила и труп упал. Княжьи родичи и друзья стали просить дозволения его похоронить. Петр отдал именной приказ: «Повесить до срока на железной цепи».

Прошли годы, десятки лет, столетие.

Род Касаткина долго процветал в его родовых вотчинах. Предания об Алексее Ильиче, как святыня, хранились среди его потомков. Еще в этом веке можно было видеть в московском доме одного из них весьма схожие портреты его и Дуни, писанные по возвращении Касаткина из персидского похода, где он, как удостоверяет предание, отличился, при взятии Дербента, на глазах Петра.

Род князя Бековича-Черкасского, давшего прошлому веку пословицу «Погиб, как Бекович», существует в России доныне, в лице его двух праправнуков.

Спасшийся в море его младший сын умер в конце царствования Екатерины II бригадиром. Внучка его старшего сына была известная красавица. Азиатская кровь деда сказалась в ней. Знаменитый красотой, любимец Екатерины,

Дмитриев-Мамонов, на верху благополучия и могущества встретясь с молоденькой княжной, страстно в нее влюбился. После бурных сцен ревности и всяких преград, даже сочтенный за помешанного, он оставил озадаченный, негодующий двор и женился на предмете страсти.

Известна попытка индийского похода императора Павла, не исполненная за его смертью. Платов, поджидая союзный отряд Наполеона, уже вел к Каспию казацкие полки...

К коронации императоров Александра I и Николая I из Кабарды в Москву приезжали князья Черкасские. Явившись в пышной одежде, с узденями, дорогим оружием и на красивых лошадях, они привлекали общее внимание Москвы, твердо веруя, что память их предка Бековича-Черкасского рано или поздно будет отомщена.

1879 г.


Княжна
Тараканова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА КОНЦОВА

Ни малейшего сумнения — она авантюрьера.
Письмо Екатерины II

I

Май 1775 — Атлантический океан, фрегат «Северный орел».

...Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся, что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи.

Боже-вседержитель! Дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу...

Я — моряк, Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества всероссийской императрицы Екатерины Второй, пять лет тому назад, Божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме.

Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению.

И мне, смиренному, удалось в то время, прикрывая брандеры, в темноте, с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый брандскугель. От брандскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти- и девяностопушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки:

Вручает слава ветвь, вручает ветвь лаврову
Кидающему смерть в турецкий флот *Концову*.

Оные стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Макензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей.

Судьба отвернулась от меня, статься может, за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины.

Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду — французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, нежданный и тяжкий искус.

Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

— Я так счастлив, так, как будто взят, аки Енох, живой на небо.

Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко с тех пор, как некогда пособил Екатерине взойти на престол.

Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году.

Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма.

Мы долго отстреливались. Наших матросов убили; я, тяжело раненный в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул.

Во мне, хотя переодетом в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, как дознаются, — думал я, — что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный адмиральский корабль? Что станется тогда со мной?»

II

Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.

Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда на самом деле слух, что в числе пленных

у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда... Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере: хвалил мусульманские обычаи, нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие.

Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил:

— Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей, поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой...

Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого, рокового раздумья!

Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые соседи по деревне, Раки-

тины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его дочка Ирина Львовна.

То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну — молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие, памятные дни! Одно из моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попалось в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного... только горько, тяжело о том и вспомнить.

Была осень и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейский лакей подал бабушке привезенный им от Ракитиных запечатанный пакет. Сердце мое так и екнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ.

«Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож, — писал бригадир Ракитин, — но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его.»

Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу — пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дво-

рянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины, в высший свет.

— Бог с ними! — твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.

День был пасмурный, моросил мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с ракитинской усадьбой, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню, мне казалось: стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем.

— Брось отца, брось его, — шептал я, вглядываясь в окна. — Он не жалеет, не любит тебя.

Но тщетно: окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующие ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей тайно и письмо — ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет, — решил я тогда, — зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и вправь нашелся счастливый соперник.»

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где некоторое время держал ее под строгим присмотром.

III

Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она спустя неделю призвала меня и объявила:

— Твой риваль[1] тобою угадан — это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной, Павлинька, его нарочито выписали, он у них гостил во время твоих исканий и помог им уехать без следа. Забудь, мон анж[2], Ирену: она, очевидно, в батюшку — гордячка; утешишься, даст Бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч. «Бабушка права, — мыслил я, решаясь все бросить и забыть. — Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку.»

Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный гимн из «Ифигении», новой и тогда еще не игранной оперы Глюка. Я со слезами сжег его.

После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся.

Аграфена Власьевна в тот же год, без меня, простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен, — никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился, я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?

---

[1] Риваль (от *фр.* rival) — соперник.

[2] Мой ангел (*фр.*).

Вести с юга, из-за моря, между тем наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой.

— Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что? — твердил я. — Боже! Когда бы скорей конец жизни!

Но смерть не приходила, вместо того я был схвачен и после славной Чесмы попал в долговременный плен в Стамбул.

Навещавший меня мулла становился все ласковее, а вместе с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его, для компании, отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной и сам для этого пил; мой учитель, делать нечего, в угоду мне стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах.

Однажды — это было еще в половине лета 1774 года — в то время когда муэдзин с вышки звал к вечерней молитве народ, мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрице Екатерине, могучая претендентка на российский престол.

Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил:

— Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны.

— Это вздор, — вскричал я, — бессмысленная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.

— Не сплетни, читай! — сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. — Лучше подумай: что ждет твою родину?

Сердце мое, преданное великой, правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав: сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая называвшая себя *всероссийской княжной Елисаветой.* Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.

«Как? — рассуждал я. — Судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену, — туркам являлась еще и эта помощь! Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье, эта собирается пустить огонь и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я встал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо.

«Крылья мне, крылья! — молил я Бога. — Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыне графа Орлова, все ему передать...»

И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне вовек испытанного.

Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтоб отомкнуть тяжелые цепи. Обточив о дно глиняного кувшина вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в

первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было: освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата-муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений.

Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.

— Нет, — повторял он, — не могу, не пропустить бы молитвы, заметят, донесут...

Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать — не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и чалму, оделся в них — он лежал как убитый.

Мы были с ним почти одного роста, борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее.

«Боже! Неужели? — думал я в радостном содрогании. — Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму и набожно склонясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику,

сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склонясь, молча указал на один из близстоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торговых французских шхун. Я узнал ее по флагу.

IV

Бравый смуглый красавец француз, командир шхуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил:

— Не Концов ли вы?

— Почему вы так думаете? — спросил я в тревоге.

— О, я бы желал, — ответил он, — чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем... Я был бы счастлив, если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шхуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика отпустили обратно где-то на пути.

Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок платье муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль.

От капитана шхуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали

меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок; я настаивал на своем.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне ссуде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе.

Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво, но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию.

— Но кто же она и где до сих пор проживала? — спросил я свитских княжны.

— Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским, — отвечали мне, — в детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, dame d'Azow, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета Вторая — кровь великого Петра... Немецкие и иные принцы сватались за нее; французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.

«Киль, Берлин! — думал я. — Киль — в Голштинии; он играл такую роль в судьбе дочерей Великого Петра: бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника, Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? И что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.

Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся: просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор.

В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядной свитой. После я узнал, что это были: знаменитый в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием «пáнекохáнку», — в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами; рядом с ним — его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушко; за ними — в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий — глава сплотившейся против нас польской конфедерации; поодаль — надменный и богатый староста Пинский, граф Пржездецкий; возле него — влиятельный, из молодежи-конфедератов, рубака и дуэлист Чарномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах.

Княжна, как я приметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье, род амазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными, в дорогой оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские гордые магнаты говорили княжне «ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени.

Не скрою, меня поразил вид княжны. Я увидел перед собою в полном смысле обворожительную красавицу лет двадцати трех-четырех, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно, косил, что придавало

ее оживленному лицу особое, лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа.

Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный, по этикету, прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине.

V

После некоторого обмена мыслей — мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания, — оба мы в понятном смущении замолчали.

— Вы русский офицер, моряк? — спросила меня княжна.

— Так точно, ваша... ваша светлость, — ответил я, не зная, как был должен ее именовать.

— Мне известно, вы отличились, ваше имя прогремело при Чесме, — продолжала она. — Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.

— Послушайте, — проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный, грудной голос, — я русская княжна, дочь вашей, когда-то любимой императрицы: не правда ли, мою мать, дочь Великого Петра, так любили? Я по крови и по завещанию ее единственная наследница.

— Но у нас ныне царствует, — решился я возразить, — не менее всеми любимая монархиня Великая Екатерина.

— Знаю, знаю! — перебила княжна. — Могучая и чтимая народом ваша нынешняя государыня, и не мне,

слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая, преданная ей раба.

— Чего же вы ищете, ждете? — спросил я удивленно.

— Защиты и уважения моих прав.

— Простите, — возразил я, — но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права.

— Вам доказательств? Вот они, — произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой баул. — Это завещание моего деда Петра Первого, а это духовная моей матери Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел.

— Но это копии, притом в переводе, — сказал я.

— О, будьте спокойны, подлинники в верных руках... Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать! Мало вам этого — взгляните, — проговорила, полуоборотясь, принцесса.

Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших, в круглых рамах, портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшою короною на голове; другой — стоявшую против меня княжну.

— Не правда ли, схожи? — спросила она, вглядываясь в меня.

— Сходство есть, это правда, — ответил я. — Я это заметил, едва вошел и вас увидел, позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?

— В этом году, в Венеции... Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха — князя Радзивилла, при этом упросили сняться и меня.

— Дивные события! — произнес я в невольном смущении. — Является невообразимое, встают из гроба мертвецы; за Волгой — давно въяве похороненный император Петр

Третий, здесь — никем не жданная и не гаданная дочь государыни Елисаветы.

— Не смешивайте меня с Пугачевым, — возразила, слегка покраснев, княжна, — хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью «Redivivus et ultor» — «Воскресший мститель», но он пока... лишь мой в том крае наместник.

— Как? — удивился я. — Так и вы подтверждаете, что он самозванец?

— Не спрашивайте, кто он, — загадочно ответила княжна, — после узнаете обо всем... еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судия... Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра Третьего.

— Кто же ваш отец? — решился я спросить.

Княжна помолчала, нахмурилась.

— Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах; оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов... Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись.

— Как! Вы видели графа Шувалова? Где? — изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.

— Это было на водах в Спа... Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике; я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем; говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения и был, очевидно,

внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен — не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну.

Княжна смолкла. Молчал и я.

— Чьей же защиты, чьей помощи ищете вы? — решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями.

VI

Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно.

— Готовы ли вы мне пособить? — спросила она решительно в ответ на мой вопрос.

Я не нашелся, что ответить.

— Готовы ли вы оказать мне, в случае надобности, вашу поддержку?

— Какую?

— Вот видите ли... Если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной, — произнесла медленно и с уверенностью княжна, — я готова сделать для нее все... Отдам ей север, с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею московской областью, себе возьму Кавказ, вообще юг... я люблю юг... и часть востока. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна; населю и устрою мои родовые страны, увидите... я мастерица... И разумеется, прежде всего восстановлю Украину и Польшу... Ведь вы украинец? Не правда ли? — спросила она, заглядывая мне в глаза. — И я жила в детстве на Украине... Если же Екатерина заспорит, — проговорила она, сдвинув брови, — мне остается добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул, к султану, он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу — при этом мно-

гие мне помогут, в том числе все недовольные... например командир эскадры Орлов... Что скажете о нем?

— Орлов? — спросил я с нескрываемым изумлением.

— Да, он! Удивляетесь? — помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна. — Как об этом вы думаете?

— Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения, — ответил я, — ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините, измены?

— Измены? — вскричала, вспыхнув, княжна. — Впрочем, вам простительно... вы были в плену, многого не знаете.

Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером.

— Власть и значение Орловых пали, — продолжала она, — входят в силу их тайные непримиримые враги Панины... Любимец императрицы Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим; он в огорчении прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в Ревель. Удивляетесь? Знайте более... Ваш начальник граф Алексей Орлов, обиженный за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть мне очень полезен. Видите ли, какие новости. Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест.

— Манифест? О чем?

— Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права.

— Но это невозможно, простите, — пытался я возразить, — ваш поступок смел, но необдуман...

— Почему? — удивленно спросила княжна. — Недовольные ищут возмездия; забытые, брошенные — отплаты. Это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг?.. Ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном.

Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить.

Мне стало ясно, что эта избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своею смелостью померяться с любым из отчаянных мужчин.

— Вы сомневаетесь, удивлены? — нервно вздрагивая, вскрикнула она. — Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете?.. Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники, с некоторыми я уже давно переписываюсь... Но вы — первый русский, таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле... Я этого не забуду, этим дорожу... Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется... Разве вам неизвестно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный, кровавый бунт? Ваше войско дурно одето и еще хуже кормится... Все недовольны, ропщут... Ужели вам, лейтенанту русского флота, это новость? Да, народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елисавету Вторую с торжеством, как когда-то встретили Екатерину.

Меня возмущало это ребяческое, слепое легкомыслие.

— Пусть так, но говорите ли вы по-русски? — решился я спросить.

Княжна смутилась.

— Не говорю, поневоле забыла, — ответила она, закашлявшись, — в детстве, трех лет, меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили, оттуда в Персию; я жила у одной старушки в Испагани и с нею уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Фурьнье... Где тут было помнить родной язык?

Я сидел с потупленными глазами.

— И разве Дмитрий-царевич, признанный всею Москвой, говорил по-русски? — надменно спросила меня принцесса. — Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь.

— Дмитрий говорил с малорусским акцентом, — ответил я, — но зато ведь он и был... самозванец.

— Gran Dio![1] — вскричала и, с новым кашлем, рассмеялась принцесса. — И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова...

Принцесса откинулась на спинку кресла. Багровые пятна выступили на ее щеках.

— Дмитрий был настоящий царевич, — проговорила она с убеждением, — да, настоящий царевич, спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте получше. О, синьор Концов, говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомой и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала, он вечный враг России... Меня признáют — слышите ли? Должны признать! — заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. — Я верю в свою звезду и потому вас смело избираю своим послом к графу Орлову. Не требую тотчас ответа: подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение. Вы, повторяю, первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине! Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба.

Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена.

---

[1] Великий Боже! *(итал.)*

VII

«Что это? Кто она? Самозванка или впрямь русская великая княжна?» — рассуждал я, в неописанном смущении оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ ее свиты.

У крыльца я приметил несколько оседланных, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую в кругу близких на белом красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы.

Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал: «Как мне, ввиду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны?»

Однажды ко мне зашел ее секретарь Чарномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный, лет сорока, человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен, вкрадчив и, по слухам, служил княжне, будучи в нее втайне влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваге, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу помочь ее делу.

— Да чья же она дочь? Кто ее отец? — спросил я довольно резко. — Вы говорите столько в ее пользу, но нужны доказательства, ведь это все так сомнительно...

Чарномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный, по моде — в женских брильянтовых сережках, ганимед княжны был нарумянен.

— Какие сомнения, Боже! Да ее отец — помилуйте, разве сомневаетесь? — граф Алексей Разумовский! — произнес, овладев собою, тонкий дипломат. — Извольте, пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у импе-

ратрицы Елисаветы от тайного брака с графом было несколько детей.

— Все это басни, этого никто не знает в точности, — ответил я.

— Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне, — продолжал Чарномский, — вы правы: где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив — неизвестно... Княжна же Елисавета, ребенком двух лет, была увезена к родным Разумовского, казакам Дараганам, в их украинское поместье, Дарагановку, которую народ, земляки новых богачей, окрестил по-своему, в Таракановку. Царица-мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку *тьмутараканской княжной*... Ее сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и наконец о ней забыли.

Слово «Таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое, мое собственное далекое детство, родной хутор Концовка и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума графом и тайным, обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед, Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешам, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах.

Вспомнил я при этом и еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батуриным, резиденцией гетмана Кириллы Разумовского. Был тихий летний вечер. Мы разговаривали. Из открытой коляски, в стороне от дороги, в сумерках, виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами — верхушка цер-

кви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя, вдруг произнесла тогда:

— Тараканчик.

— Что вы сказали, бабушка? — спросил я.

— Тараканчик...

— Что это?

— А вот что, мон анж Павлинька! — ответила она. — Здесь когда-то, в этом вот селе, обреталась одна секретная особа, премиленькое, полненькое и белое, как булочка, дитя, только недолго пожило оно и куда делось — неведомо.

— Кто же она? — спросил я.

— Красная Шапочка, — вполголоса ответила бабушка. — Видно, и ее, *тьмутараканскую княжну*, как в сказке, съели злые, бессердечные волки.

Больше Аграфена Власьевна не говорила, и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки.

Теперь мне ясно вспомнилась и эта зеленая, в вербах, Таракановка, и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить.

— Что же, решаетесь, пане? — спросил меня Чарномский, видя, что я задумался и молчу.

— Объясните, — ответил я, — какой именно услуги желает княжна от меня?

— Одного, пане лейтенант, одного, — проговорил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый посол. — Отвезите графу Орлову письмо ее высочества, в этом только и просьба... И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елисавету и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее.

Чарномский вынул и подал мне пакет.

— Только в этом и просьба! — повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими серыми умоляющими глазами.

Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело.

— Извольте, — сказал я, — не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу.

Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом.

Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали. Драгоценные вина лились. Гремела музыка, стреляли в саду пушки, и был сожжен фейерверк в тысячу ракет. А в конце волшебного, с маскарадом и танцами, пира, «панекоханку» вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра и что с зарей все пирующие, для прохлады, увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в коляске, а на санях...

Гости утром вышли на крыльцо: все ближние улицы, действительно, были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью, и веселая, шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку, действительно, развезена по домам на санях.

Я уехал, ломая голову над вопросом: действительно ли княжна — дочь покойной императрицы Елисаветы и верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое, чуть приметное колебание и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторой жалостью к ней как к женщине.

VIII

Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонью, где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при Чесме, в душе недолюбливал моря и, сдав ближайшее заведование флотом старшему флагману контр-адмиралу Самуилу Грейгу, бо́льшую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и, окруженный царской пышностью, был ко всем внимателен и доступен.

Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем в оны годы, и я, проездом из морских классов на родину, не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура графа Алеха́на, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, веселый беспечный нрав и огромное богатство привлекли в его гостеприимные хоромы все знатное и незнатное Москвы.

Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за Московской заставой, у Крымского брода, невдалеке от его подмосковного села Нескучного.

Москвичи в доме графа любовались гобеленовыми обоями, на диво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками, каскадами, зверинцем и птичником. А у графских ворот, в окне сторожевого домика, висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками: «Матушке-царице виват!»

На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича, за столом, под дорогими лимонными и померанцевыми деревь-

ями его теплиц, по слухам, нередко садилось по триста и более особ.

Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерялся силой. Он гнул подковы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками.

Так однажды, в осмеяние возникшей страсти щеголей к лорнетам и очкам, он послал на гулянье первого мая в Сокольники одного из своих приживальцев... Одетый наездником, последний среди гуляющих юных модников стал водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки, с крупною надписью на переносице: «А ведь только трех лет».

Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленною псовою охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться со скакунами графа, смесью арабской крови с английскою и фрисландскою.

На конском бегу, перед домом у Крымского брода, граф Алехан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах собственноручно проезжал свою знаменитую, белую без отметин, Сметанку или ее соперницу, серую в яблоках, Амазонку.

Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в романовском тулупчике или в штофном халате появлялся в воротах на храпящей белогривой красавице, покрикивая трем Семенам, главным своим наездникам: Сеньке Белому — оправить опененную уздечку, Сеньке Черному — подтянуть подпругу, а Сеньке Дрезденскому — смочить квасом конскую гриву.

Граф был игрив и на письме.

Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату Григорию: «Государь братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов». Это письмо ходило у нас в копиях по рукам.

Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку графу в прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже к командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих он был загадкой.

На смотры и свои парадные, по-придворному, приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью, в золоте, алмазах и орденах. Между тем на гулянья, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной, гонявшейся за ним знати не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане, из серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Претонкий, великого ума был человек.

Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некоей важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось мое странствие по Италии; в горах я простудился и некоторое время пролежал хворый у одного сердобольного магната.

Наконец я добрался до Болоньи.

Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я приблизился к роскошному графскому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры, без разрешения начальства, с опасною претенденткою.

Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о ее прошлом, о каких-то связях. Но что было за дело до ее про-

шлого и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы! Да еще и были ли эти связи?

У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранных гостиных и зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома.

Тридцативосьмилетний красавец, богатырь, граф Алексей Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он находился на вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести и меня.

И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались бы малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике у раскрытого и пыльного чердачного окошка. Пребывая здесь, от дневной духоты, в одной сорочке, он попивал из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей.

— А, Кончик! Здравствуй! — сказал он, на миг обернувшись. — Что? Избавился? Поздравляю, братец, садись... А видишь, вон та пара, каковы?.. Эк, бестии, завились... турманом, турманом!..

Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы на покое еще более пополнел. Шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и веяло здоровьем и удальством.

— Что смотришь? — улыбнулся он, опять оглянувшись. — Голубями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок; здесь все глинистые да чернокромые; трубистых, как у нас, мало и не простые, брат... Да, за сто верст письма носят... диво, вот бы у нас развести... Ну, рассказывай о плене и о твоих странствиях...

Я начал.

Граф слушал сперва рассеянно, все посматривая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна и, пока те, извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал.

— Твои вести, любезный, таковы, — сказал он, — что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачты в кают-компанию.

Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием.

— Ты хитришь, — вдруг сказал он, идя по саду. — Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрьера? Объяснись, — прибавил он, сев на скамью, — с чужого ли голоса ты говоришь или убедился лично?

Я смешался, не знал, что говорить.

— Сомнителен ее рассказ о прошлом, — проговорил я, — как-то сбивается на сказку... Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношения с владетельными дворами Европы. Как верный слуга государыни, я действовал по совести, всматривался и скажу прямо — не могу утаить сомнений.

— Согласен, — произнес граф, — об этом можно говорить так и сяк. Но вот что важно: в Петербурге о ней уже знают и пишут мне как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род.

Граф помолчал.

— Хороша побродяжка! — прибавил он, как бы про себя, загадочно. — Пусть так, не спорю... Но зачем же решили требовать ее выдачи, а в случае отказа — взять силой, даже бомбардировать рагузскую цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать... навязать камень на шею да и в воду.

Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил приснопамятные июньские дни...

— То-то, братец, видно, что не побродяжка, — проговорил опять граф, глядя на меня, — *ты* как об этом думаешь? Ну-ка, говори начистоту.

IX

Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщения княжны о падении силы Орловых, об удалении бывшего фаворита в Ревель и о возвышении их врагов. Досада ли, огорчение ли ослепляло графа или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны, только, очевидно, он со мной говорил не на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба.

— Простите, ваше сиятельство, мою дерзость, — сказал я, не вытерпев, — но, уж если вы повелеваете, я не утаю. Виденная мною особа действительно очень схожа с покойною императрицею Елисаветой. Кто не знает изображений этой государыни? Тот же величественный очерк белого, нежного лица, те же темные, дугой брови, та же статность, а главное — эти глаза. Не могу не привести рассказа моей покойной украинской бабушки о родных Разумовского.

— Да! Ведь ты, Концов, сам батуринец! — живо подхватил граф. — Ну-ка, что же тебе говорила бабка?

Я сообщил о Дарагановке и о жившем там в оны годы таинственном дитяти.

— Так вот откуда эта Таракановка, — сказал граф, — верно, верно! И я некогда что-то слышал о тьмутараканской принцессе.

Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложа руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада. Я почтительно следовал за ним.

— Концов, ты не мальчик! — вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои проницательные, соколи-

ные глаза. — Дело великой, государственной важности. Будь осторожен, и не только в действиях или словах, в самих помыслах. Клянешься ли, что будешь обо всем молчать?

— Клянусь, ваше сиятельство.

— Так слушай же, помни... За все ответишь мне головой.

Граф помедлил и, устремив на меня задумчивый, в самую глубь души глядевший взор, прибавил:

— Не забывай же, меня ты знаешь... головой...

Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью.

— Недолго поймать всклепавшую на себя, — сказал граф, — мало ли, всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли, слушай, обманом-то, тайком? А? Притом с женщиной... ведь жалко было бы? Правда?

— Как не жалко, — ответил я в простоте, — врагов следует побеждать, но открыто... иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем.

Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало.

— Ну да, милый, уж так-то подло... и мы с тобой не палачи! — произнес он. — А из Петербурга все-таки даром не напишут, и притом, как на нас там смотрят, еще вилами писано по воде... Да что! Откровенно тебе скажу: оттуда уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех вверенных мне дел... Ожидал ли ты этого? Не обидно ли после всех моих заслуг? А?

Откровенность графа поразила меня и вместе сильно мне польстила.

«Вот положение сильных мира!» — думал я, искренне жалея графа. Действительное падение фавора, его семьи мне уже было известно.

Алексей Григорьевич задал мне еще несколько вопросов о княжне и окружающих ее, сказал, что берет меня

в свой ближний штаб, и отпустил с приказом остаться в Болонье и ждать его зова. Я поблагодарил за внимание и откланялся.

На другой день граф уехал в Ливорно, к эскадре, и возвратился через неделю. Меня к нему не звали. Будучи без денег, я сильно во всем нуждался, да и скучал. Писать в Россию было некому. Прошло еще несколько дней. За мной явились.

Граф принял меня в рабочем кабинете.

— Угадываешь ли, Концов, что я тебе скажу? — спросил он, перебирая бумаги.

— Как знать мысли вашего сиятельства?

— Вот записка: получишь у казначея деньги и прежде всего уплати долги, пошли своим заимодавцам-французам... ты обезденежел на службе... а завтра едешь в Рим...

Я поклонился и ждал дальнейших повелений.

— Знаешь, зачем? — спросил граф.

— Не могу угадать.

— Пока ты странствовал и хворал, таинственная княжна, покинутая ветрогоном Радзивиллом, — сказал граф, — оставила Рагузу. Сперва она, с неаполитанским паспортом, навестила Барлетту, пожила там, а теперь, под видом знатной польской дамы, появилась в Риме. Понимаешь?

Я снова поклонился.

— Так вот что, — заключил граф. — Я давно перед нею виноват: не отвечал ей на два письма... да и как было, среди всяких соглядатаев, отвечать?.. Пытался было к ней послать эти дни доверенного человека, твоего же сослуживца по флоту, но она его не приняла. Жаль бедную: неопытна, молода и всеми брошена, без средств. Ты сумеешь увидеть ее и начнешь с нею переговоры. Я ее приглашаю сюда... Там, слышно, есть кое-кто из русских. Разузнай-ка, да главное — обереги ее от врагов и всяких влияний. Пусть доверится нам одним, мы ей окажем помощь. А насчет совести, будь спокоен, все будет исполнено от сердца и по законам справедливости.

X

Я был ошеломлен, поражен.

«Неужели граф затевает измену? — мелькнуло у меня в мыслях. — Быть не может! Знатный патриот, герой достопамятного переворота и главный пособник Екатерины не замыслит этого! Но что же у него в уме?»

Волнуемый сомнениями, я возымел смелое, дерзкое намерение — выведать сокровенные мысли графа.

В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-то пущенное шептанье, будто с севера прислан тайный указ, что графа отзывают, заменяя его в команде флота другим, все его при этом поистине жалели.

— Простите, ваше сиятельство, — сказал я графу, — завтра же я еду в Рим; вы мне поручаете дело высшей важности. Если княжна согласится на наши кондиции и примет ваш зов, осмеливаюсь спросить: что может от того произойти?

— Вот ты брандер какой, водяной вьюн, — усмехнулся Алексей Григорьевич, — и все вы, моряки, таковы — все вынь да положь. А мы, дипломаты, не любим лишней болтовни. Поживешь, сам увидишь... дело покажет себя. А я верный и преданный слуга нашей государыни Екатерины Алексеевны.

— Простите, граф, великодушно, — продолжал я, — мне дается не морское, а дипломатическое дело. Я в таковых не вращался и сильно сомневаюсь... Ну, как эта особа и впрямь объявит свои права?

— О том-то я и думаю, — ответил граф. — Легко может статься, что она истинный царский отпрыск, нашей матушки Елисаветы кровь! На все надо быть готовым. Старайся, Концов: не забудутся твои услуги. И прежде всего помни: надо княжне, как женщине, помочь деньгами, вывести ее из угнетенного положения... Почем знать? И для ее величества, государыни, авось, это будет приятно перед обществом. У нашей царствующей монархини сердце, ой, порою...

хоть и каменное... да и она, может, сжалится, смягчится впоследствии.

Граф более и более меня поражал.

«Вот, — мыслил я, — удостоился чести, кого к себе расположил! Теперь ясно: граф не изменяет, хоть человеколюбие и увлекло его до смелого ропота и некоих сильных укоризн! Влияние Орловых пало, граф, очевидно, задумал уговорить претендентку отказаться от ее прав.»

Путь, указанный графом, стал мне понятен. Я собрался и уехал с искренним увлечением в точности исполнить порученное мне дело.

Это было в начале февраля текущего 1775 года. Кажется, так недавно, а сколько испытано, пережито.

Достигнув Рима, я отыскал графского посланца, явившегося туда ранее меня. То был лейтенант нашей же службы, как говорят, грек, а скорее полунемец, полуеврей, Иван Моисеевич Христенек. Я ему отдал порученные мне бумаги и стал его расспрашивать о предмете нашей миссии. Черный, как жук, невысокий, юркий и препротивный человек, Христенек все улыбался и говорил так вкрадчиво, а глаза чисто воровские, разом глядят и в душу, и в карман.

Я узнал от Христенека, что княжна занимала в Риме на Марсовом поле несколько комнат в нижнем ярусе дома Жуяни. Здесь она проживала в большой скрытности и недостатках во всем: за квартиру платила пятьдесят цехинов в месяц и имела всего три прислуги, ходила лишь в церковь и, кроме друга, аббата-иезуита, да, по своей хворобе, врача, не допускала к себе никого.

Христенек, присланный графом, переодетый нищим, тщетно бродил более двух недель возле двора Жуяни, ища свидания с его уединенной жилицей. Ему не доверяли и, как он ни бился и ни упрашивал прислугу, к ней не допускали. Он повел меня на Марсово поле.

Дом Жуяни стоял уединенно и особняком, в глубине двора, прикрытый спереди небольшим тенистым садом. Я по-

дошел к двери и тихо ударил скобой. Из окна, увитого виноградными лозами, выглянула сперва незнакомая мне горничная княжны, дочь прусского капитана Франциска Мешеде, потом видевшийся со мной в Рагузе секретарь княжны Чарномский.

— От кого? — спросил он, с робким недоверием оглядывая меня из-за полураскрытой двери.

Я его едва узнал — куда делась его щеголеватость и самоуверенность! Наряд на нем был приношенный, волосы не завиты, щеки без румянца, а в ушах простенькие, недорогие серьги.

— От графа Орлова, — ответил я.

— Есть письмо?

— Да вы пустите меня.

— Есть письмо? — повторил, уже принимая нахальный вид, секретарь княжны.

— Собственной графской руки, — ответил я, подавая пакет.

Чарномский схватил письмо, бегло взглянул на его немецкую надпись, как бы растерявшись, несколько помедлил и скрылся. Прошло две или три минуты. Дверь быстро отворилась. Я был впущен.

— Ах, извините, извините! — сказал, отвешивая поклоны, Чарномский. — Представьте, ведь я вас не узнал в мундире, вы так изменились; пожалуйте, милости просим... желанный гость!

Он до того изгибался и юлил, что мне показался смешным и жалким.

Княжна приняла меня в небольшой горенке, выходившей окнами в задворный, еще более уединенный сад. Здесь уже не было ни дорогих штофных обоев и бронз, как в Рагузе, ни золоченой мебели, ни всей недавней роскоши. Сама всероссийская княжна Елисавета Тараканова, принцесса Владимирская, dame d'Azow и пленительница персидского шаха и немецких князей, лежала теперь больная на кожаной софе, прикрытая теплой, голубого бархата мантильей, и в туфлях

на куньем меху. В комнате было холодно и сыро. Тощее пламя чуть мигало в камине.

Я не узнал княжны. Ее истомленное, заострившееся лицо, с ярким румянцем на щеках, было еще обворожительно. Глаза улыбались, но они уже были не те: они напоминали взор красивой, дикой, смертельно раненной серны, избегшей погони, но понимающей свой близкий конец.

— А, наконец и вы! — робко сказала она, улыбаясь. — Вы привезли ответ графа на мое письмо... я прочла... благодарю вас... Что скажете еще?

— Граф ваш покорный слуга и преданный раб, — ответил я, повторяя порученные мне слова. — Он весь к вашим услугам и у ваших ног.

Княжна привстала. Оправив пышные волны светлых, без пудры волос, она, осиливая смущение, дружески протянула мне руку, которую я почтительно решился поцеловать.

— Меня все, за исключением двух близких лиц, бросили, — произнесла она, сильно и судорожно кашляя в прижимаемый к губам платок, — притом я несколько некстати и приболела... это, впрочем, пустяки!.. Не будем об этом говорить... Но я, право, без всяких средств... Князь Радзивилл, его друзья и помогавшие мне французы — верите ли? — все меня оставили, скрылись... И все это сделалось так неожиданно, скоро... Едва ваша армия заключила мир с Турцией, услужливые магнаты-поляки бросили меня. Я им это вспомню. А теперь скажу откровенно, — прибавила она, улыбаясь, — ну, я совсем, как есть, без денег, ни байока... нечем платить доктору, за провизию; кредиторы осаждают, грозит полиция, ведь это ужас, нечем жить.

Проговорив это, княжна опять немилосердно закашлялась и устремила на меня растерянный, молящий взгляд. Прежней уверенности в нем не было и следа.

— Ваша светлость, — сказал я, выполняя данную мне инструкцию, — вот небольшая помощь, предлагаемая вам

графом. Сколько здесь, я не знаю, но граф предлагает это искренне, от души.

Я вынул и подал княжне запечатанный шифром графа его кредитив на имя римского банкира Дженкинса. Она прочла бумагу, провела рукой по глазам, взглянула на меня и опять закашлялась.

— Как! — вскрикнула она, с блаженной улыбкой прижимая к груди бумагу. — И это истина, не шутка?

— Столь важный и высокий сановник, как его сиятельство граф Орлов, — ответил я, — в таких делах не шутит.

Княжна стремительно вскочила с софы, захлопала в ладоши, как дитя, со смехом и слезами, быстро меня обняла, вскрикнула что-то и выбежала в смежную комнату. Там послышался ее крик: «Безграничный кредит!» — и вслед за тем ее громкое, истерическое рыдание. Прислуга засуетилась. Вошел бледный, взволнованный Чарномский.

— Ее высочество так вам благодарна! — сказал он, с чувством пожимая мне руку. — Вы первый помогли, не изменили данному слову... Это так редко, княжна, впрочем, недаром колебалась — ее столько обманывали. И наши, неблагодарные, поманили ее и бросили... граф ее приглашает в Болонью, согласится ли она, не знаю, но надо надеяться, что она решится и последует на зов графа... Она бесстрашна, предприимчива, смела, как рыцарь, и для дорогого ей дела, верьте, не побоится ничего.

— Могу ли я это сообщить графу? — спросил я.

— Подождите некоторое время... в ее положении... притом она, как видите, больна, — ответил Чарномский, — зайдите через день, через два, вам дадут знать. А пока все держите в величайшей тайне.

— Но здесь есть другие русские, — сказал я. — Они вхожи к княжне, могут ей повредить; кто они?

Чарномский, покраснев и смешавшись, искоса взглянул на меня и ответил, что об этом не знает ничего. Я удалился. Прошло несколько дней; известий о княжне не было. Мы с Христенеком бессменно сторожили в соседних австериях,

поглядывая, кто посещает княжну и что будет далее. Первые дни вкруг дома Жуяни все было тихо, пустынно. Несколько раз подъезжал врач, проходила в дом какая-то женщина в черном, с черною вуалью на голове, по-видимому, монахиня. Она подолгу оставалась у княжны. Раз, под вечер, слуга к ограде дома подвел красивую наемную карету. Из ворот, укутанная голубою мантильей, пошатываясь, вышла и села в карету женщина.

— Княжна! — сказал я Христенеку. — Надо выследить, куда поедет.

Мы крикнули извозчика и поехали следом. Карета с опущенными занавесками быстро понеслась переулками, выехала на корсо и остановилась у банкирской конторы Дженкинса. Было ясно: магический ключ графского кредитива отпирал доступ к доверчивой, смелой красавице.

XI

Прошла еще неделя. От княжны не было известий. Я несколько простудился и сидел дома; ходивший же наблюдать Христенек объявил с досадой, что чуть ли нас преважно не провели: княжна не думала собираться в Болонью.

Она, как узнал соглядатай, расплатилась с долгами. Кредиторы и полиция, грозившие ей арестом, успокоились и более ее не осаждали. Дом Жуяни на диво преобразился. У его ворот днем и по вечерам толпились экипажи. Штат княжны снова увеличился. Она заняла оба яруса обширного дома Жуяни, накупила нарядов, по-прежнему выезжала, посещала гулянья, галереи картин и редкостей, принимала гостей и держала открытый стол. Кстати, в это время Рим был особенно оживлен: в нем происходили выборы нового папы, на место умершего Климента XIV.

Салон княжны по вечерам навещали известные живописцы, музыканты, писатели и духовная знать. Незнакомка в черном платье в это время почти не показывалась. Я од-

нажды только видел ее у ворот дома Жуяни. Встретясь со мной, она отвернулась с досадой и, как мне померещилось, произнесла как бы что-то по-русски. Я рассмотрел только ее золотистые, с сильною проседью волосы и гневом пылавшие, серые, еще красивые глаза. Из окон княжны слышались по временам звуки арфы, на которой она весьма искусно играла, толпа уличных зевак и оделяемых щедрою милостынею нищих до поздней ночи стояла у сквозной ограды ее дома, глазея во двор и оглашая криком и рукоплесканиями пышные, с кавалькадами, выезды княжны.

Я выздоровел и лично видел, как снова, то в красивых экипажах, то верхом на бешеных скакунах, она носилась по площадям и улицам, по-прежнему беспечна, нарядна и весела. Я невольно радовался за бедную, которой, как женщине, через меня была оказана такая поддержка. Одно было досадно: приставленный мне в помощь Христенек начинал намекать как бы на недоверие графа ко мне.

Рим заговорил о красивой гостье, как о ней говорили Венеция и изменившая, под конец даже ей враждебная, Рагуза. Христенек проведал, что банкир Дженкинс отсчитал ей от имени графа Орлова десять тысяч червонцев. Ожившая красавица мотала полученные деньги с безумною расточительностью, не помышляя, что им когда-нибудь настанет конец. Однажды и я был приглашен на ее вечер. Княжна казалась пышным солнцем среди окружающих ее звезд. Она играла на арфе с таким чувством, что я был глубоко тронут. Об отъезде, однако, не объяснила, а лишь мимоходом сказала:

— Будьте покойны, все устроится.

По совету Христенека дня через два я письменно напомнил княжне о графе. Ответа долго не было. Мы терялись в догадках; но вот однажды мне подали от нее записку с приглашением на свидание в церковь Санта-Мария-делли-Анджели.

Был вечер. Я тихо вошел в полуосвещенную, пропитанную запахом ладана церковь. Свечи у икон кое-где мерцали.

Таинственная тишина наполняла пустынный сумрак колонн и молелен. В наиболее уединенном месте, скрытая выступом боковой молельни, с книжкой в руке, стояла в бархатной, модной накидке, под вуалью стройная, худощавая особа. Я узнал княжну.

— Желание добра и всех благ моему отечеству, России, и всем моим будущим подданным, — сказала она, склоняясь над молитвенником, — во мне так сильно, что я решилась и принимаю приглашение графа. Прежде он меня пугал, я ему не верила, теперь верю. Видите, я сдержала слово: моим друзьям я объявила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в отдаленный монастырь, где постригусь... Вам скажу другое.

Она помедлила, как бы собираясь с силами.

— Завтра я еду, — произнесла она с некоторою торжественностью, — только не в монастырь, а с вами к графу Орлову. Вы не предадите меня, не измените мне?

Я молча поклонился. Что я мог ей ответить — я, верный слуга государыни? Взор княжны пылал восторгом, надеждами; в нем не было колебаний и сомнений: передо мной стояла глубоко убежденная женщина, жалость к которой невольно охватывала меня.

— Итак, до завтра! В путь...

«Ну, слава Богу! — подумал я. — Граф теперь ее отговорит, устроит ее.»

Она крепко сжала мне руку, хотела еще что-то сказать и быстро вышла. Я также направился к порогу церкви. От урны с святой водой отделилась другая женщина. Она преградила мне дорогу. Я узнал в ней особу в черном, ходившую в дом Жуяни.

— Концов! — шепнула она с негодованием по-русски, отталкивая меня в сторону, за колонны. — Вы... вы предатель?

— Как можете вы так говорить? Кто вы? — спросил я. — Если вы русская, назовите себя.

— Вам дела нет до моего имени; но вы в заговоре против этой особы... уговорили ее ехать... ее тянут в западню, —

шептала по-русски, в волнении незнакомка, сжимая мне руку. — Клянитесь... или вы изверг, такой же злодей, как те, что научили погубить другого, такого же неповинного... в Шлиссельбурге...

Мне вспомнились рассказы бабушки о кровавой драме Мировича.

— Успокойтесь, — сказал я, — перед вами честный человек, офицер... я исполняю свой долг и убежден, что княжну ожидает только улучшение ее судьбы.

Незнакомка молча указала мне на образ Богоматери.

— Повторяю, — прошептал я, — княжна в безопасности; ее доля переменится к лучшему.

Она выпустила мою руку, склонилась и тихо вышла из церкви.

Я долго следил за нею глазами, стараясь угадать, кто она и почему принимает такое участие в княжне.

XII

Было двенадцатое февраля. День стоял особенно сиверкий и прохладный, хотя и светлый. Княжна поместилась со свитой и слугами в несколько экипажей. У церкви Сан-Карло она раздала нищим богатую милостыню и, провожаемая толпой артистов и знати, среди гама и криков народа, бежавшего за нею и махавшего шляпами, направилась к выезду из Рима. Прописавшись в городских воротах под именем графини Селинской, она выехала на флорентинскую дорогу. Я поскакал вперед, Христенек следом за нею.

Шестнадцатого февраля княжна приехала в Болонью. Графа не было в этом городе, он ее ожидал в своем, более уединенном, пизанском палаццо. Шумный поезд и толпа слуг княжны, в несколько десятков человек, озадачили графа. Он, впрочем, принял гостью отменно ласково и почтительно, отвел ей невдалеке от себя приличное помещение, окружив ее всеми удобствами и относясь к

ней точно верноподданный, при посторонних перед нею даже не садился.

Наступили дивные дела. О чем граф говорил с княжной и какие повел относительно нее негоции, про то никому не было известно. Мы угадали только, и весьма скоро, что тут оказалась азартная игра в любовь.

И действительно, княжна вскорости поселилась в графской квартире, ее свита и слуги остались в ближних домах. Христенек с приездом княжны стал видимо меня оттирать и, точно вся удача была делом его рук, выдвигался вперед. Я этим с гордостью и презрением пренебрег, так как граф не мог не видеть, что лишь моему влиянию был обязан приездом сюда княжны.

Разнесся слух, что Алексей Григорьевич подарил княжне разные вещи, в том числе медальон со своим миниатюрным, на кости, портретом, осыпанный дорогими камнями, и что с ее появлением даже покинул свою любимую дотоле фаворитку, красивейшую и премилую госпожу, жену богача Александра Львовича Давыдова, урожденную также Орлову.

Сомнения не было, новая очаровательница полонила сердце графа, нашего исполина. Лев влюбился в легкокрылую бабочку. Ослепленный ею, граф даже не стеснялся: ездил с нею открыто везде — на гулянье, в оперу, в церковь.

Княжна удостоила призывать и меня, расспрашивала о том о сем и подтвердила, что доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал любезностями. Христенек, видя снова мое предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый грек стал жаловаться, что княжна его обидела невниманием в Риме, что он с этим не может помириться, и она, с позволения графа, поднесла ему патент на полковничий чин. Меня обошли. Я снес и эту выходку, видя довольство мною графа и княжны, чему вскоре увидел доказательство.

— Ну, Концов, — сказал мне однажды граф, — честь тебе и хвала, что ты дал мне случай угодить такой особе. Надо ей и на будущее устроить спокойное и безбедное житье. Не правда ли, что за прелесть! Какой живой, обво-

рожительный ум! Скажу откровенно — хоть бы жениться, бросить холостой удел...

— Что же, ваше графское сиятельство, — отвечал я, — за чем дело стало?

— Упирается, братец, говорит — соглашусь, когда буду на своем месте.

— То есть как, извините, на своем?

— Не понимаешь?.. Когда будет в России, дома — ну, когда государыня смилуется и удостоит признать ее права.

— И в том есть надежда?

Орлов задумался.

— Полагаю, — сказал он, — дело возможное, только не повредили бы ей здешние друзья... Сильно следят тут за нею эти поляки и всякое иезуитство; еще, пожалуй, окормят нас, застрелят или попадет где в переулке под наемный кинжал. Нужная для их смут особа...

Глаза графа смотрели тревожно; его открытое, смелое и умное лицо, видимо, было смущено. Сердечная страсть, как бы против его воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в каждом его слове.

Прошел день. Граф не расставался с гостьей.

— Вот беда, ума не приложу, — сказал он как-то, позвав меня, — бьюсь, бьюсь, не слушает... Если бы нашелся пособник, если бы кто ее уговорил...

— В чем? — спросил я.

— Тайно обвенчаться и бежать.

— С кем?

— Со мной...

— Что вы, ваше сиятельство? Куда?

— Хоть на край света... Да, кстати, уговори ее не носить при себе пистолетов; она чуть на днях в запальчивости не убила свою служанку Франциску...

Произнеся такое признание, атлетический, красивейший из смертных богатырь-граф стоял с краской в лице и с опущенными, как у влюбленного юноши, глазами, робко ожидая моего приговора. Что было ответить? Я в смущении про-

молчал, но и здесь, как и во всем и всегда, решил остаться его преданным и покорнейшим слугою. Дело шло о свадьбе, что же тут дурного? Женясь на ней, граф шел на зов сердца, а вместе выигрывал и в положении: роднясь с царскою кровью, обращал претендентку в скромную графиню Орлову.

...Прерываю рассказ, обращаясь к действительности, к бедному нашему фрегату. Боже, что за ужас! Истерзанный бурей «Северный орел» пять суток уносился течением неизвестно куда. Тщетно производили вычисления, промеры. Сегодня, с рассветом, мы прошли за Испанией, невдалеке от африканских берегов, мимо каких-то диких каменистых островов. Давали знаки. В тумане нас никто не заметил. Днем я, отбыв свою очередь, стоял на вахте. Нестерпимый, знойный береговой ветер и безбрежная ширь взволнованного, рокочущего между скал моря, корабль без мачт и руля, общее отчаяние и ни малейшей надежды спастись — вот что было перед глазами. Первый подводный камень — и все мы идем ко дну.

Ирен, далекая, ненаглядная изменница! Видишь ли ты мучения отверженного тобой, бесславно гибнущего изгнанника?

...Ночь. Снова тишина. Я опять в каюте. Господь Вседержитель! Дай силы пережить хотя бы еще сутки, дописать начатое.

XIII

Истомленная команда уснула. Бодрствуют одни часовые да я.

Приступаю к изложению тягчайшего испытания жизни. Оно-то, это испытание, и составляет главнейший предлог настоящей исповеди — да прочтутся эти строки тою, по чьей вине я скитаюсь на чужбине, а через то невольно помог

совершиться деянию, назначенному мне быть в вечный суд и укор.

Это было в Болонье, куда переехал граф.

Княжна пожелала меня видеть, ласково попросила сесть и села сама. Вижу: опять у нее на щеках багровые пятна, глаза горят и вся она как бы вне себя.

— Лейтенант, я вам по тайности сообщу одно дело, — сказала она, оглядываясь.

— Слушаю, ваша светлость, можете во всем на меня положиться, — ответил я.

— Граф уезжает завтра утром в Ливорно. Слышали вы это?

— Знаю, — ответил я.

— Там, видите ли, произошла ссора и драка англичан-матросов с русскими, и графа туда приглашает его приятель английский консул Дик.

— Что же, — произнес я, — дело пустое, скоро уладится, и граф возвратится.

— Он меня зовет с собой... Что, если я не соглашусь и с ним не поеду? — спросила княжна. — Как вы думаете? Он не бросит меня, как другие, не скроется навсегда?

— Помилуйте, — ответил я, исполняя мысли графа, — это простая прогулка; отчего бы вам и в самом деле не поехать с графом? Погода отменная, приятно провести вместе такой вояж.

— Да, — ответила она задумчиво, — хотелось бы и мне взглянуть на этот город и на ваш флот; граф так хвалит родных моряков.

— И прекрасно, за чем же дело стало? — сказал я, размышляя: «Да! Задело графа за ретивое, не хочет с нею расстаться и на малый срок».

— И еще одно, — произнесла княжна, собираясь с мыслями.

Вижу: в ее глазах слезы, губы вздрагивают, она глядит на меня и будто меня не видит.

— Слушайте! — проговорила она, схватывая меня за руку. — Вы честный человек... граф мне сделал предложение, сватается за меня... Что вы скажете?

Я почтительно встал.

— От всего сердца поздравляю, — искренне ответил я с поклоном, — ваши достоинства победили, удивительного нет.

— Не обманет он меня? Не предаст? — заговорила княжна вполголоса, опять оглядываясь, а губы, вижу, белые и вся вне себя. — Скажите мне правду, заклинаю вас, молю!.. Видите, я по вашему совету уже не ношу оружия, оно обижало его...

Мне пришло в голову, что в эту поездку граф мог решиться обвенчаться с нею.

— Помилуйте, ваша светлость, — сказал я и вечно буду помнить это мною сказанное роковое слово, — чего опасаетесь? Да граф в вас до безумия влюблен, мне это хорошо известно; он спит и видит, в мыслях помутился, даже хотел с вами бежать.

— Так это истина? Клянитесь вашею матерью, отцом, — произнесла она, стискивая мне руку.

— Как перед Богом! Сам от него наедине слышал: он удостоил меня откровенности... А между тем, что я для него? Мелкий подчиненный, ничтожество... Он так искренне говорил...

Княжна устремила взгляд на походный, висевший в ее комнате образок Спаса в терновом венке и несколько мгновений оставалась в неподвижности, как бы горячо и усердно молясь.

— Смелые только и живут! — произнесла она, вставая и выпрямляясь. — Как жену, он не предаст меня, не может предать... я еду... но помните, даром не отдам свободы и сердца... чему быть, то сбудется на днях...

Я от души вновь поздравил княжну.

— Еще слово, Концов, — остановила она меня, — скажите, да так же, как перед Богом, по совести, действительно

ли это тот Орлов, который помог вашей императрице взойти на престол?

— Он самый.

— Молодец, герой! — воодушевленно вскрикнула княжна. — Эввива[1]! Отважный Сид, Баярд! Божья искра дает таким смелость и величие души.

Я ушел, полный радости за исход дела, хотя тайная мысль шевельнулась во мне: «А знает ли княжна о другом, последующем подвиге графа? И почему я не сказал ей об этом его тяжком, ничем не замолимом, черном грехе?»

Я исполнял долг службы, волю начальства, но вместе жалел эту женщину. Тяжелые сомнения охватили меня, не дали в ту ночь спокойно спать.

«Долг долгом, а что, если?.. Пойти утром, — шептал мне внутренний голос, — предупредить ее... время не ушло; пусть лучше и строже все обдумает и сама решит.»

Чуть взошло солнце, я оделся и поспешил к дому графа. У крыльца толпился народ, подъезжали запряженные экипажи. Я протискался сквозь толпу. Граф с княжной уже сидел в коляске, в другом экипаже был Христенек, в третьем — часть прислуги.

— Садись, Концов, тебя только ждали! — крикнул граф.

Я бессознательно сел в экипаж к Христенеку. Поезд двинулся. Утро, после небольшого дождя, было светлое, тихое.

— Что видите вы во всем этом? — спросил меня Христенек, когда выехали.

— В чем?

— Да этот-то вояж?

— Не знаю и знать не смею, — ответил я.

— Завтра быть парочке молодых, — улыбнулся он, — обвенчаются.

---

[1] Да здравствует! (*итал.*)

— Но где же церковь?

— А флотская на что? Взойдут на адмиральский корабль, там живо их и повенчают. Для того, видно, она и согласилась туда ехать...

— Так это верно?

— Еще бы, ужели не видите?.. Граф — точно на крыльях; трудно было верить, а из сказки выходит быль.

В Ливорно графа Орлова встретил командир нашей эскадры адмирал Самуил Карлович Грейг. Ездили потом граф и княжна с визитами к нему и к консулу Дику, катались с консулом, его женой и всей компанией в окрестностях и совершили прогулку в катерах по морю, с музыкой, везде провожаемые любопытной гонявшейся за ними толпой.

Вечером, во второй день пребывания в Ливорно, граф с княжной были в опере. Когда они возвратились, я из сеней отведенного графу роскошного приморского палаццо приметил сходившего с графского крыльца другого проныру, тоже грека нашей службы, Осипа Михайловича Рибаса, или Де Рибаса. Этот был тоже вроде Христенека, черен, как жук, но выше ростом и менее подвижен. Их у нас так и звали: жук и жуколица. Де Рибас, как я узнал, еще ранее меня и Христенека ездил с разведками о княжне в Венецию.

— Прощай, поп, — засмеялся граф в окно Де Рибасу, — не забудь только ризы...

«Риза... и почему поп?» — терялся я в догадках, стоя у мраморной колоннады крыльца, с которого был великолепный вид на голубое безбрежное море и эскадру.

XIV

Двадцать первого февраля была особенно приятная, почти летняя погода. В небесах ни облачка, на море тихо и везде как-то празднично-радостно.

У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богато и со

вкусом наряжена, бойка и весела. Куда делась хвороба: щебетала с прочими гостями, гуляла по эстраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей веер и перчатки, то заботливо брал у слуг и подносил ей прохладительное. Мы видели: он не спускал с очаровательницы влюбленных, потерянных глаз. И она как бы переродилась, поздоровела, куда делся ее болезненный вид! Ее рыцарь, укрощенный лев, был у ее ног.

— Каков наш селадон, — шепнул Христенек, поглядывая на меня. — Как на покое-то, на чесменских лаврах, не пропускает герой иных побед!

Адмирал Грейг, по природе угрюмый, сосредоточенный и важный, был несколько рассеян, сидел с опущенными глазами и, как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда были видны море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Дамы заговорили о приятности прогулки на парусах.

— Когда же, граф, покажете ваши корабли? — спросила княжна. — В Чивитавеккья вы устроили примерное сражение под Чесмой, осчастливили других, не удостоите ли и нас?

— Все готово! — ответил, вставая и почтительно кланяясь, Орлов.

Общество двинулось к морю.

Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почтителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги ее зонтик и, развернув его над нею, шел рядом с ней, осыпая ее нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители, любуясь его генеральским, темно-зеленым с красными отворотами, раззолоченным мундиром и величественной осанкой, кричали «виват!» и шептали: « Вот парочка!»

Все уселись в поданные шлюпки и катера; с княжной в раззолоченный, по-царски убранный катер поместились ад-

миральша Грейг и консульша Дик; граф сел с адмиралом, а мы — свитские — с слугами княжны.

Катера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особой пышностью: везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы — на мачтах и реях. На всех судах заиграла приятная музыка. Волны слегка колыхались. Дальний берег был усыпан любопытствующими.

С адмиральского корабля «Три иерарха» спустили разукрашенное кресло и в нем подняли с катера княжну, а за нею и прочих дам. Мы взошли по трапу.

Едва дамы вступили на борт, со всех сторон раздалось дружное «ура!» и загремела пушечная пальба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов и здесь произведет маневры с сожжением, для примера, негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас направлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам.

На корабле «Три иерарха» была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощением, нося на палубу вина, сласти и плоды. Потчевали и нас. В кают-компании начались танцы. Молодежь с дамами усердно танцевала контрданс и котильон. Адмиральша и консульша особенно ухаживали за княжной.

Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними, разговаривая друг с другом, сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не в себе и несколько сумрачен.

— Будут венчать графа и княжну, — сказал кто-то из офицеров вполголоса товарищу.

Я обомлел.

— Почему же здесь? — спросил тот, кому это было сказано. — Что за таинственность и поспешность?

— Русской церкви нет ближе; адмирал уступил корабельную — княжна потому и приехала в Ливорно и на этот корабль.

Спустя некоторое время по особому зову под палубу спустились кое-кто из свитских, в том числе и молча переглянувшиеся оба грека нашей службы, пронырливые и ловкие Рибас и Христенек. Мне при этом почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибасу: «поп и риза». Духовенства на корабле между тем не было видно.

Палуба несколько опустела. Офицеры ходили, весело беседуя и наводя лорнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы.

Под палубой между тем произошло нечто доныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны и все при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнение слова, данного княжне, совершилось само венчание ее и графа и что роли иерея и дьякона при этом кощунственно играли переряженные в церковные флотские одежды Христенек и Рибас: первый был дьяконом, а второй — попом.

Но я забегаю вперед. Надо возвратиться на палубу «Трех иерархов».

Нет сил, сердце надрывается и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увидел. И где бы я ни был, останусь ли чудом Господним жив или погибну в безднах волн, воспоминание об этом не умрет во мне до последнего вздоха.

Палуба оживилась. Все бывшие в каюте снова взошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке. Слышались остроты, смех. Слуги разносили прохладительное и вино.

Княжна сидела у борта. Поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе. Я ей помог надеть мантилью.

— Ввек не забуду! — шептала она, с восторженною, блаженной улыбкой горячо пожимая мне руку. — Вы сдержали слово: сон сбывается, я буду скоро в России, а там,

отчего не надеяться?.. Провозгласят и будущую царицу Елисавету Вторую... Век чудес! Чем была давно ли сама нынешняя императрица?

Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущенный безумным бредом ослепленной женщины.

С «Трех иерархов» в это время дали знак особым флагом. Раздались новые пушечные салюты. Загремело «ура!». На всех кораблях опять заиграли оркестры.

Эскадра начала маневры.

Восхищенная общим вниманием будущих подданных, княжна, облокотясь о борт, стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начавшимся движением кораблей. Как теперь, вижу ее в голубой бархатной мантилье, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке.

Забылся при этом и я, рассуждая: «Да, дело сделано! Граф нашел подругу жизни, сумеет ее наставить и, вразумив, поспешит с нею к стопам милосердной императрицы».

XV

— Ваши шпаги, господа! — раздался вдруг поблизости от меня громкий, настойчивый голос.

Я оглянулся.

Капитан гвардии Литвинов обращался поочередно к адъютантам и к прочей свите графа, отбирая у всех шпаги. Вооруженные матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грейга, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумлении, вслед за другими, также подал капитану шпагу.

Княжна, заслышав бряцание ружей и говор, быстро обернулась. Ее лицо было бледно. Она мигом все поняла.

— Что это значит? — спросила она по-французски.

— По именному повелению ее императорского величества вы арестованы! — ответил ей на том же языке капитан.

— Насилие? — вскрикнула княжна. — На помощь!.. Сюда!

Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые хмурые лица матросов удивленно и молча смотрели на нее.

Литвинов преградил ей дорогу.

— Нельзя, — сказал он, — успокойтесь.

— Вероломство! Проклятие! — бешено проговорила она. — Так поступать с женщиной, с прирожденной вашей княжной! Слышите ли? Дайте дорогу! — кричала она солдатам по-французски. — Где граф Орлов? Позовите, ведите его... Вы ответите за все!

— Граф, по приказанию государыни и адмирала, также задержан, — ответил ей, вежливо кланяясь, Литвинов, — он арестован, как и вы...

Княжна громко вскрикнула, отступила... Ее гаснущий взор заметил меня в стороне. Он с укоризной, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря: «Ты виновник, ты погубил меня...» Она пошатнулась и упала без чувств.

Матросы снесли ее в каюту.

Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и под строгим надзором перевезена на другой корабль.

Потрясенный до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я был вне себя и опомнился в какой-то полутемной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти со мной, под караулом, сидит и сам главный предатель, Христенек. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно. Развалясь и доедая что-то прихваченное из сластей, он изредка поглядывал на нашу затворенную дверь.

— Удивляетесь? — спросил он меня. — Не правда ли, ведь чудеса?

— Да, есть чему подивиться, — ответил я, насилу одолевая к нему отвращение.

— Иначе было нельзя, — сказал он.

— Почему?

— Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений.

— Но для чего было играть чувствами, сердцем! — проговорил я, не стерпев.

— Иначе ее не заманили бы на флот.

— Были другие способы, — возразил я. — Мне известно, граф клятвенно признавался ей в любви, а, став его женою, она и без того охотно доверилась бы нашей эскадре.

— Эх, любезный Концов, простота! — проговорил с улыбкой грек. — Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я под его диктант и от его имени писал государыне, что здесь, для уловления этой авантюрьеры, решились на все, хоть, без дальнейших слов, камень ей на шею да в омут.

— Что же вы и впрямь ее не утопили? — смело воскликнул я, не помня, что говорю. — Это не в пример было бы лучше для обманутой, несчастной, чахоточной...

— Проживет еще, — сказал Христенек. — Повелено схватить ловко, без шума, в точности и исполнили.

Я с негодованием слушал эти холодные, жестокие слова. Издевательство наглого грека выводило меня из себя.

— Ну полно, друг, — произнес Христенек, — успокойте рыцарские свои чувства, все пустяки! В наше время, помните, главное — отвага и в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел — могуч и богат, не успел — бедность или, того хуже, — Сибирь. Вставайте-ка лучше, разве не видите? Пора...

Подняв голову, я увидел, что наша каморка уже отперта и за дверью, улыбаясь, гурьбой стояли подгулявшие и веселые прочие моряки.

Меня и грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили

выпить и отпустили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия.

Настал вечер. Улицы Ливорно шумели негодующею, взволнованною толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошел окольными переулками за город и оттуда на взморье.

XVI

Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слезы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир. «Как, — мыслил я, — совершилось такое безбожное, вопиющее дело! И я во всем этом был соучастник, пособник?» Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчет и предательство того, кому я был так предан и кто не постыдился играть священнейшим чувством — любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я ее вообразил себе душевно истерзанною, в тюрьме, может быть, в цепях, под охраной грубых солдат. «И в какое время это сделалось? — мыслил я. — Когда так нежданно все ей улыбалось, исполнялись все ее золотые, несбыточные грезы и мечты. Она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела наконец у своих ног первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики, пальба. Что она должна была чувствовать, что пережить?»

Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы, верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей.

«Позор, позор! — шептал я себе. — Граф Орлов навек запятнал себя новым, еще более черным делом. Ни чесменские, ни другие лавры не укроют его отныне перед людским и Божьим судом. А с ним, по заслуге, ответим и все мы, его пособники в этом поступке.»

Отчаяние и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишить себя жизни.

«Нет, кайся, всю жизнь кайся! — твердил во мне внутренний голос. — Ищи искупить, как свой тяжкий грех.»

С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих, более близких, судов послышались звуки зоревой музыки. Там молились. Море одевалось сумраком. У брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни.

Я встал и, еле двигая ноги, побрел в город. Там меня ожидал ординарец графа. Я пошел за ним.

— Ну, Концов, признайся, удивлен? — спросил, встретив меня, Алексей Григорьевич.

Язык отказывался мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот, наделенный всеми благами жизни богатырь, этот лихач и умница, осыпанный почестями сановник, еще недавно мой кумир, был теперь мне противен и невыносим.

— Ты думаешь, я не помню, забыл? — продолжал он, как бы избегая на меня глядеть. — Ведь главнейше я тебе во всем обязан... Не будь тебя и ее веры в твое участие, не так бы легко сдалась пташка...

Слова графа добивали меня. Я стоял ошеломленный, растерянный.

— Может быть, тебе неизвестно, — как бы в утешение мне, сказал граф, — успокойся... из Петербурга, насчет этой дерзкой, всклепавшей на себя несбыточное имя и природу, пришел несомненный приказ: схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял?

Я в смущении продолжал молчать.

— Самозванка в наших руках, — закончил граф, — воля монаршая соблюдена, и арестантку вскорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней... Это дело не одних чужих рук, замешан кое-кто и из наших вояжиров. В бумагах этой лгуньи оказались весьма знакомые почерки...

«Ты радуешься — будут новые аресты, розыски! — подумал я. — А что сам-то сделал, безжалостный, каменный человек?»

— Что же ты молчишь? — спросил граф.

— Город волнуется, — ответил я, — сходбища, крики, угрозы. Берегитесь, граф, — прибавил я, не преодолевая отвращения к нему. — Это не Россия... пырнут как раз.

— А ты вот что, милый, — нахмурился граф, — кто тронет тебя или кого другого из наших и станет грозить, укажи только на море... семьсот пушек, братец, прямо оттуда глядят! Махну ими, будет здесь гладко и чисто. Так всякому и скажи! А я их не боюсь...

«Хвастун!» — подумал я, холодея от злобы, и ушел от графа молча, даже не поклонившись ему.

XVII

Прошло еще несколько тяжелых, невыносимых дней. Ливорнцы, действительно, шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа, изредка кидая в ворота камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали вокруг наших кораблей, ожидая, не увидят ли где в окно несчастную пленницу.

Меня посылали на «Трех иерархов». Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер: в открытом окне «Трех иерархов» виднелось припавшее к решетке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он, в плеске волн, замечен с корабля — не знаю.

Матросы усердно ложились на весла. С моря дул свежий ветер. Лодка быстро неслась, ныряя по расходившимся волнам.

Прошел слух, что эскадра на днях снимается. Куда было ее назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу, в комнату кто-то вошел. Оглянулся — у порога стояла черная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку церкви Санта-Мария. Примятый и запыленный наряд показывал, что она недавно с дороги.

— Узнали? — спросила она, откидывая с головы вуаль, причем ее золотистые кудрявые волосы оказались еще более седы.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Так-то вы ручались и уверяли? — произнесла она, подступая ко мне. — Где же ваши уверения, что вы честный человек?

— Выслушайте меня... я не виноват, — начал я.

— Изверги, злодеи! — вскрикнула она. — Устроили западню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы покойны? Ошибаетесь — час расплаты близок, он настанет...

Она так приступила ко мне, что я подался в угол, к открытому окну. Окно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, приметив, что в саду в это время не было никого. Шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно и разубедить которую, как мне казалось, было трудно.

— Вы не виноваты? — спросила она. — Не виноваты?

— Да, я действовал честно! Вы увидите, я докажу...

— Отвечайте... Вы советовали княжне ехать? Убеждали ее?

— Убеждал...

— Говорили ей о возможности брака с Орловым? Не прибегайте к увերткам, слышите ли, мне нужен прямой от-

вет! — твердила эта женщина, в крайнем волнении и вся трясясь.

— Брак мне был заявлен самим графом, он клятвенно уверял.

— А, вероломные предатели! Смерть тебе! — неистово вскрикнула незнакомка, взмахнув при этом рукой.

Я не успел отшатнуться. В упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она, с искаженным от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила еще раз, и, к счастью, так же неудачно. Отняв у нее пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и, через силу поборов волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня.

Замкнув дверь прихожей, я возвратился к незнакомке. Я был в неописанном состоянии.

— Ах, ах! — твердил я. — Что вы сделали, на что решились! И за что, за что?

Гостья, припав к столу головой, в беспамятстве рыдала. Я прошелся по комнате и невольно взглянул в зеркало: на мне не было лица, я себя не узнал.

— Слушайте же, — проговорил я наконец гостье, не перестававшей плакать, — вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана.

И я начал рассказ.

— Вы видите, — сказал я, кончив, — Господь смилостивился, я жив... Объяснитесь же и вы...

Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она несмело взглядывала на меня, как бы моля о снисхождении, наконец также заговорила.

— Моя история более печальна, — сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели, — но я так перед вами виновата, так, — прибавила она, закрыв лицо руками, — вы никогда не простите меня.

— Успокойтесь, — произнес я, мало-помалу придя в себя. — Я готов, я забуду... все от Бога, все в его власти.

Незнакомка обратила ко мне бледное, убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала.

— Вы так великодушны, — прошептала она, — слышали ли о судьбе Мировича?

— Слышал.

— Я — виновница его покушения... Я его бывшая невеста, Поликсена Пчелкина.

Я остолбенел... Все подробности дела Мировича, слышанные мною десять лет назад от покойной бабушки, встали в моей памяти. Нагнувшись к гостье, я взял ее руку, стрелявшую в меня, и с чувством ее пожал.

— Говорите, говорите, — произнес я.

— В России оставаться мне было нельзя, — продолжала она как-то странно, скороговоркой, — десять лет я скиталась в разных местах, была в монастырях на Волыни и в Литве, служила больным и немощным. Будучи год назад опять за Волгой, я первая получила неясные сведения о княжне Таракановой, принцессе Азовской и Владимирской. Меня к ней вызвали таинственные, мне самой неизвестные лица. Вы поймете, как я к ней стремилась... Я искала с нею встречи. Снабженная от тех лиц средствами, я познакомилась с княжною сперва в переписке, потом лично в Рагузе и уверовала в нее. О, как я желала ей счастья, искупления прошлого! Я ее охраняла, учила родному языку, истории, снабжала ее советами. Я следила за нею с ее выезда из Рагузы до Рима, писала ей, заклинала остерегаться, убежденная, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете. Каков же был мой ужас, когда я узнала о ее аресте!.. Я останусь в Ливорно, буду ждать... О, ее освободят, отобьют ливорнцы... Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы Елисаветы?

— Не могу этого ни утверждать, ни отрицать.

— Я же в том убеждена, срослась с этой мыслью и не расстанусь с ней.

Пчелкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку, еще что-то хотела сказать и, пошатываясь, вышла.

— Добрый вы, мягкий!.. До лучших времен! — проговорила она, оглянувшись в калитке сада.

Я еще раз или два видел эту загадочную особу, навестив ее, по условию, в небольшой австерии, под вывеской лилии, у монастыря урсулинок, где она приютилась. У нее была надежда, что княжну могут спасти в Англии или в Голландии, куда должна была зайти по пути наша эскадра.

— Она... гонимая... ниспослана возродить отечество! — твердила Поликсена, когда я с ней расстался. — И я верю, она не погибнет, ее избавят, спасут.

В ночь на двадцать шестое февраля нашей эскадре, под флагом контр-адмирала Грейга, нежданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христенек с донесениями графа императрице поехал сухим путем. Ему было велено явиться в Москву, где в то время, после казни Пугачева, государыня проживала со всем двором.

Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно. Долее пребывать здесь ему было небезопасно. Раздраженные его поступком, сыны пылкой и некогда вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нем караул, почти не выезжал из дому и, боясь отравы, сидел на одном хлебе и молоке.

Я отправился несколько позднее. Мне как бы особым велением рока было приказано возвратиться на особо снаряженном фрегате «Северный орел». На этот фрегат взяли больных и немощных из команды и, между прочим, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа — картины, статуи, мебель, бронзу и иные

редкости. То были плоды графских побед и его усердных, в течение нескольких лет, приватных собираний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе и ее, столь схожий с императрицей Елисаветой, портрет.

Судьбы Божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но едва «Северный орел», нагруженный богатством графа, вышел из гавани, нас встретила страшная буря. Не мог я сказать фрегату: «Цезаря везешь!» Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль.

Более недели нас влекло течением и легким ветром вдоль африканских берегов к юго-западу. Все пали духом, молились. На десятые сутки, со вчерашнего дня, ветер окончательно затих. Я пишу... Но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве, безжизненный труп, плывет туда, куда его несут волны.

Еще минул безнадежный и тягостный день. Близится снова страшная, непроглядная ночь. Громоздятся тучи; опять налетает ветер, пошел дождь. Берега Африки исчезли, нас уносит прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатываясь через опустевшую, разоренную палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, тщетно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас, погибающих, никто не слышит. Трагическая, страшная судьба! Гибель на одиноком корабле, без рассвета, без надежд, с военною добычею полководца...

Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти ко дну? Оплата за деяния других. Роковая ноша графа Орлова не угодна Богу.

...Три часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова. Допишу и, если не будет спасения, брошу ее в море.

Еще слово... Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие, последний завет... Ей надо знать... Боже, что это? Ужели конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся... Крики... Бегу к команде. Его святая воля...

. . . .

Бутыль была брошена за борт с вложенною в нее тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке: «Кому попадется эта рукопись, прошу отправить ее в Ливорно, на имя русской, госпожи Пчелкиной, а если ее не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракитину, для передачи его дочери Ирине Ракитиной. Мая 15—17, 1775 года. Лейтенант русского флота Павел Концов».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

XVIII

Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы, сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее, в честь новой хозяйки, было названо Царицыном и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного Царского Села.

У опушки густого леса, среди прорубленных вековечных кленов и дубов, был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец, с кое-какими службами, скотным и птичьим дворами.

Из окон нового дворца императрица любовалась рядом обширных глубоких прудов, окруженных лесистыми холмами. На неоглядных скошенных лугах копошились белые рубахи косцов и красные и синие понёвы гребщиц. За этими лугами виднелись другие, еще не тронутые косой цветущие луга. Далее чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга. И все это золотилось и согревалось безоблачным вешним солнцем.

Здесь жилось просто и привольно. В наскоро приноровленные, весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины. В них налетали с реки ласточки, с лугов стрекозы и мотыльки.

Свита с утра рассыпалась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям.

Екатерина тем временем в белом пудромантеле и в чепце на запросто причесанных волосах, сидя в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму.

Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более двух перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо очиненного пера, чтоб не присесть и не поддаться бесу бумагомарания.

И в то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы — что именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции — или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой, Екатерина с удовольствием описывала Гримму своих комнатных собачек.

Этих собачек при дворе звали: сэр Том Андерсон, а его супругу, во втором браке, леди Мими, или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно, в виде метелок, подстриженными хвостами. У собачек были свои особые, мягкие тюфячки и шелковые одеяла, стеганные на вате рукой самой императрицы.

Екатерина описывала Гримму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы. И сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются верхи московских колоколен. Сельская дичь и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любуются, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое стеганое одеяло.

Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля.

«Я люблю нераспаханные, новые страны! — писала Екатерина Гримму. — И, по совести, чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено.»

XIX

Свежий воздух подмосковных окрестностей иногда туманился. Набегали тучки, сверкала молния, погромыхивала гроза. При дворе были свои невзгоды.

Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердой надеждой, что его помилуют и не казнят. «Негодяй не отличается большим смыслом... он надеется! — писала государыня по прочтении последних допросов самозванца. — Природа человеческая неисповедима.»

Пугачева четвертовали в январе.

В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему князю Голицыну и отдала ему приказ: «Сняв тайно с кораблей доставленных *вояжиров*, учините им строгий допрос».

Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии, за войну с турками, произведенный в фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали.

Двадцать четвертого мая он призвал преображенского офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее обер-коменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышеву.

Толстой исполнил поручение; ночью на двадцать пятое мая в особо оснащенной яхте он через Неву тихо подплыл к крепости и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро

в комнаты под комендантскою квартирою, потом в Алексеевский равелин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней.

Ушаков был проворный, вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых, зорких глаз повторявший:

— Ах, голубчики, столько дела, столько! Из чести одной служу князю... давно пора в абшид, измучился...

Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей и с напускною, важною осанкою, так не шедшею к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути, в Англии, арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то, очевидно ожидавшую ее, шлюпку и что ее едва удалось снова, среди ее воплей и стонов, водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освобождать.

Испуганная, смущенная нежданною, грозною обстановкою пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскою великою княжною, мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещание императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елисаветы и завещание Елисаветы в пользу ее дочери.

В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью «Elisabeth».

— Voilá une fieffée canaille![1] — вскричала Екатерина, прочтя и скомкав это письмо.

В кабинете императрицы в то время находился Потемкин.

---

[1] Вот отъявленная негодяйка! *(фр.)*

— О ком изволите говорить? — спросил он.

— Все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке.

Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам: как женщину и как добычу ненавистного ему Орлова, начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, чтобы он посмотрел, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки, и тот, сопя носом, с досадой направил в них свои близорукие глаза.

— Ну, что? — спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг.

— Непостижимо... сколько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение.

— А мне все ясно, — сказала Екатерина, — лгунья — тот же подставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно.

Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено «убавить тону этой авантюрьере», тем более что, «по извещению английского посла, арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги».

Пленнице передали это сообщение посла. Она вышла из терпения.

— Если бы я знала, кто меня так поносит, — вскрикнула она с дрожью и бранью, — я тому выцарапала бы глаза!

«Боже! Да что же это? — с ужасом спрашивала она себя под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений. — Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик отказаться от своих убеждений, надежд? Нет, этого не будет! Я все превозмогу, устою!»

С целью «поубавить тона» с арестованной стали поступать значительно строже: лишили ее на время услуг ее гор-

ничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна.

— Я не самозванка, слышите ли? — с бешеным негодованием твердила она Голицыну. — Вы — князь, а я — слабая женщина... именем милосердного Бога умоляю, не мучьте, сжальтесь надо мною.

Князь забыл свое поручение, начал ее утешать.

— Я беременна, — проговорила, плача, арестантка, — погибну не одна... Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, опять в сибирские льды, в монастырь... но клянусь, я ни в чем не повинна...

Голицын собрался с мыслями.

— Кто отец ожидаемого вами дитяти? — спросил он.

— Граф Алексей Орлов.

— Новая неправда, — сказал Голицын, — и к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику?

— Я говорю правду, как перед Богом! — ответила, рыдая, пленница. — Свидетели тому адмирал, офицеры, весь флот...

Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву.

— Негодная, дерзкая тварь! — вскрикнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемкину. — Чем изворачивается новое издание выставленного нам поляками Пугачева!.. Нагло клевещет на других!

— Но если тут не без истины? — произнес Потемкин. — Слабую, доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть.

— О, быть не может! — возразила Екатерина. — Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет сюда, он объяснит нам подробнее об этой, им арестованной Лжеелисавете... А вы, князь, в рыцарской защите женщин не за-

бывайте главного — спокойствия государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт.

Потемкин замолчал.

Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание: отнять у арестантки излишнее, не положенное в тюрьме платье и, удалив ее горничную, приставить к ней для бессменного надзора двух надежных часовых.

XX

Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя.

«Как! — рассуждала она. — Сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен... а эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений... ни в чем не сознается и грозит мне из глухого подземелья, из норы?»

Потемкин, узнав от Христенека подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры.

Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнгферу Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого, неподкупного Голицына о положении и признании арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. Женское сердце Екатерины возмутилось.

— Не Радзивилл! — сказала она при этом. — Тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины!

«Предатель по природе! — шевельнулось в уме Екатерины при мыслях об услуге Орлова. — На все готов и не стесняется ничем... не задумается, если будет в его видах, и

на другое!» Вспомнились Екатерине при этом давние строки: «Матушка царица, прости, не думали, не гадали...»

— Недаром его зовут палачом! — презрительно прошептала Екатерина. — Пересолил, скажет, из усердия... Впрочем, приедет — надо поправить дело... Эта потерянная — без роду и племени — игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна... А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара русский сановник и граф?

Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки не давали ей прежнего покоя и отрадных снов.

Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву. Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем, по ее приказанию, были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником архива в то время состоял знаменитый автор «Опыта новой истории России» и «Описания Сибирского царства» — бывший издатель академических «Ежемесячных сочинений», путешественник и русский историограф академик Миллер. Ему тогда было за семьдесят лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире, при архиве, над грудой старинных московских свитков.

Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочей пернатой братии, оглушившей Екатерину разнообразными свистами и чиликаньями. Стеклянная дверь из кабинета хозяина вела в особую, уставленную кустами в кадках светелку, где при раскрытых окнах, завешанных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые укромные горенки. Вощеные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола, перед стеклянною дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся прислугу.

— Я к вам, Герард Федорович, с просьбой, — сказала, войдя, Екатерина.

Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд.

— Приказывайте, ваше величество, — произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки.

Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились.

— Правда ли, — начала она после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи, — правда ли... говорят, вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий? Вы говорили о том... английскому путешественнику Коксу.

Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания, Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни.

«Откуда она это узнала? — мыслил он. — Ужели проговорился Кокс?»

— Объяснимся, я облегчу нашу беседу, — продолжала Екатерина. — Вы обладаете изумительною памятью, притом вы так прозорливы в чтении и сличении летописей; скажите откровенно и смело ваше мнение... Мы одни — вас никто не слышит... Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?

Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали. Добрые, умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились.

— Правда, — несмело ответил он, — но это, простите, мое личное мнение, не более...

— Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения?

— Ваше величество, — проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола, — я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто

утверждал сказки об убиении истинного царевича; другие, неприятные для Годунова, следы он, очевидно, скрыл.

— Какие? — спросила Екатерина.

— Что погиб другой, а мнимоубитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь Шуйский потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Димитрия.

— Довод остроумный, — сказала Екатерина, — недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в том убеждены.

— Извините, ваше величество, — проговорил Миллер, — воля монархини — важный указатель, но есть другая, более высшая власть — Россия... Я лютеранин, а тело признанного Димитрия покоится в Кремлевском соборе... Что сталось бы с моими изысканиями, что сталось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий?

XXI

Слова Миллера смутили Екатерину.

«Откровенно, — подумала она, — так и подобает философу.»

— Хорошо, — произнесла императрица, — не будем тревожить мертвых, поговорим о живых. Генерал Потемкин, надеюсь, вам доставил список с допроса и показаний наглой претендентки, о поимке которой вы, вероятно, уже слышали...

— Доставил, — ответил Миллер, вспомнив, наконец, что очки, которые он продолжал искать глазами, были у него на лбу, и удивляясь, как он об этом забыл.

— Что вы скажете об этой достойной сестре маркиза Пугачева? — спросила Екатерина.

Миллер увидел в это мгновение за стеклянною дверью, как вечно ссорившаяся с другими птицами канарейка влетела в чужое гнездо и хозяева последнего, с тревогой и писком

летая вокруг нее, старались ее оттуда выпроводить. Занимал его также больной, с забинтованной ногою, дрозд.

— Принцесса, если она русская, — произнес Миллер, краснея за свою робость и рассеянность, — очевидно, плохо училась русской истории — вот главное, что я могу сказать, прочтя ее бумаги... впрочем, в этом более виноваты ее учителя...

— Так вы полагаете, что в ее сказке есть доля истины? — спросила Екатерина. — Допускаете, что у императрицы Елисаветы могла быть дочь, подобная этой и скрытая от всех?

Миллер хотел сказать: «О да, разумеется, что же тут невероятного?» Но он вспомнил о таинственном юноше Алексее Шкурине, который в то время путешествовал в чужих краях, и, смутясь, неподвижно уставился глазами в дверь птичника.

— Что же вы не отвечаете? — улыбнулась Екатерина. — Тут уже ваше лютеранство ни при чем...

— Все возможно, ваше величество, — произнес Миллер, качая седою курчавою головой, — рассказывают разное, есть, без сомнения, и достоверное.

— Но послушайте... Не странно ли? — произнесла Екатерина. — Покойный Разумовский был добрый человек, притом, хотя тайно, состоял в законном браке с Елисаветой... Из-за чего же такое забвение природы, бессердечный отказ от родной дочери?

— То был один век, теперь другой, — сказал Миллер. — Нравы изменяются; и если новые Шуйские — Шуваловы столько лет подряд могли держать в одиночном заключении, взаперти, вредного им принца Иоанна, объявленного в детстве императором, — что же удивительного, если, из той же жажды влияния и власти, они на краю света на всякий случай припрятали и другого младенца, эту несчастную княжну?

— Но вы, Герард Федорович, забываете главное — мать! Как могла это снести императрица? У нее, нельзя этого отрицать, было доброе сердце... Притом здесь дело шло не о чуждом дитяти, как Иванушка, а о родной, забытой дочери.

— Дело простое, — ответил Миллер, — ни Елисавета, ни Разумовский тут, если хотите, ни при чем: интрига дей-

ствовала на государыню, не на мать... Ей, без сомнения, были представлены важные резоны, и она согласилась. Тайную дочь спрятали, услали на юг, потом за Урал. В бумагах княжны говорится о яде, о бегстве из Сибири в Персию, потом в Германию и Францию... Шуйские наших дней повторили старую трагедию: охраняя будто бы государыню, они готовили между тем появление на всякий случай нового, ими же спасенного выходца с того света.

Екатерине вспомнился в одном из писем Орлова намек о русском вояжире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях.

— С вами не наговоришься, — сказала, вставая, Екатерина, — ваша память — тот же неоцененный архив; а русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна? Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати... я все любуюсь вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Гримм мне прислал семью прехорошеньких какаду. Один все кричит: «Où est la vérité?»[1]

Отменно милостиво поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при Чесме Орлов.

Алексей Григорьевич не узнал двора. С новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государыню. Ему сказали, что ее величество слегка недомогает.

Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиенции у нового светила, Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано не много.

— Нынче все без меры, через край! — произнес по поводу чего-то и мимоходом Потемкин.

---

[1] Где истина? *(фр.)*

Задумался об этих словах Орлов: «Через край!» Ведь и он хватил не в меру.

Наутро он был приглашен к государыне, которую застал за купанием собачек. Сэр Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся в чепчике под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина, в переднике, с засученными за локти рукавами, усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного, глазастого, незнакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер-юнгферы.

— С воды и к воде, — шутливо произнесла Екатерина, — добро пожаловать. Сейчас будем готовы.

Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла: «Как видите, о друзьях первая забота!» — села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах.

— А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили, — сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее.

— В чем, ваше величество?

— А в препорученном, — улыбнулась, шутливо грозя, Екатерина.

Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыни приметил недобрую, знакомую ему черту: круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал.

— Что же, матушка-государыня, чем я прогневил? — спросил он, заикаясь.

— Да как же, сударь... уж право, чересчур, — продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки.

Орлов ребячески растерялся. Его глаза трусливо забегали.

— Ведь пленница-то наша, — произнесла государыня, — слышали ли вы? Скоро сам-друг...

Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства.

«Пропал, окончательно погиб! — думал он, мысленно уже видя свое падение и позор. — Помяни, Господи, царя Давида...»

— Дело, впрочем, можно еще поправить, — проговорила Екатерина, — вам бы ехать в Питер да свидеться с пленницей, к торжеству мира возвратились бы женихом.

Орлов, сморщившись, опустился на колено, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился.

— Ну, что, как государыня? Что изволила говорить? — спрашивали его ближние из придворных.

— Удостоен особого приглашения на торжество мира, — ответил граф, — еду пока в Петербург, устроить дела брата.

Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо...

Орлов понял, что ему нечего было медлить: государыня, очевидно, не шутила.

Под предлогом свидания с удаленным братом он собрался и вскоре выехал в Петербург.

XXII

Изнуренная долгим морским путем и заключением пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой, кашель перешел в быстротечную чахотку.

Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев.

— Какое право имеют так поступать со мной? — повелительно спрашивала она. — Какой повод я подала к такому обращению?

— Предписание свыше, монарший приказ! — отвечал, пыхтя и перевирая французские слова, секретарь Ушаков.

В качестве письмоводителя образованной комиссии он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели, и потому, жалуясь на утомление, кучу дел и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказа-

тельные статьи и переписку о ней и вообще водил за нос добряка Голицына, собираясь на сбережения от содержания арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору.

Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания.

— Что вы скажете о них? — спросил ее Голицын.

— Клянусь всемогущим Богом и вечною мукой, — отвечала арестантка, — не я составляла эти несчастные бумаги, мне их сообщили.

— Но вы их собственноручно списали?

— Может быть, это меня занимало.

— Так вы не хотите признаться, объявить истины?

— Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила: меня предали, схватили обманом.

Голицын терял терпение. «Вот бесом наделили! — мыслил он. — Открывай тайны с таким камнем!» Князь вздыхал и почесывал себе переносицу.

— Да вы, ваше сиятельство, упомнили, — шепнул однажды при допросе услужливый Ушаков, — вам руки развязаны — последний-то указ... в нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием.

— А и в самом деле! — смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер. — Попробовать разве? Хуже не будет?

— Именем ее величества, — строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы, — ввиду ее запирательства отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все... книги, прочие там вещи, а если и тут не одумается — держать ее на пище прочих арестантов.

Распоряжение князя было исполнено. Привыкшей к неге и роскоши, избалованной, хворой женщине стали носить черный хлеб, солдатские кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянною миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно

узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством кляла себя за то, как могла она довериться такому человеку. Но явилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство.

— Покайтесь, — убеждал, навещая ее, Голицын, — мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования.

— Всякие мучения, саму смерть, господин фельдмаршал, все я приму, — ответила пленница, — но вы ошибаетесь... ничто не принудит меня отречься от моих показаний.

— Подумайте...

— Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей.

— Одумается, ваше сиятельство! — шептал, роясь при этом в бумагах, Ушаков. — Еще опыт, и изволите увидеть...

Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной венецианский шелковый пеньюар.

— Великий Боже! Ты свидетель моих помыслов! — молилась арестантка. — Что мне делать, как быть? Я прежде слепо верила в свое прошлое; оно мне казалось таким обычным, я привыкла к нему, к мыслям о нем. Ни измена того изверга, ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь Божия, младенец Иисус! Кто подкрепит, вразумит и спасет меня... от этого ужаса, от этой тюрьмы?

В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее, у комендантского крыльца, вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышев направились в Алексеевский равелин.

— Плоха, — сказал по пути обер-комендант, — уж так-то плоха, особенно с этою сыростью; вчера, ваше

сиятельство, молила дать ей собственную одежду и книги — уважили...

Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда, без провожатых, вошел Орлов. Чернышев остался за дверью.

В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка, между двумя окнами, стояли два стула и небольшой стол, на столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутою едой. Вправо была расположена ширма, за ширмою стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой и под ситцевым пологом железная кровать.

На кровати, в белом капоте и белом чепце, лежала, прикрытая голубою, поношенного бархата, шубкой, бледная, казавшаяся, мертвой, женщина.

Орлов был поражен страшною худобой этой, еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнились Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле и переодетые в старенькие церковные ризы Рибас и Христенек. «И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом? — думал он. — Она ведь уже была на корабле, в моих руках!» В его мыслях живо изобразился устроенный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобою на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви. «Ах, в каком мы несчастье, — писал он ей тогда, подбирая льстивые слова. — Оба мы арестованы, в цепях, но всемогущий Бог не оставит нас. Вверимся ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить...» «И я ее нашел, вот она!» — мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме.

Пленница на шорох открыла глаза, вгляделась в вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо.

— Вы?.. Вы?.. В этой комнате... у меня! — вскрикнула княжна, узнав вошедшего и простирая перед собой руки, точно отгоняя страшный, безобразный призрак.

Орлов стоял неподвижно.

XXIII

Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали.

Отшатнувшись на кровати к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее.

— Мы обвенчаны, не правда ли? Ха-ха! Ведь мы жена и муж? — заговорила она, страшным кашлем перебарывая презрительное негодование. — Где же вы были столько времени? Вы клялись, я вас ждала.

— Послушайте, — тихо сказал Орлов, — не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеления.

— Злодейство, обман! — вскрикнула арестантка. — Никогда не поверю... Слышите ли, никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству.

— Клянусь, это был ее приказ...

— Не верю, предатель! — бешено кричала пленница, потрясая кулаками. — Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой... но не это... ты, наконец, мог меня поразить кинжалом, отравить... яды тебе известны... но что сделал ты? Что?

— Минуту терпения, умоляю, — произнес, оглядываясь, Орлов, — ответьте мне одно слово, только одно... и вы будете, клянусь, немедленно освобождены.

— Что еще придумал, изверг, говори! — произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью кутаясь в голубую, знакомую графу, бархатную мантилью.

— Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием, — начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные,

убедительные звуки, — скажите, мы теперь наедине... нас видит и слышит один Бог.

— Gran Dio! — рванулась и опять села на кровати арестантка. — *Он* призывает имя Божье! — прибавила она, подняв глаза на образ Спаса, висевший на стене, у ее изголовья. — Он! Да ты, наверное, устроил и все эти мучения, всю медленную казнь! А у вас еще хвалились, что отменена пытка. Царица этого, наверное, не знает, ты и тут ее провел.

— Успокойтесь... скажите, кто вы? — продолжал Орлов. — Откройте мне. Я умолю государыню; она окажет мне и вам милость, вас освободит...

— Diavolo![1] Он спрашивает, кто я? — проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна. — Да разве ты не видишь, что я кончила со светом, умираю? Зачем это тебе?

Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла.

«Вот умрет, не выговорит», — думал, стоя близ нее, Орлов.

— В богатстве и счастье, — произнесла, придя в себя, пленница, — в унижении и в тюрьме я твержу одно... и ты это знаешь... Я — дочь твоей былой царицы! — гордо сказала она, поднимаясь. — Слышишь ли, ничтожный, подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна...

Смелая мысль вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли? — подумал он. — Проживет недолго, разом угожу обеим.»

Он опустился на одно колено, схватил исхудалую, бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами.

— Ваше высочество! — проговорил он. — Элиз! Простите, клянусь, я глубоко виноват... так было велено... я сам находился под арестом, теперь только освобожден...

Пленница молча глядела на него большими, удивленными глазами, прижимая ко рту окровавленный кашлем платок.

— Умоляю, нас поистине, торжественно обвенчают, — продолжал Орлов, — станьте моею женой... Все тогда, ваше

---

[1] Дьявол! *(итал.)*

высочество, дорогая моя... Элиз!.. Знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги...

— Вон, изверг, вон! — крикнула, вскакивая, арестантка. — Этой руки искали принцы, короли... не тебе ее касаться, заклейменный предатель, палач!

«Не стесняется, однако! — подумал обер-комендант Чернышев, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятия арестантки. — Уйти поздорову, граф еще сообразит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит!»

Комендант ушел.

Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему показалось, швыряние в гостя какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рассуждая: «Мамзюлька, видно, просит лучших харчей, да, должно, не по артикулу, серчает на генерала... Ох-хо! Куда ей, сухопарой... все щи да щи, вчера только дали молока...»

Бешеные крики не прерывались. Зазвенело брошенное об пол что-то стеклянное.

Дверь каземата быстро распахнулась. Из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несоразмерной с его ростом перекладиной. Лицо его было красно-багровое. Он на минуту замешкался в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями.

Нащупав под мышкой треугол, граф дрожащей рукой оправил прическу и фалды кафтана, бодро и лихо выпрямился, молча вышел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру:

— К генерал-прокурору!

По мере удаления от крепости Орлов обдумывал только что происшедшее свидание.

— Змея, однако, сущая змея! — шептал он, поглядывая из кареты по улицам. — Как жалила!

Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер; горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки.

— Прошу садиться, — сказал генерал-прокурор. — Что? Озябли?

— Да, князь, холодновато.

Вяземский приказал подать ликеру. Принесли красивый графин и корзинку с имбирными бисквитами.

— Откушайте, граф... Ну, что наша самозванка? — произнес генерал-прокурор, оставляя бумаги, в которых рылся.

— Дерзка до невероятия, упорствует, — ответил граф Алексей Григорьевич, наливая рюмку густой душистой влаги и поднося ее к носу, потом к губам.

— Еще бы! — проговорил князь. — Дешево не хочет уступать своих мнимых титулов и прав.

— Много уже с нею возятся; нужны бы иные меры, — сказал Орлов.

— Какие же, батенька, меры? Она при последних днях... не придушить же ее.

— А почему бы и нет? — как бы про себя произнес Орлов, опуская бисквит в новую рюмку ликера. — Жалеть таких?

Генерал прокурор из-за зеленого абажура, прикрывавшего свечи, искоса взглянул на гостя.

— И ты, Алексей Григорьевич, это не шутя... посоветовал бы? — спросил он.

— Для блага отечества и как истый патриот... не только посоветовал бы, очень бы одобрил! — ответил Орлов, прохаживаясь и пожевывая сладкий, таявший во рту бисквит.

«Mais c'est un assassin dans l'âme! — подумал с виду суровый и обыкновенно насупленный верховный судья, с ужасом прислушиваясь к мягкому шарканью Орлова по ковру. — C'est en lui comme une mauvaise habitude!»[1]

---

[1] Но это же убийца в душе! У него это стало скверной привычкой! *(фр.)*

Орлов, вынув лорнет и покусывая новый ломоть имбирного бисквита, рассматривал на стене изображение Психеи с Амуром.

— Откуда эта картина? — спросил он.

— Государыня пожаловала... Вы же, граф, когда изволите обратно в Москву?

— Завтра рано, и не замедлю передать о новом запирательстве наглой лгуньи.

Вяземский пошевелил кустоватыми бровями.

— А вам известно показание арестантки на ваш счет? — пробурчал он, роясь в бумагах.

У Орлова из рук выпал недоеденный бисквит.

— Да, представьте, ведь это из рук вон! — ответил граф. — Преданность, верность и честь, ничто не пощажено... И что поразительно, князь... втюрилась в меня бес-баба, да, взведя такую небылицу, от меня же еще нынче, проходимка, упорно требовала признания брака с ней.

— Не могу не удивиться, — произнес Вяземский, — эти переодеванья с ризами, извините... и для чего это напрасное кощунство? Ох, отдадите, батюшка граф, ответ Богу... мне бы весь век это снилось...

Орлов хотел отшутиться, попытался еще что-то сказать, но молчание хмурого, медведеобразного генерал-прокурора ему показывало, что дворский кредит был давно на исходе и что сам он, несмотря на прошлые услуги, как уже никому не нужный, старый хлам, мог желать одного — оставления его на полном покое.

«Летопись заканчивается! Очевидно, скоро буду на самом дне реки! — подумал Орлов, оставляя Вяземского. — В люк куда-нибудь спустят, в Москву или еще куда подалее. Состарились мы, вышли из моды, надо новым дать путь.»

Он так был смущен приемом генерал-прокурора, что утром следующего дня отслужил молебен в церкви Всех Скорбящих Радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.

XXIV

Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве тринадцатого июля.

При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок бриллиантовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание *Чесменского*.

«Сдан в архив, окончательно сдан!» — мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петербург, вслед за двором, его уже действительно не пустили. С тех пор ему было указано местожительство в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы.

Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольном московском покое. Домочадцы графа между тем подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу.

Ехал ли граф Алехан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным, теплым небесам, к голубым прибрежьям Мореи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам.

Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по чернотропу, граф, в окрестностях Отрады или Нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом — о далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и о сманенной, погубленной им Таракановой.

«Где она и что сталось с нею? — рассуждал он. — Жива ли она после родов, там ли еще или ее куда вновь упрятали?»

С падением фавора брата, князя Григория, граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы.

Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особой, никому не доступной келье. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея — незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и ее мужа в тайном браке, Разумовского.

Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она, она! — говорил он себе в волнении, не зная, что жертва, княжна Тараканова, по-прежнему безнадежно томится в той же крепости. — Некому быть, как не ей; отреклась от всего, покорилась, приняла постриг...»

Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон.

«Предатель, убийца!» — раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него чем попало.

Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим князем Волконским, заехавшим к нему запросто — полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека — о заграничных и родных вестях и толках и, будто мимоходом,

осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь.

— Да вы, граф, куда это клоните? — вдруг перебил его князь Михаил Никитич.

— А что? — спросил озадаченный Чесменский.

— Ничего, — ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно, — вспомнилась, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе...

— Какая оказия? Удостойте, батюшка князь?! — с улыбкой и поклоном произнес граф. — Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам недоступных дворских палестин.

— Извольте, — начал Волконский, покашливая и попрежнему глядя в окно, — дело, если хотите, не важное, а, скорее, забавное... Генерал-майоршу Кожину знаете?.. Марья Дмитриевна... бойкая такая, красивая и говорунья?

— Как не знать! Часто ее видел до отъезда в чужие края.

— Ну-с, сболтнула она, говорят, где-то, будто бы такие-то, положим, Аболешевы там, или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу Петру Мордвинову... тоже, верно, знаете?

Орлов молча кивнул головой.

— Покровительствовать... Ну, понимаете, чтоб подставить ногу...

— Кому? — спросил Орлов.

— Да будто самому, батюшка, Григорию Александровичу Потемкину.

— И что же?

— А вот что, — проговорил главнокомандующий, — в собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шешковский. И ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину, а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай и потом, туда же, в маскарад, оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно».

— И Шешковский? — спросил Орлов.

— Взял барыньку, исправно посек и опять, как велено, доставил в маскарад, а она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного — и менуэт, и монимаску, и котильон.

Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал.

Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим в Нескучное из Хренового. Терентьич был из грамотных крепостных и являлся одетым по моде в «перленевый» кафтан и камзол, в «просметальные» башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы.

Граф наливал ему чарку заморского, дорогого вина, говоря:

— Попробуй, братец, не вино... я тебе человечьего веку рюмочку налил...

Терентьич отказывался.

— Полно, милый! — угощал граф. — Ужли забыл поговорку: день мой — век мой? Веселись, в том только и счастье... да, увы, не для всех.

— Верно, батюшка граф! — говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку. — Мы что? Рабы... Но вам ли воздыхать, не жить в сладости-холе, в собственных распрекрасных вотчинах? Места в них сухие и веселые, поля скатистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слыхать, иногда даже сумнительны.

— Сумнительств и подозрениев, братец, на веку не обраться! — отвечал граф. — Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы и каков был рост всякого злака; а что вышло? Сказано: не пó рости, а по зерни.

— Верно говорить изволите, — отвечал, вздыхая, Терентьич.

— Вот хоть бы и о прочих делах, — продолжал граф. — Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду; а веришь

ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все в други к нему валили... а теперь...

Граф смолкал и задумывался.

«Ишь ты, — мыслил, глядя на него, Кабанов, — при этакой силе и богатстве — обходят.»

— Да, братец, — говорил Орлов, — тяжкие пришли времена, разом попал промеж двух жерновов: служба кончена, более в ней не нуждаются, а дома... скука...

— Золото, граф, огнем искушается, — отвечал Терентьич, — человек — напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки... а я вам подтопочку могу подыскать...

— Какую?

— Женитесь, ваше сиятельство.

— Ну, это ты, Кабанов, ври другим, а не мне, — отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова.

XXV

Судьба Таракановой между тем не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на нее сам Шешковский. Допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжелой, непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днем чахла и таяла. Были часы, когда ждали ее немедленной кончины.

После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо императрице.

«Исторгаясь из объятий смерти, — писала она, — молю у Ваших ног. Спрашивают: кто я? Но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в Вашем милосердии, Вы откажете не мне одной...»

Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление.

В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу.

— Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашею княжной, — сказал он ей, — уверяли, что знаете восточные языки; мы давали ваши письмена сведущим людям — они в них ничего не поняли. Неужели, простите, и это обман?

— Как это все глупо! — с презрительной усмешкой, сильно закашливаясь, ответила Тараканова. — Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должно верить не мне, а вашим чтецам?

Голицыну стало жаль долее, по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину.

— Послушайте, — сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное, — не до споров теперь... ваши силы падают... Мне не разрешено, но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни... Не желаете ли духовника, чтобы... понимаете... все мы во власти Божьей... чтобы приготовиться...

— К смерти, не правда ли? — перебила, качнув головой, пленница.

— Да, — ответил Голицын.

— Пришлите... вижу сама, пора...

— Кого желаете? — спросил, нагнувшись к ней, князь, — католика, протестанта или нашей, греко-российской, веры?

— Я русская, — проговорила арестантка, — пришлите русского, православного.

«Итак, кончено! — мыслила она в следующую, как и прежние, бессонную ночь. — Мрак без рассвета, ужас без

конца. Смерть... вот она близится, скоро... быть может, завтра... а они не утомились, допрашивают...»

Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровати.

«Но кто же я наконец? — спросила она себя, устремляя глаза на образ Спаса. — Ужели трудно дать себе отчет даже в эти, последние, быть может, минуты? Ужели, если я не та, за какую себя считала, я не сознаюсь в том? Из-за чего? Из чувства ли омерзения к ним, или из-за непомерного гнева и мести опозоренной ими, раздавленной женщины?»

И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей.

Ей представилась ее недавняя веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера. Придворные, дипломаты, графы, владетельные князья. «Сколько было поклонников! — мыслила она. — Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достояние, искали моей руки... За красоту, за умение нравиться, за ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин, почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие, почему искал со мною встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному.»

— Детство! В нем одном разгадка! — шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие, первые свои воспоминания. — В нем одном доказательство.

Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припомнилась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне, большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним — зеленые безбрежные поля. Добрая, ласковая старуха ее кормила, одевала. Далее — переезд на мягко колыхавшейся, набитой душистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса.

— Да кто же я, кто? — в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую, отупелую голову. — Им нужны доказательства!.. Но где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый. И не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня. Не я виновна в моем имени, в моем рождении... Я единственный живой свидетель своего прошлого; других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У Господа немало чудес. Ужели он в возмездие слабой, угнетаемой не явит чуда, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной, злодейской тюрьмы!..

XXVI

Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый суровый ноябрь.

Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другою, ей знакомою девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу.

Домишко отца Петра, с антресолями и с крыльцом на улицу, стоял в мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви и над крошечным поповским двором.

Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре. Огромный цепной пес Полкан на малейшую тревогу

за калиткой поднимал нескончаемый, громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треб имевшие дело к священнику, входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время взаперти.

Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня, незадолго перед тем получила из-за границы, от неизвестного лица, при письме на ее имя пачку исписанных листков, найденную где-то в выброшенной морем, засмоленной бутыли. «Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму, — писала дяде Варя, — прочли мы с этою барышней те бумаги, решили ехать и едем; а к кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том — надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы спроста иначе, вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи и везде вам внимание и почет; как присоветуете, тому и быть. А имя барышни — Ирина Львовна, а прозвищем — дочка бригадира Ракитина».

«Ветрогонки, вертухи! — заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма. — Эк, сороки, обладили какое дело... затеяли из Чернигова в Питер, со мною советоваться... нашли с кем!..»

Каждый вечер, в сумерки, отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто, в домашнем подряснике, прохаживаться по гладкому холщовому половику, постланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам герани и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и на теплившуюся лампадку и все думал-думал, когда, наконец, оживятся его горницы. Когда явятся вертуньи?

Гости подъехали.

Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал: «Давно ли ее привозили сюда, невзрачною, курносою, молчаливою и дикою девочкой? А теперь — как она жива, мила и умна! Да и ее спутница... вот уж писаная красавица! Что за густые черные косы, что за глаза! И в другом роде, чем Варя, — задумчива, сдержанна, строга и горда!»

После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всенощной, а гостьи наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными, в виде вареных раков, с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь.

— А где же, государыни мои, привезенное вами? — спросил, отходя ко сну, отец Петр. — Дело любопытное и для меня... в чем суть?

Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью: «Дневник лейтенанта Концова».

XXVII

Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, развернул смятую тетрадь синей заграничной почтовой бумаги, с золотым обрезом, и начал читать.

Он не спал до утра.

История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями.

«Так вот что это, вот о ком здесь речь! — думал он, с первых строк, о загадочной княжне, то отрываясь от чтения и лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. — И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина? — спрашивал он себя, дойдя до ливорнской ис-

тории. — Где она влачит дни? И спасся ли, жив ли сам писавший эти строки?»

Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начинал чуть брезжить рассвет.

— Ах, события! Ах, горестное сплетение дел! — шептал священник. — Страдалица! Помоги ей Господь.

Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно, пугливо чокнул.

«Еще всех разбудишь!» — решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обдумывать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных, ему, как и другим, известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутрене. Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом у лесенки на вышку, он ее остановил знаком.

— А скажи, Варя, — произнес он вполголоса, — этот-то, писавший дневник... Концов, что ли... видно, ей жених?..

Варя послюнила палец, тронула им утюг, тот зашипел.

— Сватался, — ответила она, помахивая утюгом.

— Ну и что же?

— Ирина Львовна ничего... отец отказал.

— Стало быть, разошлось дело?

— Вестимо.

— А теперь?

— Что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может... на своей ведь теперь воле... да где он?

— Корабль, видно, потонул? — произнес отец Петр.

— Где про то дознаться в нашей глуши! Вам бы, диденька, проведать у моряков; не одни люди, погибли и графские богатства... Где-нибудь да есть же след...

— Кто твоей товарке выслал эти листки?

— Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись — Ракитиной, там-то, а в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутыли, где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст, ей и доставили посылку...

Священник, не подавая о том вида ни крестнице, ни гостье, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны.

В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром, у африканских берегов, невдалеке от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и ее ближайший командир Грейг в то время находились в Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль без команды, несшийся далее на запад, к Мадере и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм.

«Жаль барыньку, — мыслил священник, глядя на Ракитину, — экая умница да степенная! Богата, молода... Вот бы парочка тому-то, претерпевшему, спаси его Господь!.. Нет, видно, и он погиб с другими, был бы жив, отозвался бы на родину, товарищам по службе или родным...»

Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной.

— Скажите, барышня, — произнес священник, — я слышал от племянницы о вашей печали, вас, очевидно, с

расчетом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?

— Сама не понимаю, — ответила Ирина, — мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал, как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нем только и жила.

— И что же? Как разошлось?

— Не спрашивайте, — произнесла Ирина, склонив голову на руки, — это такое горе, такое... Мы видались, переписывались, были встречи... я ему клялась искренно, мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу...

Ракитина смолкла.

— Ужасно вспомнить, — продолжала она. — Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание, Концова могли ему чем-нибудь опорочить — могли на него наклеветать... Вдруг — это было вечером — вижу: запрягают лошадей. «Куда?» — спрашиваю. Отец молчит; выносят вещи, поклажу. У нас гостил родственник из Петербурга; мы втроем сели в карету. «Куда мы?» — спрашиваю отца. «Да вот, недалеко прокатимся», — пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за тысячу верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось — за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли.» — «Да кто? Кто? — спрашиваю. — Ужли тот родной искал моей руки?» — «Не руки — денег искал, да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня, старого, увезти тебя. Прости, Аринушка, прости, Бог покарал и его, недоброго, взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился, оставил письмо... вон оно, читай, на днях его переслали мне.» Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное; Концова уже не застала там; умерла и его бабка. Я писала в

Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот; но тогда была война, письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции... потом... вот моя судьба.

— Молитесь, добрая моя, молитесь, — произнес священник. — Горька ваша доля... Тут одно спасение и защита — Господь.

Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно.

— Что же, Ирина Львовна, — сказал однажды отец Петр своей гостье, — ездите вы, вижу, все напрасно — то в одно, то в другое место, справляетесь, тревожитесь... Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву... не знает ли чего хоть бы граф Орлов?

— Покорно благодарствую, батюшка! — ответила с поклоном Ракитина. — Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды? Не прибило ли его куда-нибудь и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Концов... Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию, в Испании и на Мадере; Фонвизин, писатель, тоже вызвался... не будет ли вести, обожду еще, а то пора бы и домой, да как ехать без успеха... Этот корабль, этот призрак все у меня перед глазами...

XXVIII

Вечером первого декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы.

Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор под вой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя

гадала на картах; Ирина, со строгим и недовольным лицом, рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики и даже писцы, несмотря на приказ и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть.

— Да вы бы смазочку... через прислугу или как, — сказал священник.

— Давали и прямо в руки, — ответила Варя за подругу.

Та с укоризной на нее взглянула.

— Ох, уж эти волостели-радетели! — произнес отец Петр. — Пора бы из Москвы обратно государыне, плохо без нее.

Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший и озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него.

Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули.

— Аксинья спит, — сказал отец Петр о кухарке. — Кому-то, видно, нужно... с крыльца не дозвонились.

— Я, дяденька, отворю, — сказала Варя.

— Ну, уж, по твоей храбрости, лучше сиди.

Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь. Вошел несколько смокший на крыльце, в треуголке и при шпаге, невысокий толстый человек с красным лицом.

— Секретарь главнокомандующего Ушаков! — сказал он, встряхиваясь. — Имею к вашему высокопреподобию секретное дело.

Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать.

— Проповеди-с Массильона? — произнес Ушаков, отирая окоченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых «Sermons»[1], лежащих у отца Петра на столе. — Изволите хорошо знать по-французски?

— Маракую, — ответил священник, мысля: «Что ему в самом деле до меня и в такой поздний час?»

— Вероятно, батюшка, изволите знать и по-немецки? — спросил Ушаков. — А кстати, может быть, и по-итальянски?

— По-немецки тоже обучался; итальянский же близок к латинскому.

— Следовательно, — продолжал гость, — хоть несколько говорите и на этих языках?

«Вот явился прецептор, экзаменовать!» — подумал священник.

— Могу-с, — ответил он.

— Странны, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью? — произнес гость. — Ведь, согласитесь, странны?

— Да-таки поздненько, — ответил, зевнув и смотря на него, священник.

Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея Арсения Мацеевича и подумал: «Вот что! Сочувственник этому вралю... надо быть настойчивее, резче!»

— Ну, не буду длить, вот что-с, — объявил он. — Его сиятельству господину главнокомандующему благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место... Там иностранка-с... греко-российской веры...

— В чем же дело?

— Нужно совершение двух таинств.

— Каких именно?

---

[1] «Проповеди» *(фр.)*.

— А вам, извините, зачем знать? Разве нужно заранее? — возразил Ушаков. — Тут не должно быть колебаний, повеление свыше.

— Необходимо приготовиться, — сказал священник, — что именно ранее?

— Сперва крещение, потом исповедь с причастием, — ответил Ушаков.

— И теперь же, ночью?

— Так точно-с, карета готова.

— Позволите взять причетника?

— Велено, слышите ли, без свидетелей.

— Куда же это, смею спросить?

— Ответить не могу. Изволите увидеть после, а теперь одно — беспродлительно и в полном секрете! — заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя, в знак просьбы, обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол.

— Могу объявить домашним, успокоить их?

Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой.

Священник взял крест и книги, крикнул на вышку: «Варенька, запри дверь!» — и, когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу.

XXIX

Путники остановились у дома главнокомандующего Голицына. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате.

— Извините, батюшка, — сказал, наскоро одеваясь, главнокомандующий. — Дело важное, воля высшего начальства... Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном в предстоящем деле. Клянетесь ли?

— Как приносящий бескровную жертву, — отвечал отец Петр, — я буду верен монархине и без клятвенных слов.

Голицын было замялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые о пленнице.

— Знали ль вы о ней что-нибудь прежде? — спросил князь.

— Кое-что дошло по молве...

— Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?

— Впервые слышу.

Голицын сообщил о тревоге государыни, об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях.

— Доктор более не ручается за ее жизнь, — прибавил фельдмаршал, — не только дни, часы ее сочтены.

Отец Петр перекрестился.

— Она желает приготовиться, — продолжал князь, подбирая слова, — не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведете ее, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она, и если обманно звалась принятым именем, то узнаете, кто ее тому научил... исполните ли?

Священник медлил ответом.

— Даете ли слово помочь правосудию?

— Долг пастыря и свои обязанности знаю, — покашливая, сухо ответил отец Петр.

— Можете ехать, — сказал, кланяясь, князь, — вас проводят, куда нужно, а меня простите за тревогу в такое время.

Карета со священником и Ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта они приметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышев и разряженная, еще моложавая жена последнего.

— Готовы ли все? — спросил Вяземский, оглядываясь.

— Готово, — ответила, несмело приседая, в шуршащих фижменах, обер-комендантша.

— Милости просим, — обратился князь Вяземский к священнику.

Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких поставцах свечи, между ними стояла купель, и какая-

то, в мещанской шубейке, женщина держала что-то завернутое в белое.

— Приступайте, батюшка, — сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина.

Отец Петр надел ризу, взял поданное Чернышевым кадило, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженная, метавшая жеманные взгляды обер-комендантша и сам генерал-прокурор. Имя новорожденному дали Александр. Обряд был кончен. Обер-комендантша все металась с ребенком на руках, глазами и плечами усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье.

— Чье дитя? — спросил вполголоса священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу.

Вяземский, недоумевая, взглянул на него.

— Как записать в книгу? — спросил отец Петр. — Кто родители?

— Да разве это непременно нужно? — недовольно спросил генерал-прокурор.

— Как повелите... По долгу обряда... мало ли что в будущем... мы должны.

— Запишите, — сказал князь Вяземский. — Александр Алексеев, сын Чесменский.

Священник молча, вздрагивавшей рукой, занес это имя в книгу крещаемых.

— А теперь другая треба... вот ваш вожатый! — сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-коменданта. — Надеюсь, все исполнится, как повелено.

С этими словами он вышел и уехал.

Отец Петр, с дароносицей у груди, пошел за Чернышевым. Его сердце сильно забилось, когда они через внутренний мостик вступили в особый, со всех сторон огражденный двор; он понял, что это был роковой Алексеевский равелин...

Чернышев и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещенным коридором, приблизились к небольшой двери.

«Она здесь», — шепнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая опрятная комната. Часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо озаряла из-за особой тафтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спертый, с легкой примесью запаха лекарств и как бы ладана. Священник огляделся и молча ступил за ширму.

Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти.

Она, медленно вглядываясь в вошедшего, узнала, по его одежде, священника и, тихо вздохнув, протянула ему руку.

— Очень, очень рада, святой отец! — проговорила она по-французски. — Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий язык?

— Oui, oui, comme il vous plait![1] — неумело выговаривая, ответил отец Петр, вздрогнув от этого грудного, разбитого голоса.

— Я готова, спрашивайте, — проговорила арестантка. — Помолитесь за меня...

XXX

Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней.

— Ваше имя? — спросил он.

— Princesse Elisabeth...[2]

— Заклинаю вас, говорите правду, — продолжал отец Петр, подбирая французские слова. — Кто ваши родители и где вы родились?

— Клянусь всем святым, Богом клянусь, не знаю! — ответила, глухо кашляя, пленница. — Что передавала другим, в том была сама убеждена.

---

[1] Да, да, как вам угодно! *(фр.)*
[2] Княгиня Елисавета... *(фр.)*

На новые вопросы, чуть слышно, упавшим голосом, она еще кое-что добавила о своем детстве, коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегства в Персию и пребывания в Европе.

— Вы христианка? — спросил священник.

— Я крещена по греко-российскому обряду и потому считаю себя православною, хотя доныне, вследствие многих причин, была лишена счастья исповеди и святого причастия... Я много грешила; искавши выхода из своего тяжелого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали... О, как я вам благодарна за посещение!

— У вас найдены списки с духовных завещаний... от кого вы их получили и кем, откройте мне и Господу, составлен ваш манифест к русской эскадре?

— Все это, уже готовое, мне прислано от неизвестного лица, — проговорила больная. — Тайные друзья меня жалели... старались возвратить мои утерянные права.

«Что же это? — раздумывал, слушая ее, изумленный духовник. — Все тот же обман или правда? И если обман, то в такое мгновение!»

— Вы на краю могилы, — произнес он дрогнувшим голосом, — тлен и вечность... покайтесь... между нами один свидетель — Господь.

Исповедница боролась с собой. Ее грудь тяжело дышала. Рука судорожно стискивала у рта платок.

— В ожидании Божьего праведного суда и близкой кончины, — сказала она, обратя угасший взгляд на стену к образку, — уверяю и клянусь: все, что я сообщила вам и другим, — истина... Более не знаю ничего...

— Но ведь это невозможно, — возразил с чувством отец Петр, — то, что вы передаете, так мало вероятно.

Больная, как бы от невыносимого страдания, закрыла глаза. Слезы покатились по ее бледным, страшно исхудалым щекам.

— Кто были ваши соучастники? — спросил, помедлив, священник.

— О, никаких! Пощадите... и если я, слабая, гонимая, без средств...

Княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь, за кровать и в беспамятстве упала. Обморок длился несколько минут. Отец Петр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву.

Больная очнулась.

— Успокойтесь, придите в себя, — сказал священник, видя, что ей лучше.

— Не могу более, оставьте, уйдите! — проговорила больная. — В другой раз... дайте отдохнуть...

— Вашего сына сейчас окрестили, — объявил, желая ее ободрить, священник, — поздравляю. Господь милосерден, еще будете жить... для него.

Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запекшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону, вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко...

Отец Петр осенил больную крестом, еще постоял над нею, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел.

— Ну, что? — спросил его в коридоре обер-комендант. — Исповедали, приобщили?

Священник, склонив голову, молча поклонился обер-коменданту, сел в карету и уехал из равелина.

Утром второго декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже.

— Одумайтесь, дочь моя, облегчите душу покаянием, — увещевал священник. — Заклинаю вас Богом, будущей жизнью!

— Я грешна, — ответила, уже не кашляя и как-то странно успокоясь, умирающая, — с юных лет я гневила Бога и считаю себя великою, нераскаянною грешницей.

— Разрешаю твои прегрешения, дочь моя, — произнес, искренне молясь и крестя ее, священник, — но твое самозванство, вина перед государыней, сообщники?

— Я русская великая княжна! Я дочь покойной императрицы! — с усилием прошептала коснеющими устами пленница.

Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижна, как бы бездыханна.

XXXI

Отец Петр в сильном смущении возвратился домой.

«Да уж и впрямь, самозванка ли она? — мыслил он. — Все может утверждать человек из личных выгод, но умирающий... при последнем вздохе... и после таких лишений, почти пытки!.. Что, если она неповинна, не обманщица? Помнит детство, твердит одно... Ведь она здесь и в самом деле пока единственный свой свидетель. Ее ли вина, если ее доказательства шатки, даже ничтожны?»

Священник вошел к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома; он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Концова, снова посмотрел рукопись, вложил ее в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, надписав на оболочке: «Вскрыть после моей смерти». Этот сверток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи, и, едва замкнул сундук, в дверь постучались.

— Кто там?

— Свои.

Вошла племянница, за нею стояла Ракитина.

— Что это, дяденька, с вами? — спросила, вглядываясь в священника, Варя. — Вы встревожены, другой день куда-то ездите... где были?..

Ирина смотрела также вопросительно. «Уж не получены ли какие вести для меня?» — мыслила она.

— Дело постороннее, не по вашей части! И вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите, — обратился священник к Ракитиной, — времена смутные... привезенную вами рукопись опасно держать в доме... вы собираетесь уехать, но и в деревне небезопасно... уж извините старику...

Ирина побледнела.

— Разные ходят слухи, не учинили бы розыска, — продолжал отец Петр, — пеняйте, сударыня, на меня, только я ваши листки...

— Где тетрадь? Неужели сожгли? — вскрикнула Ракитина, взглядывая в растопленную печь.

Отец Петр молча поклонился.

Ирина всплеснула руками.

— Боже, — проговорила она, не сдержав хлынувших слез, — было последнее утешение, последняя память — и та погибла. С чем уеду?

Варя с укором взглянула на дядю.

— После, дорогая барышня, со временем все узнаете, теперь лучше молчать, — сказал решительно отец Петр. — Пути Божии неисповедимы, враг же сеет незнаемое... молитесь, памятуя Господа. Он воздаст.

Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему.

— Дознались ли вы чего-нибудь от арестованной? — спросил Голицын.

— Простите, ваше сиятельство, — ответил отец Петр, — тайна исповеди... не могу...

Голицын смешался. «Какие поручения! — подумал он, краснея. — И все эти советники... Орлову не сидится; плетет, видно, мутьян в Москве, а ты спрашивай...»

— Но, батюшка, на это воля свыше, — сказал Голицын.

— Не могу, ваше сиятельство, против совести.

Голицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения.

— Да кто же наконец она? — произнес он, стараясь придать себе грозное, решительное выражение. — Ведь это, батюшка, государственное, глубокой важности дело... Согласитесь, я должен же донести, взыщется... ведь ответчик за спокойствие и за все — я... я один...

— Одно могу доложить вашему княжескому сиятельству, — проговорил священник, — пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами.

Фельдмаршал насторожил уши.

— Никому не пророню узнанного на духу, — продолжал отец Петр, — вы сами взяли с меня обет молчания, но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдумано, приплетено... А что, если...

— Говорите, говорите, — сказал фельдмаршал.

— Что, если арестованная не повинна ни в чем! — произнес священник. — Ведь тогда, за что же она все *это* терпит?

Если бы гром в это мгновение разразился над фельдмаршалом, он менее озадачил бы его.

— Вы хотите сказать, что она не имела сообщников, не злоумышляла? — проговорил он. — Да ведь если, сударь, так, то она и не самозванка, понимаете ли, а прирожденная, настоящая наша княжна... Неужели возможно это, хотя на миг, допустить?

Отец Петр, склонясь головой на рясу, молчал.

— Вы ошибаетесь! Сон и бред! — вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок. — Лошадей! — сказал он вошедшему ординарцу. — Сам попытаюсь, еще не утеряно время! Погляжу.

XXXII

«Ох, и я грешник в указаниях о ней! — мыслил Голицын, едучи в крепость. — Поддавался в выводах другим, торопился без толку, льстил догадкам и соображениям других!»

Нева, поверх льда, была еще затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета Голицына с трудом пробиралась между незамерзших луж.

Обер-коменданта он не застал дома. Тот с ночи находился в равелине. У крыльца вертелся с бумагами Ушаков. Он подошел к князю и начал было:

— Так как вашему сиятельству небезызвестно, расходы на оную персону...

— Ведите меня к арестантке, — сказал князь дежурному по караулу, обернув спину к Ушакову. — Чем занимаются! Что больная? В памяти еще?

— Кончается, — ответил дежурный.

Голицын перекрестился. У входа в равелин его встретил обер-комендант Чернышев.

Князь не узнал его. Бравый, молодцеватый фронтовик-служака Чернышев, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен.

— Бедная, — прошептал фельдмаршал, идя с Чернышевым, — ужели умрет?.. Был доктор?

— Неотлучно при ней, с вечера, — ответил Чернышев, — недавно началась агония... бредит...

— О чем бред? Говорите! — опять всполошился князь, склоняя голову к Чернышеву. — Были вы у нее, слышали? Бред о чем?

— Заходил несколько раз, — ответил обер-комендант. — Твердит непонятные слова, слышатся между ними: Орлов... принцесса... mio caro, gran Dio...[1]

— Ребенок? — спросил, смигивая слезы, князь.

— Жив, ваше сиятельство, на руках кормилки... супруга... жена-с хорошую нашла.

— Заботьтесь, сударь, чтоб все было, понимаете, чтоб все, — внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе веские, начальнические звуки, — по-христиански, слышите ли, вполне... И на случай, здесь же... в тайности, понимаете ли, и без огласки... ведь человек тоже, страдалица.

Князь еще хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слезы. Он качнул головой, оправился и, по возможности бодрясь, твердо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое, серое небо, заволоченное обрывками облаков.

Над равелином в вихре падавшего снега беспорядочно вились галки. Полусорванные смолкшей двухдневной бурей железные листы уныло скрипели на ветхой крыше. Фельдмаршал, кутаясь в соболий воротник, сел в карету и крикнул:

— Домой!

---

[1] Мой дорогой, великий Боже... (*итал.*).

«В прежние наводнения, — рассуждал он, — не раз заливало казематы; теперь Господь помиловал ее, бедную. Да, по всей видимости, — мысленно прибавил он себе, — несчастная — игралище чужих, темных страстей. Самозванка ли, трудно решить. Так ее величеству и отпишу... ее смерть падет не на наши головы...»

Карета быстро неслась по свежему падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегольские экипажи и одиноких пешеходов, озабоченно шагавших сквозь снежную завируху.

Мелькали те же дома и церкви, те же мосты и вывески, к которым старый князь, с хлопотливою, деловою озабоченностью начальника северной резиденции, приглядывался столько лет. Вот и дом полиции, у Зеленого моста на Невском, и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе.

«А что если она и впрямь не самозванка?» — вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на Мойке место бывшего Елисаветина Зимнего дворца и далее, по Невскому, Аничковы палаты Разумовского.

Голицыну вспомнилось прошлое царствование, тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы и все, что унеслось с теми невозвратными годами и людьми.

Вечером четвертого декабря 1775 года княжна Тараканова — dame d'Azow, Али Эмете и принцесса Владимирская — скончалась. Ее последних минут не видел никто. К ней вошли — она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к образку Спаса.

На следующий день сторожившие ее гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости вырубили при помощи ломов и кирок на внутреннем, обсаженном липками дворике Алексеевского равелина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав его мерзлой землей. Инвалидный вахтер Антипыч сам от себя посадил над этой могилой березку... Прислугу арестантки, горничную Мешеде и шляхтича Чарномского, по довольном опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании отпустили в чужие края.

Отец Петр проведал о кончине арестантки по слезам и некоторым намекам кумы, обер-комендантши. Он сказал себе: «Узницы тьмы, долгою нощию связаны, успокоил вы Господь!» — и без огласки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе божией Елисавете, причем на проскомидии, в помин ее души, вынул частичку из просфоры.

— По ком это, крестный, вы служили панихиду? — спросила священника Варя, увидев у него на столе эту просфору.

— Неизвестная тебе особа, многострадальная!

— Да кто она?

— *Аз раб и сын рабыни твоея*, — ответил загадочно отец Петр, — все мы под властью Божьей, мудрые и простые, рабы и цари... *сокровенная притчей изыщет и в гадании притчей поживет!..*

Фельдмаршал Голицын долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать.

«Э, была не была! — сказал он себе. — С мертвой не взыщется, а всем будет оправдание...»

Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясным, старческим почерком, написал:

«Всклепавшая на себя известное вашему величеству неподходящее имя и природу сего четвертого декабря умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого». «А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать, — мысленно добавил Голицын, кончив это письмо, — можно пустить слух, что ее залило наводнением... Кстати же, так стреляли с крепости и разгулялась было Нева...»

Так и сложилась легенда о потоплении Таракановой.

Пробившись без успеха еще некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадежности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице.

Это было в том же декабре 1775 года, накануне возвращения Екатерины в Петербург. Прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом о нем забыли. По нему не последовало никакого решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова — ей это отсоветовали.

Возвратясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы и, как старик ни старался смягчить свой рассказ, поняла, какая драма постигла ослепленную жертву чужих видов.

— Пересолили, князь, и мы с тобой! — сказала Екатерина. — Отчего ты не был откровеннее со мной?

«Я кругом виновата, — решила Ирина после мучительных сомнений и раздумья, — через меня Концов бросил родину, через меня впал в отчаяние, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у Бога прощение всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать.»

Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги. В сопровождении Вари, помолвленной в том году с учителем московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший невдалеке от Киева, и поступила туда послушницей в надежде скоро принять окончательно постриг. Сколько Варя ни разубеждала ее, со слезами и заклинаниями, Ирина, надев рясу и клобук, твердила одно:

— Я виновата, мне молиться за него и вечно страдать...

XXXIII

Мольбы, однако, не шли на ум Ирине.

Прошло пять лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Ее приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Вари, отец Петр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила. Он ей очень обрадовался, стал ее расспрашивать.

— Неужели все еще ждете, надеетесь, что ваш жених жив? — спросил он. — Столько лет напрасно тревожитесь; был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь, не говорю вам — знакомым, родным?

— Не говорите, батюшка, — возразила Ирина, утирая слезы, — все отдам, всем пожертвую.

— Но это, сударыня моя, даже грешно... испытываете провидение, язычески гадаете.

— Что же мне делать? — произнесла Ирина. — Вижу тяжелые, точно пророческие сны... Один, особенно, ах, сон!.. Недавно снилось, да подряд несколько ночей...

Ирина смолкла.

— Что снилось? Говорите, откройтесь.

— Снилось, будто он подошел к моему изголовью такой же, как я его видела у нас в деревне в последний раз, — статный, красивый, добрый, и говорит: «Я жив, Аринушка, я там, где шумит вечное море... смотрю на тебя утро и вечер с берега, жду: авось, меня найдешь, освободить...» Ах, научите, где искать, кого просить? Государыню снова просить не решаюсь...

— Думал я о вас, — сказал отец Петр, — здесь некому, кроме одного лица... А это лицо — государь цесаревич Павел Петрович... Он — гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей, один может. Лучшего пособника, коли он только снизойдет к вам, в вашем деле не найти... Тут все: и ум, направленный к благому и таинственному, и связи с могучими и знатными филантропами. А доброта? А рыцарская честность? Это не Тиверий, как о нем говорят враги, а будущий благодетельный Тит...

— Да, я слышала, — ответила Ирина.

— Слышали? Так поезжайте же к нему на мызу, ищите аудиенции.

Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами, дал ей письмо к своей крестнице, кастелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кибитку и через Царское Село отправилась на собственную мызу великого князя — Паульслуст, впоследствии Павловск.

Кастелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она, приютив ее у себя, показала ей диковинки великокняжеского сада и парка, домики «Крик» и «Крах», хижину Пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты.

Было условлено, что Ирина сперва все изложит ближней фрейлине цесаревны — недавней смолянке Катерине Ивановне Нелидовой.

— Когда же к Катерине Ивановне? — спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания.

— Занята она, надо подождать, на клавикордах все любимую пьесу цесаревича, какой-то гимн изучает для концерта.

Ирина шла однажды со своей хозяйкой по парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу показалась белокурая дама, в голубом, без фижменов, шелковом платье.

— Кто это? — спросила Ирина.

— Цесаревна, — ответила чуть слышно, низко кланяясь, кастелянша.

Ракитина обмерла. Двадцатидвухлетняя, стройная, несколько склонная к полноте красавица, великая княгиня Мария Федоровна прошла мимо Ирины, близорукими, несколько смущенными глазами с удивлением оглядев ее монашеский наряд. За цесаревной, со свертком нот и скрипкой под мышкой, шел худой и высокий рябоватый мужчина, в темном кафтане и треуголе.

— А это кто? — спросила Ракитина, когда они прошли.

— Паэзиелло, — ответила кастелянша, — учитель музыки ее высочества.

Ирина с восхищением разглядела редкую красоту цесаревны, нежный румянец ее лица и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах, вправленные для сохранения свежести в особые, крохотные стеклянные бутылочки с водой.

Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них, невысокая, худенькая и подвижная брюнетка, поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз.

Она весело болтала со спутницей. То была Нелидова. Мило прищурившись сделавшей ей книксен толстой кастелянше, она ей сказала с ласковой улыбкой:

— Все некогда было, Анна Романовна, — все гимн... завтра утром....

«Итак, завтра», — подумала Ирина, восторженным взором провожая чудных, нарядных фей, так нежданно мелькнувших перед нею в парке.

В назначенный час Анна Романовна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила ее в небольшой приемной.

— Катерина Ивановна, видно, еще во дворце, у великой княгини, — сказала она, — подождем, голубушка, здесь, скиньте ваш клобучок... жарко.

— Ничего, побуду и так....

Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены.

— Это все работа великой княгини, — произнесла кастелянша. — Взгляните, матушка, что за мастерица, как рисует по фарфору... А вон в черном шкапчике работа из кости: сама режет на камнях, тушует по золоту ландшафты, точит на станке. А как любит Катерину Ивановну и все ей дарит. Это вот ею вышитая подушка. Смотрите, какая роза, а этот мирт, что за тонкость узора, красок. Точно нарисовано.

Ирина не отзывалась.

— Что молчите, милая? О чем думаете?

— Роза и мирт, — произнесла, вздохнув, Ирина, — жизнь и смерть... Чем-то кончатся мои поиски и надежды?

Из комнат Нелидовой в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий, отлично выработанный голос пел под эти звуки торжественный и грустный гимн из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде».

— Ну, Арина Львовна, уйдем, — сказала кастелянша, — видно, опоздали: Катерина Ивановна за музыкой, а в это время никто ее не беспокоит. Того и гляди, у нее теперь и великая княгиня.

Ирина, дав знак спутнице, чтоб та несколько обождала, с замиранием сердца дослушала знакомый ей, молящий гимн Ифигении. Она сама когда-то в деревне пела его Концову.

«О, если бы я так могла их просить! Но когда это будет? У них свои заботы, им некогда!» — подумала она, чувствуя, как ее душат слезы.

— Идем, идем, — торопила Анна Романовна.

Гостьи тихо вышли в сени, на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула.

— Куда же вы это? — раздался над их головами веселый оклик.

Они подняли глаза. Из растворенного окна на них глядела радушно улыбающаяся черноглазая Нелидова.

— Зайдите, я совершенно свободна, — сказала она, — пела в ожидании вас, зайдите.

Гостьи возвратились.

Кастелянша представила Ракитину. Нелидова приветливо усадила ее рядом с собой.

— Так молоды и уже в печальном уборе! — произнесла она. — Говорите не стесняясь, слушаю.

Ирина, начав о Концове, перешла к рассказу о плене и заточении Таракановой. С каждым ее словом, с каждой подробностью печального события оживленное и обыкновенно веселое лицо Нелидовой становилось пасмурнее и строже.

«Боже, какие тайны, какая драма! — мыслила она, содрогаясь. — И все это произошло в наши дни! Точно мрачные, средневековые времена, и никто этого не знает.»

— Благодарю вас, мамзель Ирен, — сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину, — очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я все сообщу их высочествам... И я убеждена, что государь-цесаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести... все для вас сделает. Но кого он должен просить?

— Как кого? — удивилась Ирина.

— Видите ли, как бы вам сказать? — произнесла Нелидова. — Государь-наследник не мешается в дела правле-

ния, он может только ходатайствовать, просить... от кого зависит ваше дело?

— Князь Потемкин мог бы, — ответила Ирина, вспомнив наставления отца Петра, — этому сановнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов, быть может, снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на островах атлантических дикарей.

— Вы долго здесь пробудете? — спросила Нелидова.

— Мать-игуменья обители, где я живу, давно отзывает, ждет. Мои поиски все осуждают, именуют грехом.

— Как же и куда вам дать знать?

Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгиней.

— Я так исстрадалась и столько ждала, — проговорила она, подавляя слезы, — не пишите мне ничего, ни слова! А вот что... вложите в пакет... если удача — розу, неудача — миртовый листок.

Нелидова обняла Ирину.

— Все сделаю, все, — ласково сказала она. — Попрошу великую княгиню, государя-цесаревича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу.

XXXIV

Вестей не приходило. Наступил 1781 год.

С удалением князя Григория Орлова и с падением влияния воспитателя цесаревича Панина новые советники императрицы Екатерины с целью устранить от нее влияние сына, Павла Петровича, подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу, для ознакомления с чужими странами, в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом в монастыре из писем Вари.

Их высочества оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября, под именем графа и графини Северных, они в украинском городке Василькове

проехали русскую границу с Польшей. Здесь фрейлину Нелидову ожидала подъехавшая накануне по Киевскому тракту некая молодая, в черной монашеской рясе, особа. Она была введена в помещение Катерины Ивановны. Туда же, через сад, как бы невзначай, пока перепрягали лошадей, вошли граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли — граф сильно бледный, графиня в слезах.

— Бедная Пенелопа, — сказал Павел Нелидовой, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья темную фигуру Ирины.

Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по отъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь.

— Роза, роза!.. Не мирт... — загадочно для всех крикнула незнакомке Нелидова по-французски, маша ей, как бы в одобрение, из кареты платком.

«Действительно, плачущая Пенелопа!» — подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную темную фигуру Ирины.

Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили новый, 1783, год в Венеции.

Восьмого января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском плаще табарро, а великая княгиня в нарядной венецианской мантилье и в цендаде посетили утром картинную галерею и замок дожей, а вечером — «Театр пророка Самуила», где для высоких гостей давали их любимую оперу «Ифигения в Тавриде». Сам знаменитый маэстро — композитор Глюк управлял оркестром.

После оперы публика повалила на площадь Святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный народный маскарад. Площадь кипела разнообразною, оживленною толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленное для них палаццо, гулял по площади в маске, в стороне от других,

беседуя с каким-то высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе.

Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни. Шум и говор пестрой толпы не развлекал собеседников.

— Кто это? — спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный шедшего рядом с ним незнакомца.

— Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов...

Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился.

— Вы — чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет, — произнес он любезно, хотя с нескрываемою усмешкой в голосе. — Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это, без сомнения, шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю! — прибавил он, стараясь быть любезным. — Смешно верить сказкам... Но есть сказки и сказки, поймите меня... Хотелось бы вас спросить об одном явлении...

— Приказывайте, слушаю, — ответил незнакомец.

— Например... и это опять только, без сомнения, разговор кстати, — продолжал граф Северный, — меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятные вмешательства в нашу духовную область сверхъестественных сил. Мне бы хотелось... я бы вас просил, раз мы встретились так нежданно, объяснить мне одну загадочную вещь, странную встречу...

— К вашим услугам, — ответил, вежливо кланяясь, незнакомец.

Его собеседник молча прошел несколько шагов.

Павел боролся с собой, стараясь в чем-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжелое и томительное, что, очевидно, составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он утер лоб.

— Я видел духа, — проговорил он нерешительно, едва сдерживая волнение, — видел тень, для меня священную...

Незнакомец опять слегка поклонился, идя рядом с Павлом, который свернул с площади к полуосвещенной набережной.

— Однажды, это было в Петербурге... — начал граф Северный.

И он передал собеседнику известный, незадолго перед тем кем-то уже оглашенный в чужих краях рассказ о виденной им тени предка: как он в лунную ночь шел с адъютантом по улице и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась какая-то рослая, в плаще и старомодном треуголе, фигура, как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень. Незримый адъютанту призрак обратил к Павлу грустный и укорительный голос: «Павел, бедный Павел, бедный князь! Не особенно привязывайся к миру: ты не долго будешь в нем. Бойся укоров совести, живи по законам правды... Ты в жизни...»

— Тень не договорила, — заключил граф Северный, — я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер: передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед Петр Великий. Я сразу узнал его ласковый, дышавший любовью ко мне взгляд, хотел его спросить... он исчез, а я стоял, прислонясь к пустой, холодной стене...

Проговорив это, Павел снова снял маску и утер платком лицо, оно было смущенно и бледно. Перед его глазами как бы еще стоял дорогой печальный призрак.

XXXV

— Как думаете, синьор? — спросил, помолчав, граф Северный. — Была ли это греза, или я действительно видел в то время тень моего прадеда?

— Это был он, — ответил собеседник.

— Что же значили его слова? И почему он их не договорил?

— Вы хотите это знать?

— Да.

— Ему помешали.

— Кто? — спросил Павел, продолжая идти по опустевшей набережной.

— Призрак исчез при моем приближении, — ответил собеседник. — Я в то время шел от вашего банкира Сатерланда; вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень.

Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно явное шарлатанство мага и вместе с тем хотелось еще нечто от него узнать.

— Вы шутите, — произнес он, — разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал.

— Имел удовольствие... но на короткое время... меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек, я ожидал внимания, но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал.

«Шут, скоморох! — презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный. — Какие басни плетет!»

— Приношу извинения за грубость нашего министра, — с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляпы. — Но что, объясните, значат недосказанные слова тени?

— Лучше о них не спрашивайте, — ответил незнакомец. — Есть вещи... лучше не допытывать о них немой судьбы...

В это время с большого канала донеслись звуки лютни. Кто-то на гондоле пел. Павел прислушался: то был его любимый гимн. Он вспомнил мызу Паульслуст, музыкальные утра Нелидовой и ее ходатайство за Ракитину.

— Хорошо, — сказал он, — пусть так, правду скажет будущее. Но у меня к вам еще просьба... Особа, которой я

хотел бы искренне, во что бы то ни стало, услужить, желает знать одну вещь.

— Очень рад, — произнес собеседник. — Чем могу еще служить вашему высочеству?

— Одна особа, — продолжал граф Северный, — просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский. Он был на корабле, который пять лет назад погиб без следа.

— Русский корабль?

— Да.

— Был унесен и разбит бурей в океане, невдалеке от Африки?

— Да.

— «Северный орел»?

— Он самый... вы почем знаете?

— На то меня зовут чародеем.

— Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк? — нетерпеливо произнес граф Северный.

Собеседники стояли у края набережной. Волны, серебрясь, тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался темный, с подвязанными парусами, силуэт корабля.

— Завтра на этой шхуне, — сказал собеседник Павла, — я покидаю Венецию. Но прежде, чем уйти в море и ответить на новый ваш вопрос, мне бы хотелось, простите, знать... будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о моряке?

Нервное волнение, охватившее Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда, несколько улеглось. Он начинал более собою владеть. Вопрос собеседника привел его в негодование. «Наглец и дерзкий пролаз! — подумал он с приливом подозрительности и гнева. — Каково нахальство и какой дал оборот разговору! Базарный акробат, шарлатан!..»

Павел еле сдерживал себя, комкая в руках снятую перчатку.

— За будущее трудно ручаться, по вашим же словам, — сказал он, несколько одумавшись, — впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранца прием.

Собеседник отвесил низкий поклон.

— Итак, вам хочется знать о судьбе моряка? — произнес он.

— Да, — ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское, иносказательное, пустое.

— Пошлите особе, ожидающей вашего известия, — проговорил итальянец, — миртовую ветвь...

— Как? Что вы сказали? Повторите! — вскрикнул Павел. — Мирт, мирт? Так он погиб?

— Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов.

— А теперь? Говорите же, молю вас...

— Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил.

— Откуда вы все это знаете?

— Я также в то время жил на Тенерифе, — ответил собеседник, — списывал в монастырском архиве одну нужную мне древнюю латинскую рукопись.

«Да что же это наконец? Фокусник он или действительно всесильный маг? — в мучительном сомнении раздумывал Павел. — По виду — ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более... Но откуда все это сокровенное — берега Африки, имя погибшего корабля... и эта условленная, роковая, миртовая ветвь? Неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была...»

Павел еще хотел что-то сказать и не находил слов. Над взморьем, где виднелась шхуна, уже начинался рассвет.

— Я провожу ваше высочество до палаццо, — сказал искательно, как-то низменно-мещански изгибаясь, собеседник, — дозволите ли?

Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета, бархатный с блестками наряд мага и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво пошел назад по безлюдной набережной.

«Бедная, плачущая Пенелопа! Бедная красавица Ирен! — мыслил он. — Не разъяснили ей мучительной загадки министры, рыцари и послы; пошлем ей миртовую ветвь итальянского скомороха и вызывателя духов.»

XXXVI

Прошло еще пятнадцать лет... 1796 год приближался к концу.

Были первые месяцы царствования императора Павла.

В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Радищева.

Император с августейшею супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Полицеймейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского равелина, где в то время кончались неотложные исправления. Один из казематов привлек особое внимание высоких посетителей.

— Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев? — спросил государь коменданта.

— Никак нет-с, ваше величество, раскольники.

— Но как же, смотрите, — указал государь на окно, — вот надпись на стекле алмазом: «O, Dio mio![1]»

Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел еще ознакомиться с преданиями о прошлом крепости.

— Любопытно было бы узнать, — произнесла государыня Мария Федоровна. — Почерк женский. Бедная! Кто бы это был?

---

[1] О Бог мой! *(итал.)*.

— Не Тараканова ли? — сказала бывшая здесь Нелидова. — Помните ли, ваше величество, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии?

— Тараканова в то время утонула, — сказал кто-то, — ее здесь залило наводнением.

Все на это замечание промолчали. Одна императрица Мария Федоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада равелина белую березу, шепнула:

— Вот ее могила! Помните? Но где те записки о ней?

Государь, очевидно, слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову:

— Надо во что бы то ни стало это разузнать, здесь совершено прискорбное дело... Были смутные времена: покушение Мировича, бунт Пугачева, потом эта... эта... несчастная... Я видел слезы матушки... она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в свое отсутствие из Петербурга.

Полиция начала розыски. Где-то в богадельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, двадцать лет назад служившего сторожем в крепости... Инвалид указал на какого-то огородника, а этот на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами и в нем некий важный, особо хранившийся пакет.

Бросились искать семью отца Петра. Прямого потомства у него не оказалось. Нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену сенатского писца. Ее навестил сам Архаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра и был ли он, с другою рухлядью, по его смерти отослан племяннице в Москву или иному кому, никто этого не знал.

Дело объяснилось впоследствии, в глубине Украины, в уединенном и бедном монастыре, где некогда поселилась Ирина и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба Божьего Павла.

В числе немногих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью: «От отца Петра» — и между ними засохшую миртовую ветвь при письме одной важной особы. Бумаги у игуменьи выпросил на время и зачитал любитель старины сосед, кончивший впоследствии жизнь в чужих краях.

...Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесменский, умер в чине бригадира в конце прошлого века.

Пережив императрицу Екатерину и императора Павла, граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную умершую безбрачною дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствование императора Александра I, накануне Рождества в 1807 году.

Преследовали ли его при кончине угрызения совести за его поступок с Таракановой или в крепкую душу графа Алеха́на до конца жизни не западало укоров совести — неизвестно.

Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы. Чтоб не было на улице слышно ужасных стонов и криков умирающего «исполина времен», было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавший в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче.

1883 г.


Потемкин
на Дунае

Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов...

А.С.Пушкин

В одном из городов Бессарабии в минувшем году понадобилось занять под военный склад часть каменного здания, заваленного делами какой-то всеми забытой интендантской комиссии. При переноске бумаг на чердаке архива, среди разного хлама, обратили внимание на старомодную безногую шифоньерку. В ней оказалась часть разных полуистлевших фуражных дел известного, в походах Суворова, фанагорийского пехотного полка и связка тетрадей из синеватой плотной, мелкоисписанной бумаги с заголовком: «Памяти российского Агамемнона». С боку одной из страниц приписка: «О моем, полном треволнений, примечательных встреч и событий, незабвенном пребывании на Дунае, писал для своих детей и внуков секунд-майор Савватий Бехтеев».

В тексте найденной рукописи заменены лишь некоторые, совсем устарелые слова, теперь мало даже понятные, и рассказ разделен на главы.

I

...Зимой, в начале 1790 года, в Петербурге было особенно много веселостей. Не забуду я той поры до конца жизни.

Выпущенный из кадет морского корпуса во флотские батальоны, состоявшие лично при особе наследника-цесаревича Павла Петровича, я проживал в Гатчине, но нередко отлучался на побывку и в столицу. Моим батальонным был сам государь-наследник, как генерал-адмирал и президент морской коллегии; другими командовали Неплюев, Аракчеев и Малютин.

Моряки особенно любили цесаревича; но его «финанции» были нарочито необширны, а подчас и ой как скудны. Мундирчики наши, на прусский лад, короткие и темно-зеленые, были часто из перекрашенного суконца, а потому, побывав на солнце, даже притом пегие. Но мы не унывали, кое-как, хоть тесненько, «обострожились» и, в поношенной амуниции, не уступая щеголям и петиметрам, отдавали охотно дань молодости и свету. Ах, время, время, неизгладимое в сердцах и в памяти тогдашних людей!

То был двадцать восьмой год преславного государствования великой монархини Екатерины Второй. Она старалась, но не уставала в знаменитых делах. Блеском был окружен ее престол. Первая турецкая война — Румянцевская — кончилась; продолжалась вторая — Потемкинская. Мы, кадеты, собираясь на свободе о том о сем потолковать, мало говорили о громких внутренних событиях протекших времен — о заседаниях в Зимнем дворце именитой комиссии для начертания «Нового Уложения», равно как о Пугачеве и укрощении его приснопамятного бунта. Зато на устах всех были имена Потемкина и Суворова, особенно последнего. Нас тянуло на Дунай, туда, где, казалось, так близко осуществление новой великой Восточной системы, сиречь бессмертного «греческого прожекта» светлейшего, изгнание турецких орд из Европы и всеми желанное воцарение на древнем византийском престоле второго внука императрицы, Константина. Так нареченный в честь последнего Палеолога, павшего при разгроме турками Византии, одиннадцатилетний внук Екатерины в то время был нарочито окружен греками. Его

кормилица, слуги и даже товарищи игр были природные жители Греции. В Петербурге был в тех же целях устроен греческий кадетский корпус. И некоторые жители Эллады писывали августейшему отроку просительные письма, с титулом: «Кротчайшему греческому самодержцу, Константину Третьему». Государыня в январе устроила при дворе пышную свадьбу девицы Мурузи с Комнином и сама убирала к венцу невесту. Начинали учиться по-гречески...

Золотые, счастливые годы! Все мы тогда жили смелыми, возвышенными мечтаниями.

Был у меня товарищ по морскому корпусу, Ловцов, малый пылкий, чувствительный и одаренный прекрасным сердцем. С ним в особенности мы любили проводить время в толках о военных материях. Я был резкий, шустрый мальчик, склонный к забавам и шалостям. И воспитание наше тогдашнее, по Эмилю, было более в естественных упражнениях, в играх, беганье на свободе, в танцах и других физических забавах. Война, подвиги смелых героев наполняли мое воображение. Наш корпус находился в то время в Кронштадте. Уединенная на морском берегу липовая аллея, в корпусном саду, была любимым местом наших бесед с Ловцовым. Бывало, забьемся туда, усядемся с книгами или гуляем вдали от других товарищей и от начальства. Мы поделили в корпусе главных героев: одни были за смелого в боях воителя Суворова, другие — за блистательного в политических замыслах пышного Потемкина.

По выходе из корпуса Ловцов списался с отцом и тотчас отправился в действующую против турок дунайскую армию. Как я ему завидовал и как роптал на свою судьбу, особенно когда мой друг, проездом через Херсон, отписал мне в пространственной цидуле, что там на городских триумфальных, в честь Потемкина, воротах дворянством были начертаны сии знаменательные слова: «Путь в Византию». Византия! Изгнание новых моавитян и возрождение, через Россию, падшей и забытой империи Палеологов! Горячо билось в то

время любовью к родине сердчишко только что выпорхнувшего из гнезда легкокрылого птенчика.

В Гатчине вокруг цесаревича было тоже пылкое настроение, хотя сам впечатлительно-чуткий и рыцарски-возвышенного духа государь-наследник по невольности сдерживался. На все его просьбы государыне-матери отпустить его к храброму российскому войску, стоявшему у Дуная, последовали ясные и бесповоротные отказы с советом: заниматься своим делом и ждать, «когда коснутся сего пункта».

В Петербурге, куда я иногда наезжал повеселиться с товарищами, повертеться в театрах и на гуляньях, был заметен отличный от гатчинского и во многом несходный образ мыслей. В ближних дворянских кругах старались всеми силами отвратить помыслы монархини от продления предпринятой войны, находя то рановременным, фантастическим и аки бы, ввиду французских происшествий, даже весьма вредительным для спокойствия и мирного процветания самой Российской империи.

В тайности же этой критикой подводились злые подкопы под сильного вельможу, первого тогдашнего пособника государыни, Потемкина. Светлейшему нашелся в тот именно год нежданный и негаданный соперник, юный будущий князь, тогда еще граф, Платон Зубов. Все начинало раболепствовать новому всевластному дворскому светилу, а вследствие того и тайно порочить каждое распоряжение князя Таврического, к тому же от обиженной гордости, в непостижимом бездействии, мирно жившего в то время среди блестящей свиты в Яссах.

Поместье моего отца, В***й губернии, было в соседстве с имением Зубовых, и мы хорошо знали всю их неказистую роденьку. Ух, сильно были чванливы и спесивы и ой как жадны к власти и к почестям, а ума весьма средненького и даже простого. Наши домашние дела помешали мне проситься на Дунай. Долги отца, по поручительству за кого-то из сродников державшего винный откуп, грозили нам немалыми бедами. Но была к тому и еще одна причина.

Вскоре по моем выходе из кадет на зиму в Петербург приехала моя двоюродная тетка Ольга Аркадьевна Ажигина.

Поместье Ажигиных, Горки, было невдалеке от деревни моей бабушки и крестной матери, у которой я часто гащивал до поступления моего в корпус. И как я всякий раз радовался, когда бабушка, навещая соседок, возила и меня в красивую и преотменную усадьбу Горок. Дом Ольги Аркадьевны стоял у озера, на гребне далеко видного холма, весь в зелени старого, густорослого сада, сбегавшего по откосам и оврагам к воде, с боскетами, перекидными мостиками, качелями, гротами и островками.

По саду резвилась черноволосая, коротко, ежиком, остриженная, в белом передничке, с карими глазками и с премилою родинкой на подбородке, семилетняя Пашута, единственная дочь вдовой хлебосольной, дородной и доброй, хотя несколько сердитой на вид Ольги Аркадьевны. Говорю — сердитой, потому что, бывало, нахмурит Ольга Аркадьевна свои черные прегустые брови — ну, Зевс-громовержец или по крайности арабистанский лев. А из-под бровей светятся такие ласковые, простые и сердечные глаза. Кажется, вот положит тебя, шалуна, под горячий час, на широкую свою ладонь, другою прихлопнет, только мокренько станет. А она вареньем кормит, целует да пыхтит, куда делся и гнев. Ну, премилая и преавантажная была барыня. О Пашуте нечего и говорить.

Я как теперь вижу эту веселую, проворную и шаловливую, как котенок, резвушку. Не посидит на месте: разбросает куклы, цветные лоскутки, прыгает по стульям или вертится юлой по паркету, стоя на одной ноге. То присядет, охает, перецыганивает старую няню Меркульевну; то ураганом налетит на комоды и укладки матери, перероет все, нанесет вороха отрезок и всякого хлама и сядет с иглой у столика — куклам платья шить. Но глядишь — опять все бросила, размела, с собачкой-болонкой возится, гремит или вдруг стихла, пропала — ну, точно ветром ее унесло. Ищут ее под мебелью, в занавесках, на хорах, на чердаке. Ольга Аркадьевна махнет рукой — бросьте, мол, ее непутную: знамое дело... А потом встрево-

жится: ну, как выскочила егоза, попала в колодец или в сугроб; собаки опять же такие злые во дворе. Пыхтит, сердится, вызывает ее: выходи, Пашутка, от дьяконицы пирожков с маком принесли, поймали на проталинке снегиря. Выскочит она из какой-нибудь норы, из-за печки, из шкафа с платьем и заливается. Но вот ей исполнилось десять, одиннадцать лет. Она все та же юла, но стала выравниваться, хорошеть. Папильотки носить, на плечиках модести, а с кошкой спит, пеленает ее и водит в каком-то вязанном из гаруса уморительном колпаке.

Я был тремя годами старше троюродной сестрицы Прасковьи Львовны и не скроюсь в том, что, когда ей исполнилось двенадцать лет, стал очень к ней неравнодушен. В деревне чего у нас не бывало: умильные переглядывания при больших, вздохи, поднесения цветов и нечаянные встречи в боскетах да в тенистых, дремучих аллеях, а раз где-то, на мостике, искусно перекинутом через шумящий ручей, даже и нежданно сорванный, весьма перепуганный поцелуй — словом, амурные мистерии по всей форме. Расстались мы на время, как бы накоротке, а случилось весьма надолго, почти на семь лет. И как я досадовал, что, отправляясь в корпус, не предвидел столь долгосрочной разлуки!

В день последнего отъезда из Горок — это было осенью — Ажигина садила разный лесной молодник в своем саду, и мы с Пашей на память тоже посадили в цветочной клумбе, перед домом, молоденький в пол-аршина дубок.

Троюродная сестрица Пашута под конец деревенской моей жизни тем особенно стала меня занимать, что вообразилась мне, по ее, впрочем, словам, какой-то непризнанной, таинственной жертвой у матери. «Ольги-то Аркадьевны!» — добавлял я себе впоследствии. «И не любят-то ее как следует, варенья мало дают — «зубы испортишь» — и по-французски Ломонда все велят учить, а он такой противный; в чулках и в переднике репейников нанесла с огорода, всю дымковую кисейную юбочку искромсала в поспевшем крыжовнике; бегаешь, как мальчик-сорванец, по сырости, горло застудишь; в чернилах не токмо персты, даже весь нос, писавши урок, пере-

красила». И как, бывало, встретимся где в закоулке, шепчет Пашута на мамашу, да так всерьез, как что важное, по тайности, сдвинет брови, оглядывается и грозит, чтобы не проговорился. Тогда я не понимал причины тех шептаний, а после их относил к пересудам какой-либо долгоязыкой, некстати ластивой приживалки либо к раннему чтению любовных рыцарских и всяких романов, которые Пашута брала у матери и тайком читала в своей горенке. Рыцари спасали героинь из-за заперти, из неприступных вышек — ну, и Пашута быстрыми, вглядчивыми глазками искала в Горках своего рыцаря. Помню последнюю нашу встречу в деревне. Был теплый осенний день. Посадив на клумбе, среди цветов, дубок, мы побежали под горку, к гроту. Паша села на качели. Я взялся за веревку и стал ее покачивать. Как теперь ее вижу — в косах, в голубом коротеньком платьице и в панталончиках. Она задумалась. Ленты кос и передник развеваются.

— О чем, Пашута, думаешь?

— Ах! Сказку о жар-птице, о грифах вспомнила. Точно сижу на грифе и лечу, лечу... земля, пруд, Горки и ты сам, точно дым, виднеются из облаков...

Хлопотливая и шумная корпусная жизнь мелькнула для меня незаметно. Пока бабушка была жива, я нередко писывал к ней и повсегда слал поклоны «соседкам» — спрашивал о здоровье троюродной сестрицы, о гротах, ее любимой кошке и о посаженном дубке. Баловница-бабушка, сама имевшая в жизни немало, как она говорила, амурных «гисторий», покровительствовала моему настроению. Через нее я препровождал «матушке-кузине» собственного переписывания, с виньетами, романсы для пения Беллиграцкого, модные марши для фортепьяно Сарти, а иногда и преловко подобранные, иносказательные, с акростихами, куплеты. Пугала, бывало, бабушка.

«Представь, mon bijou, — писывала она, — в твою-то Лаису сердцеед и псовый охотник, один штык-юнкер, наш сосед влюбился. Везде-то он, mon coeur, мотается, где только ляжет ее следок; не пускают шаматона к Горкам на пу-

шечный зык; так он — Dieux la garde! — ночи напролет снует, по луне, верхом за озером и трубит в охотничий большущий рог, подает о себе голос...»

Со смертью бабушки сведения мои об Ажигиных прекратились. Домой о них я не решался писать. Там знали о моем детском волокитстве; я же старался казаться теперь степенным и возмужалым. А где там степенность! Время, впрочем, взяло свое. Классные занятия, экзамены, выпуск в офицеры, обмундировка, новые товарищи и нешуточная строгая служба в Гатчине, с веселыми побывками в столицу — все это мало-помалу незаметно изгладило мои деревенские впечатления, особенно урывки в Петербург.

Не было сверстника, более меня в те годы падкого до всяких проказ и холостых кутежей. Рослый, статный, румяный, голубые глаза с поволокой, русая коса и букли в пудре и распомажены, надушен, находчив, весельчак, танцор и хохотун. Ах, где вы ныне, те прошлые, давние годы? Природная вечная пудра посеребрила голову... «Кто будет на конском бегу? Бехтеев будет? Ну, и мы там!» — бывало решают товарищи. Театра, охоты, танцев, попойки без меня и не затевали. Где Бехтеев, там и жизнь, смех, пляс и всякие веселости. Попадался я и в разных превратностях: раз, побившись об заклад, в женском платье забрался я к вечерне в девичий престрогий пансион; в другой — проигрался в карты в преображенском полку и, спустив на отыгрыш шубу, доехал обратно в Гатчину по морозу, зарывшись в одном мундирчике в чухонский воз с соломой. Были — впрочем, больше для виду — и волокитства за цыганками; но тощий кошелек не довел ни до чего серьезного.

Приезд Ажигиных меня переродил.

Нечего говорить, как я обрадовался, когда в Гатчину до меня дошла весть из дому, что Ольга Аркадьевна решила провести зиму 1790 года в Петербурге. Матушка писала, что причиной тому было желание Ажигиной закончить образование уже взрослой дочери по музыке, танцам и рисованию, а вернее, чтоб дать своему «милу дружку Пашуте» случай побывать в столице. Да и как было не соблазниться!

Здесь жила великая монархиня и был двор, и сюда всяк стремился тогда из глуши деревень взглянуть на новый мир и модные столичные забавы. «Выйдет замуж, не до того будет, — сказала, навестив матушку, Ольга Аркадьевна, — пойдут дети, муж не повезет; теперь сама еще, пока девка, владыка. Надеюсь, и ваш Савватий Ильич, как добрый знакомый и истинный кавалер, навестит нас».

Урожай хлеба и трав был в то лето в наших местах вообще изрядный, цены на сельские припасы стояли хорошие. Ажигина списалась с Цинклершей, своей кумой, бывшей в Петербурге за экономом Смольного монастыря, наняла у Николы Морского недорогую, но приличную по своему рангу квартиру, чистую да укромную, отправила вперед нужные вещи и часть дворни, а сама переехала в столицу в начале января.

Помню, как билось мое сердце, когда, по отписке родительницы, я приехал из Гатчины и вошел в посеребренный от инея палисадник одноярусного, с антресолями и верхним балконом, деревянного дома никольской попадьи.

Старый буфетчик Ермил, сидя в преогромных оловянных очках и с чулочными спицами в руках, не узнал меня в передней. Да и где было узнать в «стоярослом», плечистом, с завитой в буклях косой, флотском офицере былого неотесанного деревенского барчонка, камлотовые штиблеты и бумазейные камзолы которого кроились и шились не руками столичного первого портного Миллера, а седого крепостного закройщика Прошки.

Знакомые по Горкам столовые, семилоровые, с звонками и с музыкой нортоновские часы тетушки пробили полдень, когда я, оправясь в передней у зеркала, взялся за ручку зальных дверей. За ними слышались мягкие, нежные звуки клавесина, а им вторили порывистые, как бы нетерпеливые трели скрипки. Я вошел.

Дородная, несколько поседевшая тетушка, в белом утреннем пудромантеле и в чепце на неубранных волосах, с недовольством глядя в ноты, сидела за клавесином. А среди комнаты, в светло-кофейном кафтане, на жирных, прудастых, ловко изогнутых ножках, в позиции, готовый на легкокрылый прыжок,

стоял румяный, с строгой мордочкой старичок, танцевальный француз-учитель. Он вправо и влево размахивал скрипицей, нетерпеливо топал ножкой по полу, ударял смычком по струнам и собственными, преуморительными, на женский манер, выгибаниями и приседаниями сопровождал плавные шассе, плие и глиссады своей ученицы. Как теперь вижу эту картину, хотя тому прошло столько долгих, незабвенных лет.

Чуть взявшись концами пальцев за слегка приподнятый серо-дымчатый кисейный подол и гордо-рассеянно откинув красивую, с невысокой, a la Titus, прической голову, плясунья покачивалась, делая фигуру гавота, в тот миг, как я вошел.

— Chassez, balancez, jetez... et salut... en troisieme! — командовал, расшаркиваясь, старик.

Меня увидали. Крик, шум, объятия, приветствия, расспросы. Танец брошен. Я остался обедать — и весь вечер. В возмужалой, стройной девушке, с деревенским, здоровым загаром и с высокой крепкой грудью, я всилу спознал былую резвушку Пашуту, с которой когда-то вел детскую дружбу в хоромах и боскетах Горок. Большие карие глаза смотрели прямо и смело. Тонкая улыбка не сходила с подвижного лица. Пока мы говорили с Ольгой Аркадьевной, она рассеянно взглядывала то на меня, то на покрытые морозными узорами окошки, за которыми слышались бубенцы и санный гул проносившихся по наезженной гололедке городских саней.

— Весело вам здесь, сестрица? — спросил я Пашуту, когда мы остались вдвоем.

— Как вам сказать? — ответила она. — Для чего ж и приехали? Веселому жить хочется, помирать не можется.

— Вам ли думать о смерти?

— Да, так весело жить, — улыбнулась она, — смех тридцать лет у ворот стоит и свое возьмет.

— Любо вас слушать, не горожанка. А уж матушка лелеет вас и, чай, ласкает? Одна ведь дочушка у ней...

— Еще бы! Она такая славная.

— Выезжаете?

— О, да! В операх, в балетах были.

— А знакомых приобрели?

— Зачем? Нам и без них приятно.

Вижу, сдержаннее стала, не идет, как прежде, на откровенность.

— Ну, Савватий Ильич, — сказала мне после первых двух-трех заездов Ольга Аркадьевна, — ты ведь роденька, хоть и не близкая, да по сердцу. Я начистоту. Стыдно будет забывать тетку и сестренку. Уважь, почаще наведывайся к деревенщине, провинциалкам. Руководи, указывай Паше, что и как. Замок да запор девку не удержат. Ведь тебе все эти деликатесы и финессы как на ладони. Хотим поучиться да взглянуть на здешние вертопрашества. У вас тут всякие моды, карусели, куртаги, балы...

— Что ж, тетушка, с Богом! Раскошеливайте горецкие похоронки. Для кого ж и припасали?

— Так-то так, голубчик. Да ой как здесь все дорого. Помоги, племянничек! Нельзя ли, понимаешь, уторговать, подешевле добыть тех и этих ваших всяких диковинок. Вот хоть бы модные магазейны, — вздохнула и тоже оглянулась Ажигина, — да опять и эти ваши мастерицы... Шельма на шельме! Была я у Лепре и у Шелепихи на Морской... Ах, душегубки! Ах, живодерки! — прибавила Ольга Аркадьевна, закачав головой и даже зажмурясь.

— Maman, finissez! — перебила ее, полузакрывшись веером, Пашута.

— Что finissez? Что ты понимаешь да мигаешь? Правду ведь говорю... Опять же он не сторонний, а родня и притом вежливый кавалер, ну, и не откажет. А девичье терпенье — золото ожерелье...

Как мне ни было досадно и даже горько, что Ажигины почитали меня за родню, тем не менее скрепя сердце и охотно я им пособил, где мог. Ездил с ними к Шелепихе и к Лепре, мотался по магазинам, театрам и катаньям.

«Ожгла меня в сердце эта Ажигина», — говорил я себе, не на шутку чувствуя, что с первой же встречи снова стал прикован к милому когда-то предмету. Куда делись гонянья с това-

рицами, пирушки и сильная в то время картеж... Настали заботы о костюме — в порядке ли он, — разоденешься, ни пылинки, на ямскую тройку — и в Петербург. Сперва по праздникам, а там и в будни, при случае, стал я неотменно ездить из Гатчины к Николе Морскому. Особенно любил я заставать Пашу по-домашнему, в корнете, то есть в распашном капотике. Привозил матушке-сестрице новые французские книжки и гравюры, гамбургские и любекские газеты и модные ноты. Забьемся в ее горенку, она с ногами на софе, а я ей рассказываю. Читал с нею, рисовал и писал ей в альбом, а с Ольгой Аркадьевной играл ради забавы в фофаны и в дурачки и толковал о придворных и гатчинских новостях.

— Приезжайте, милый Савватий Ильич, — бывало, шепнет Пашута на расставанье, — в четверг опять концерт Паэзиелло; уговорите мамашу; ах, как хорошо пел вчера придворный хор...

Не совсем-то приходились мне по душе чрезмерные выезды и увлечения Пашуты столичными веселостями и обычаями, а она от них была без ума.

— Молода, вырвалась из деревенской глуши! — оправдывал я сестрицу перед ворчавшей иногда ее матушкой, а сам вот как ревновал ее и к концертам, и к итальянским операм, и ко всякому выезду из дому.

«Время образумит и обратит ее к тому, кто не наглядится на нее, не надышится! — утешал я себя, провожая Ажигиных в экипаже в театр или пешком гуляя с нарядной кузиной по Аглицкой набережной. — Пусть упивается забавами, пусть щеголяет и веселится. Она вспомнит прошлое, оценит мои чувства, и счастью моему быть недалеко».

II

Столичные веселости были в полном разгаре. Публика сходила с ума от нового балета «Шалости Эола». Всех пленяли в этой истинно волшебной пьесе танцовщики Пик, Фа-

бияни и Лесогоров, особенно ж первые тогдашние балетчицы Сантини, Канцияни, Настюша Берилева и Неточка Поморева. Несколько раз мы посетили этот балет, как и славные комедии «Недоросль» и «Школа злословия».

Русская вольная труппа Книппера, игравшая в театре Локателли, у Невы, на Царицыном лугу, поставила в тот год комическую и презабавную оперу «Гостиный двор» — слова и музыка Михайлы Матинского, крепостного певчего графа Ягужинского. Весь город перебывал в этой опере, где роль жениха уморительно до слез играл московский актер из мещан, Залышкин. Мы были дважды в этой опере, последний раз незадолго до масленой, в день рождения Ольги Аркадьевны. Сама она после театра разболелась зубами, подвязала к щеке подушечку с ромашкой и не вышла к чаю.

Пашута, накинув на корнет теплую кацавейку, осталась одна со мной в гостиной. Толковали мы о том о сем, перебирали игру актеров, общество, которое видели в партере и в ложах. А после нескольких раздумий, вздохов и пауз я, под влиянием вечера, проведенного в такой близости к несравненной, не мог более стерпеть.

— А помните ли, сестрица, Горки, прошлые времена? — спросил я, помолчав.

«И зачем я назвал ее сестрицей?» — спохватился я тут же в досаде.

— Как не помнить? — отвечала она, откинувшись в кресло. — Детские, милые увлечения.

— Помните Ломонда?

Она кивнула мне головой.

— Жива Меркульевна? Здравствует кошка? Цел, жив дубок?

Нежная улыбка была мне ответом из глубины заслоненного от лампы кресла.

— Ах, несравненное время! — произнес я. — Тогда ничто не мешало, так близко был мой рай...

Сказав это, я спохватился и не смел поднять глаз. Но как было выдержать? Мне вспоминались не раз

сказанные кузиной похвалы вечером в Смольном у кумы ее матери, где Пашута то с тем плясывала, то с другим из известных в городе щеголей, превознося их любезности, ловкость и вежливо расточаемые залетной провинциалке комплименты. Я ждал, что объявит Паша на мое признание?.. Она молча протянула мне из-под кацавейки руку и, когда я коснулся ее поцелуем, сказала мне: «Какой вы славный, добрый, Савватий Ильич, с вами так отрадно...» И только...

Через день мы гуляли с Пашей по набережной вдоль Невы. Мостовая была скована морозом. Лихие рысачники проносились мимо нас, лорнируя мою спутницу в преогромные, вошедшие тогда в моду лорнеты.

— Ах, голубчик Савватий Ильич! — сказала она, скользя легкой походкой. — Как весело! Вот жизнь! Ну, как бы я хотела быть богатой...

— И зачем особое богатство? У вас ли с матушкой нет достатка?

— Нет, не то, не то...

— Родовая ваша вотчина первая в уезде, — продолжал я, — как устроена, прилажена, и все для вас...

— Нет, скучно в деревне, глушь, пустота! То ли здешние люди — как обворожительны. Эта пышность, роскошь, жизнь бьет ключом... Экипажи какие, смотрите. Утром — свиданья, визиты... ах, прелесть!.. Что ни вечер — танцы, балы. Деревня... да кто же возьмет меня, хоть бы с нашими постылыми Горками?

— Прости, мое божество, — сказал я тихо, прижавшись к Пашуте, — есть один — ужли его не угадаешь? И если не богат он достатком, зато искренним, горячим чувством. Он давно, давно у твоих ног...

Паша ни слова не ответила, только, склонившись, шибче пошла. Вечерело. Снег срывался и падал в тишине легкими хлопьями.

— Что ж ты ответишь тому человеку? — спросил я, заглядывая в лицо моей спутницы.

Она молча прошла улицу, другую. Стала видна их квартира. Вдруг она остановилась, обернулась ко мне. Грудь ее прерывисто дышала. Во всю щеку заиграл могучий ажигинский румянец.

— Не обманывает тот человек? — спросила она, пристально глядя на меня.

— Клянусь, он говорит от сердца.

— Ну, так не беда, — ответила она, — не богатый варит пиво — тароватый; дождик вымочит, солнце высушит. Кто принесет тучу, тот принесет и вёдро. А ему открой, что ответу быть через две недели... тогда и приезжай.

— Отчего ж не теперь? Паша, Пашута...

Она вырвала руку и легкой козочкой вбежала на свое крыльцо.

Я опьянел, обезумел от восторга. «Вот скрытница, плутовка, как мучит. Да недолго сомневаться, ждать. Будет и на нашей улице праздник.» Я потерял спокойствие, сон. Что ни день, с полковыми оказиями и по почте начались пересылки из Гатчины нежных, на цветной раздушенной бумаге, грамоток. Я исписывал целые страницы, справлялся об ее занятиях, здоровье, ревновал ее. «Верно, другой счастливец нашелся? — изливал я горе в письмах. — Оттого, знать, и медлишь... Много красавцев в Питере. Откройся, скажи, кто тебя пленил?» — «Много хороших, да милого нет, — отшучивалась в ответах Пашута. — Сватались к девушке тридцать с одним, а быть ей за одним.»

Не утерпел я, примчался из Гатчины через неделю. Хотел осыпать Пашу укоризнами, а она ко мне с вопросом:

— Получил приглашение в Смольный?

— Какое приглашение?

— Бал-маскарад у мадам Цинклер. Вчера тебе послано.

— Ни за что не поеду, — сказал я.

— Пустяки, какое детство. Там весело будет, натанцуемся, наговоримся.

Я отступил шаг, выпрямился.

— Прасковья Львовна, — сказал я торжественно, — сегодня я приехал, чтобы с вашего согласия сделать формальное предложение Ольге Аркадьевне.

— Ах, нет, нет, не теперь, — зажала она мне рот, — после бала, ну, прошу тебя — после, чтоб мама не догадалась.

— Но какая причина? Разве не веришь, не любишь мамашу?

— Ах, люблю и верю, но лучше молчи теперь, молчи. Там, на вечере, будем свободны, ничем не связаны; понимаешь, воля? Досыта нашалимся, набесимся. Ты, смотри, как я писала, достань латы и шлем с перьями — я буду испанской цветочницей... Для всех тайно, и вдруг после... ах, как весело... мамаша-то удивится... ну, милочка, помолчи теперь. Согласен?

Тихий ангел пролетел между нами. «Ребенок! — подумал я. — Страсть к тайне, к секретам. Вешние воды, девичьи сны. Это те же романы, читанные в сельской тиши.»

— Согласен, но с одним уговором, — ответил я.

— С каким?

— Поедем кататься.

— Охотно. Мамаша, дайте нам бу́ренького, — сказала Пашута входящей матери.

Ольга Аркадьевна была с утра что-то не в духе: египетский модный пасьянс ей не удавался. Она крикнула Ермила, велела запрячь нам санки, и мы помчались.

Никогда не изгладится из моих воспоминаний эта поездка. Мы неслись по Фонтанке.

— Знаете, mon cousin, чей это дом? — спросила, оглянувшись за Измайловским мостом, Пашута.

— Как, — говорю, — не знать! Дом графа Платона Зубова.

— Тут и младший его брат, граф Валерьян, проживает, — сказала она, — какой красавец...

— Щеголишка, пустохват! Где, кстати, его ты видела?

— Показывали намедни в опере...

— Пожалуй, — заметил я с улыбкой, сам между тем вспыхнув, — еще может чей-нибудь рива́ль? Ты изменишь... он твой супира́нт...

— Вот глупости, совсем этот Валерка, сказывают, ребенок, ну, ей-Богу, как девчонка, — и щеки с пушком, и в

ухе брильянтовая серьга... Ха-ха... Я без смеху на него не могла смотреть. Видел ты его?

— Нет, не видел, — отвечаю, а кошки под камзолом так и скребут, — да и не желаю: первый шалберник, верхохват. Хороши нравы; недавно, слышно, с гусарской ордой, человек полсотни, с песенниками, барабанами, ложками и трещотками, ночью подошел к дому одной молоденькой вдовы и так ее перепугал своей серенадой, что та чуть от страху не умерла... Что́ им, лишь бы попойки, обиды женщин, кутежи!

Полагаю, что, говоря это, я и бледен стал в те минуты. А Паша смеется, тормошит меня за руку.

— Ну, какой он тебе соперник — ты человек, а то девчонка какая-то, херувим из леденчика.

Только и сказала, но не раз вспоминал я впоследствии те слова. Миновали мы Аничков двор, увидели Екатерину, с серенькими ливрейными лакеями, катившую в возке по Невскому проспекту, выехали к Летнему саду. Петровские дубы и липы стояли в морозных блестках.

— И наш дубок когда-нибудь вырастет, будет таким же, — сказала Пашута, кутая в шубку лицо.

— Велик ли стал? — спросил я.

— Да виден уж из цветов. Туго тянется он вначале, зато перерастет потом все дерева, всю мелочь.

Я обхватил Пашу. Бурый конь, фыркая, вынесся на лед, полетел по широкой Неве.

Не за горами был и условленный срок для объяснения с Ольгой Аркадьевной. Жаль мне было думать, в мои заезды, что она ничего не знает. Бывало, сидит, мудреный свой пасьянс раскладывает и, глядя на Пашуту, будто думает: «Золото мое, когда же я тебя пристрою и дождусь ли той счастливой поры?»

Накануне указанного мне дня был назначен тот именно бал-маскарад у жены эконома Цинклера в Смольном, куда меня так звала Пашута. Подобные вечеринки в самом здании учреждений, носивших смиренный титул монастыря, были в те годы не в диковинку. Составлялись они как бы с доброй

целью: дать лучшим питомицам старших курсов, в присутствии классных дам, провести время и повеселиться не токмо с подругами, но с родными, знакомыми подруг. Сюда допускались меж тем и кадеты выпускного разряда, а с ними, по протекции, пробирались гвардейцы и иных полков офицеры.

Цинклерша, познакомив Пашу с начальницей Смольного, генеральшей Лафон, добыла разрешение на свой вечер и для меня. Предполагались игры всякого рода, фанты, пение, потом танцы в характерных костюмах с монастырками. Я, разумеется, спроворил себе желаемый наряд в лучшем виде — достал его, через товарищей, из балетной гардеробной. Все уладив и приспособив, я стал с замиранием сердца ждать субботы, на масленой, когда должен был состояться предположенный бал.

И вдруг — хлоп — повестка: явиться к ротному. Я нацепил шпагу, оделся в полную форму и пошел. Встречает с тревожным видом.

— Слышал?

— Нет, ничего не знаю.

— Шведы-то́...

— Что ж они?

— Экспедицию флотом готовят против нас к весне.

— Ну, не поздоровится им, — сказал я.

— Я и сам так думаю. А между тем вот ордер генерал-адмирала. Повелевается тебе от цесаревича немедленно взять ямских и ехать секретно с этими бумагами к начальнику русского отряда Салтыкову, в Выборг.

— Когда ехать?

— Сейчас.

— Вот тебе и масленая, — не утерпел я не сказать.

— А что ж, попроси в штабе фельдъегерскую, еще успеешь захватить конец блинов.

— Да нельзя ли замениться, попросить кого?

— Ну, не советую. Знаешь порядки его высочества: не любит он со службой шутить.

Огорчила меня эта весть. Делать нечего. Справил я себе фельдъегерский плакат и полетел, даже Пашу не известил, —

думал, успею к субботе. Для того по пути в Петербурге бросил на постоялом и припасенный маскарадный костюм. А дело вышло иначе и совсем плохо. Салтыкова в Выборге я не застал: он пировал на блинах у знакомца из окрестных помещиков. Пока я съездил туда, вручил ему секретные бумаги, вернулся с ним в город и выждал, когда тот всем распорядится, напишет и вручит мне по форме ответ, без коего мне возвращаться не дозволялось, — не только кончилась масленая, но и наступил первый день поста. Как я сел опять в сани и ка́к проехал в Петербург, где уж и остановиться мне было жутко, того не припомню. От огорчения — стыдно признаться — я не раз принимался плакать в пути.

Приезжаю в Гатчину, отдаю по начальству рапорт о поездке и бумаги, а сам думаю: «Когда-то еще те шведы вздумают к нам в гости, а меня лишили вот какого удовольствия». Повертелся я на квартире, зашел кое к кому из товарищей, слышу — странная какая-то история случилась в столице. Слух прошел, что какие-то повесы в Петербурге, наняв ямскую карету, произвели похищение некоей, благородного и уважаемого дома, девицы. Молва прибавляла, что ее предварительно опоили каким-то зельем, от коего она чуть не умерла, и что полиция, бросившись искать похитителей и похищенную, наскочила на такие лица, что поневоле прикусила язык и тотчас должна была прекратить дальнейшие розыски. Разумеется, толковали об этом, как всегда поначалу, в неясном и сбивчивом виде, и я сперва не обратил на эти россказни особого внимания. Одни из рассказчиков были за смелых и ловких сорванцов, другие — за жертву их обмана.

Но зашел я к нашему батальонному лекарю. Это был близорукий и страшно рассеянный немчик из Саксонии по фамилии Громайер, общий друг и поверенный в делах. Он через минуту забывал, что́ ему говорили, а потому никто его не боялся и все с ним были откровенны. Умея отменно клеить из картона коробочки и укладки, он, кроме горчичников, ревеня и какого-то бальзама на водке, почти не употреблял других ме-

дикаментов. И меня он, на гатчинской скуке, не раз принимался учить искусству клейки. Но мне это показалось тошнехонько, и я заходил к нему более почитать «Вольного Гамбургского Корреспондента», который он выписывал на сбережения от жалованья. Я застал его за чтением какой-то цидулки. «Грубияны, варвары, готтентоты», — ворчал он, пробегая немецкие строки петербургского коллеги. И когда я спросил, в чем дело, он, замигав подслеповатыми огорченными глазами, протянул мне письмо, средина которого начиналась особым заглавием: «Новая Кларисса Гарло́».

С первых строк, в которых излагалось событие, занимавшее город, я вздрогнул и чуть не лишился чувств: передо мной мелькнули знакомые имена. Похитителями оказывались граф Валерьян Зубов и его родич и наперсник во всех его похождениях Трегубов, а похищенной — девица Ажигина. С трудом дочитал я мелко исписанные страницы, спокойно, по возможности, произнес несколько незначительных слов и поспешил уйти от лекаря. Тогда только я понял замешательство и сдержанность некоторых товарищей, бывших в последний день масленой в Петербурге, с которыми мне привелось перемолвить о новой столичной авантюре. Я затаил на дне души роковое открытие и, сгорая нетерпением, стал молча ожидать поры, чтоб, не показывая своего настроения, под благовидным предлогом вырваться из Гатчины в Петербург.

Желанный случай настал. На второй неделе поста надо было ехать с заказом в интендантстве кое-какой батальонной амуниции.

Доныне ясно помню чувство, с которым я подъезжал к недавно еще дорогому и волшебному для меня приюту в доме попадьи у Николы Морского. «Если я так долго не навещал тетушки, — мыслил я, — то и она хороша; хоть бы строкой, в таких обстоятельствах, откликнулась. Значит, я не нужен, лишний стал. Посмотрим, чем оправдают свое приключение.»

Я позвонил в заветный когда-то дверной колокольчик. Ко мне вышла незнакомая, в лисьей душегрейке, старая женщина. То была, как я потом узнал, хозяйка дома.

— Госпожа Ажигина дома? — спросил я.

— Обе выехали.

— Куда, давно?

Лицо ли, голос ли мой выдали меня, старуха поправила на себе душегрейку и, глянув как-то вбок, объяснила, что ее бывшие постоялки, получив некоторые неотложные письма из своей вотчины, снялись и на первой неделе отбыли восвояси.

— Так и дочь? — спросил я почему-то.

— И барышня, — ответила попадья, как бы думая: «Бедный ты, бедный, проглядел, а без тебя вот что случилось».

Я бросился к знакомым, в полицию, побывал в Смольном. На мои расспросы, даже глаз на глаз, все отвечали нехотя и полунамеками. В зубовском доме швейцар объявил, что граф Валерьян Александрович выехал в Трегубовское, тверское, поместье, на медвежью и лосью охоту и вернется не ближе середины поста.

В тот же вечер я снова завернул к никольской попадье. «Да вы не племянничек ли Ольги Аркадьевны?» — спросила она, и когда я назвал себя, пригласила зайти к ней. Что я перечувствовал, видя те самые горницы, хотя и не с той обстановкой и мебелями, где еще так недавно длились мои блаженные часы, того никогда мне не выразить. Вот зала, где стояли горецкие клавесины и где, освещенное ярким зимним солнцем, я увидел в памятное утро мое божество. Вот гостиная, где проведен вечер после оперного спектакля. Каждый уголок напоминал столько пережитых впечатлений, ожиданий, надежд.

Попадья усадила меня, откинула оконную занавеску и в сумерках указала через канал на противостоявший высокий дом.

— От тебя, сударь, нечего таить, — сказала она, — ты свой и пожалеешь бедняжку. Тут они, шалберники, и устроили свою западню.

— Так действительно был обман, засада? — спросил я, чувствуя, как кровь бросилась мне в лицо.

— Был их грех, да и она не без вины.

— Это надо доказать, не верю! — вскричал я, вскакивая.

— Что ты, что! — остановила меня за руку попадья. — И себя, государь мой, и меня навек погубишь. Не знаешь нешто, что за люди?

— На них суд, гнев государыни. Я добьюсь: не все ж станут прикрывать.

— Веников, батюшка, много, да пару мало. А и в доброй тяжбе на лапти не добьешься.

— Так я заставлю их самих.

— Слушай лучше. Тетушка твоя, добрая, да, извини, не в пронос молвить слово, высоко несется и баламутка порядочная... Не наше бабье дело, а прямо скажу: ейная кума во всем первая доводчица и погубителька. Трегубову да графчику Валерьяну она другую из монастырок готовила, а вышло вон что. Видишь окошко? В нем они, треклятые, и караулку свою в скрытности устроили. Сняли там горницы, да и ну силки раскидывать. Что за оказия, как ни взглянешь, маются все какие-то молодчики. Мало ли всяких на́янов, и невдомек. Зна́ками все: то прямо с книжкой сядет, то боком, будто читает, а вечером свечи — две-три на подоконнике, было и больше. И все-то, по условию, были разные обозначения, потом пошли и цидулки...

— Как? Переписывались? — спросил я.

— Ну, что опять вскинулся? Точно и твоих там не было! Не диво, что девка амурные грамотки пишет; коза во дворе, козел через тын глядит. Лишь бы сама пава перье свое берегла.

— Что же вышло и как все случилось? — спросил я.

— Надавали глуп-человеку всяких обещаний, да притом и клялись. Она не верила, не подпускала их близко. Только все порешилось на той самой маскараде у кумы, куда она ряженая ездила плясать. Бесом началось, бесом и кончилось. Ждали случая с смолянкой, одной княгинюшкой; начальница, видно, догадалась и той не пустила на вечер. Они ж сыпали приманку недаром и подкатили саночки Ажигиной...

— Как? Стало быть, она, — спросил я, — по своей охоте?

— Не разберешь. Весь вечер скучала, как в воду опущена: ни в игры, ни в танцы. Мать измаялась от духоты,

уехала раньше, девицы же стали просить, она дочку на куму оставила. А при разъезде оттерлась Паша как-то в суете, кинулись ее искать — и след простыл. Кучер с Ермилом подали карету — нет барышни. Укатили ее в другом экипаже, где лакей и кучер были переодетые господа.

— Боже! Настрадалась я, — продолжала рассказчица, — вчуже глядя на твою тетку, как объявилась эта пропажа. Сперва охала она, трепыхалась все, будто путного чего ожидала, а сама глаз с икон не сводит, ночи напролет молится. То туда, в город, метнется, то сюда. Ничего не добиться: все заслонилось, точно в потемках. «Как полагаете, — спрашивает, — где и когда обвенчались?» — «Да почему, — говорю, — думаете, что был венец?» — «Как почему? Клялся ведь, принцессой божился сделать, всех озолотить.» — «Свадьбой, сударыня, не таки, — говорю, — дела кончаются, а вы бы, милая барыня, шкатулочки да сундучки ее перерыли, не было ль какой нерезонной в письмах передачи?» Она смолчала, заперлась на замок и тут-то вдоволь, злосчастная, напилась полыни.

— Что ж в тех письмах?

— Твои ничего, и она вот как жалела, что ничего о тебе прежде не знала. А те сорванцы прямо как дурманом опоили простоту. Родителька-де твоя все дитей тебя считает; взаперти, мол, экую красотку-королевну держит, удаляет от хороших людей. И уж не упомню всего... Да! Вот еще... Нынче свет-де уж не тот; пренебреги старьем да ветошью; брось постылый затвор; ключ, мол, тебе даден от железной двери — ужли его кинешь? Ах, душегубы... Будь ироиней, а не монашкой. Вот, голубка-то белая и стала ироиней, попала в сеть...

— Вы сказали, — заметил я, — что Ажигины вдвоем вернулись в деревню? Как же так, откуда взялась дочь?

— А уж это, сударь, завсегда так-то с нашей сестрой, — заключила попадья, — на то наша мудрость да вера в мужчинские слова. И конец бывает куда как не по клятвам и божбе. На другой день слышит твоя тетка, что беглянка в скрытности объявилась у кумы. До утра только и была в отлучке. Пешая прибилась рано по холоду к заставе, а дальше подвезли ее

охтенские дровяники. Как повидала ее Ольга Аркадьевна, так и с ног пала. Что ни спрашивали Пашу, ничего не открыла; ни слова не сказала. Легла ничком в подушку, да так три дня лежала без пищи и сна, только вздыхала глухо да плечиками от слез подергивала. Съездила с ней Ажигина к Скорбящей, отслужила молебен и увезла ее молчком в деревню...

— Где ж была Прасковья Львовна?

— Никто не знает. Думают, увезли ее на дачу графа, да испугалась она либо опомнилась и как-нибудь урвалась...

«Опомнилась, легко говорить! — подумал я. — Прощай навек, Пашутка!» Поблагодарив рассказчицу, я возвратился в Гатчину на себя не похож. Хотел писать к Ольге Аркадьевне, к своим — рука не бралась за перо. «Изменила ты мне, на кого променяла мою приверженность, любовь? — размышлял я вне себя. — Какой урок! Но те-то изверги, злодеи? Ужли на них и расправы нет? Но кто вмешается, чье право? Брат одного из них в какой силе; у другого связи, богатство... Да и пошла ведь она охотой...»

И ударился я раз ночью, как теперь помню, в слезы; так плакал, так, что сам спохватился: это что же? Ан возмездие и вот в руки...

«Кому ж и мстителем быть за беспомощную девушку, — сказал я себе, — как не мне, если не по разбитому сердцу, хоть бы по одному родству?» Распалился я этими мыслями так, что думал, думал и решил опять ехать в Петербург. В то время и в голову мне не приходило, что из того может выйти, в какие обстоятельства я буду поставлен и куда занесет меня нежданная, негаданная судьба.

Была весна. Наступил май. В Петербурге стало зело неспокойно. Шведы объявили нам войну. Сперва на это мало обращали внимания. Но вдруг прошел слух, что шведский флот вышел из Стокгольма и пустился на поиски нашего. Гатчинских морских батальонов еще не требовали в поход. Они неотлучно находились при резиденции наследника. Донесения об эволюциях стокгольмской эскадры меж тем приходили все тревожнее и, наконец, стали тут и там тараторить, что их де

розостные намерения могут вскоре нанести грозу и самой резиденции великой российской монархини.

В такое-то время, после долгой отлучки, я навернулся в Петербург, куда надо было съездить за приемом батальонной амуниции.

III

Это было двадцать третьего мая 1790 года. Задержанный интендантскими непорядками, я заночевал в Петербурге и пробудился на заезжем дворе, на Морской, от грома нежданной и весьма внушительной пушечной пальбы. То шведский флот, прорвавшись мимо Свеаборга и Ревеля и открыв бомбардировку по нашему, с утра начал сражение близ Кронштадта, защищаемого адмиралом Крузом.

Изумленный город высыпал на улицы. Лица у всех были бледны и встревожены. Всяк спрашивал, и никто не знал, на что надеяться и чего ожидать. Все робко поглядывали поверх крыш, не летят ли чиненые бомбы.

Я за другими вышел на Адмиралтейскую площадь. Стекла дворцовых окон приметно вздрагивали от повторительных залпов, раскатисто и гулко доносившихся от взморья по Неве. Некий из ближней свиты, престарелый, но желавший казаться бодрым вельможа, как я узнал впоследствии знаменитый Бецкий, будто ненароком вышел, поддерживаемый ливрейным лакеем, на крыльцо и стал, смеясь, обращаться к народу. Сам шутит, а глаза все на реку, и губы белешеньки. Он незадолго вовсе ослеп, но скрывал это от публики; и лакей его держал за рукав, чтобы дернуть, когда нужно было кланяться знакомцам при встрече.

— Охота, братцы, без дела стоять? — сказал Бецкий, обращаясь к народу. — Государыню, кормилицу нашу, беспокоите... все кончится, верьте, благополучно. Ну, где им, горе-богатырям, супротив русских? От Петра-то Великого поговорку, чай, слышали?.. Погиб, как швед под Полтавой...

— То, ваше сиятельство, Полтава, — судачили в толпе, — а эвоси, вон нас куда, к самому ему на порог вдвинули.

Слепой старец, прикуся язык, заковылял к своей карете.

Пальба к вечеру затихла, а с нею куда делись и сомнения. Столичный люд, извест, он каков. Охотники до веселостей и всяких праздных утех мигом приободрились. Невский проспект покрылся гуляющими. Началось гонянье беговых, охотницких дрожек, колясок в шорной аглицкой упряжи. Понесли хвосты расфуфыренные, с ливрейными драбантами, модницы. Зашмыгали, тараторя о шведской пальбе, гвардейские и статские петиметры. Зашел я в военную коллегию; там одни писцы; мое дело не двинулось. «Что, — думаю, — останусь еще день, все равно ехать с пустыми руками. А к вечеру, авось, что-нибудь объяснится и о шведах.» Я же в те роковые дни возил о них первые секретные предуведомления.

И захотелось мне при этом воспоминании самому повеселиться, встретить товарищей, с горя с ними покутить. Из коллегии я зашел в книжную лавку Глазунова узнать, нет ли там новых о политике ведомостей. Слышу разговор двух посетителей.

— Сегодня, — сказал один из них, — государыня повелела дать на Царицыном в театре трагедию «Рослав».

— Дмитревский, il grande, большой таленто! — произнес другой, старый, очевидно иностранец. — В Париже с Лекёном, в Лондоне с Гарриком на одной сцене играл. Надо бы в театр.

Меня как бы что подтолкнуло. Я пообедал в Демутовом трактире, бросился на Царицын луг, в Книпперов театр. Там я взял себе наилучшее место в партере и до вечера бродил по набережной у Летнего сада.

Недавно переделанный из простого балагана, этот театр был новинкой для горожан. Лож не имелось, а кроме партера вдоль стен был сделан трехъярусный открытый балкон, отделения которого, без промежутков, искусно возвышались одно над другим. Живопись плафона и стен хоть и была изрядно пестра, зато общий вид зрителей, сидящих амфитеатром, как в древности, весьма хорош. На занавеси была изображена Фе-

мида, принимающая поздравления благодарных россиян. Кроме парадного крыльца имелось еще несколько отдельных подъездов, просторных и столь умно устроенных, что давки, особенно во время несчастья, пожара, при выходе случиться не могло. Давно то было, и много после переиспытано, а я до мелочей ясно помню, как проведен мною был тот вечер.

Сел я, стараясь быть как можно спокойнее, на свою лавку.

Сбоку от меня старичок, тот самый иностранец, что у Глазунова подал мне мысль об этом спектакле. Мы разговорились. Он оказался итальянцем, учителем молодого графа Бобринского. Вижу, через ряд скамеек, против меня два вертлявых затылка, в разубранных первым парикмахером косах; гвардейские аксельбанты и галуны; тончайшими духами отдает от платков, коими они машут при аплодисменте актрисам.

— Кто это? — спрашиваю итальянца.

— Граф Валерьян Зубов... знаете?

— А другой?

— Его Санчо Панса, Трегубов.

Я так и вскипел. Но странное дело, остался почти спокоен и тих, точно не слышал ответа соседа. Помню, как с легким сердцем и даже весело я прислушивался к игре актеров, а в междодействии — к шуму и к громкому говору, больше по-французски, с места на место переходивших театральных пересудчиков. Раздавалось и обычное в те годы щелканье орехов во время игры, не только в задних рядах партера, но и в ближайших к сцене отделениях балкона, где заседали первые столичные модницы.

Больше всех вертелись граф и Трегубов. В самых патетических местах знаменитой княжнинской трагедии, как бы нарочито тем оказывая пренебрежение к высокому искусству Мельпомены, они с преглупой угодностью то подавали знакомым дамам в нижние ложи лорнетки, цветы, то подносили им сласти или публикации о модах, причем непомерно гремели шпорами и саблями.

В одно из междодействий, утомленный духотой, я вышел с итальянцем подышать чистым воздухом, а кстати завернул и

в особую при театре караулку, где, в видах бережности от огня, разрешалось курить. Желающие здесь же имели обычай распивать принесенные из лавок прислугой и привезенные из дому бутылки венгерского и прочих вин. Мы покурили и вышли.

Вижу, на площади, у крыльца, стоит в кругу припевал граф Валерьян Зубов.

— Что мне декламаторские таланты и это вытье вашего прославленного Дмитревского! Ужели не постыл он вам? Вот Неточка Поморева — это другая статья...

— Так решено? — спросил его Трегубов.

— У разъезда, господа, — объявил Зубов, — сперва аплодисмент, цветы, а там...

Более я не расслышал. Взглянул на его румяное от экстаза, красивое и смеющееся, женоподобное лицо и вдруг увидел под буклей в ухе бриллиантовую сережку. Тут и вспомнилась мне Пашута. Все завертелось передо мной: офицеры, площадь, толпа, спешившая из караулки, экипажи, фонари.

— Вам бы, сударь, — сказал я, подойдя к графу, — не за актрисами гоняться.

Зубов смешался.

— Что вам угодно? — спросил он. — И кто вы такой? Не имею чести вас знать.

— А я вас доподлинно знаю, — ответил я, — не угодно ли на пару слов?

Он отошел со мной в сторону. Я назвал себя.

— Но в чем же ваша надобность ко мне? — спросил он.

— Час и место, государь мой, если вы памятуете, что есть честь.

— Дуэль? — спросил он вполголоса, покраснев.

Все его прихлебатели поотдвинулись при этом слове, и ни на ком нет лица.

— Что ж, — продолжал он, — я не прочь от сатисфакции; только не в таком месте, господин Бехтеев, конверсация; и притом убеждены ль вы доподлинно в моей токмо провинности? То было недоразумение, карнавальная шалость в масках, на пари... и притом не о вашей родственнице...

— Ни слова больше! Да или нет? — вскрикнул я, задрожав и хватаясь за шпагу.

Чувствую, меня схватили сзади, отводя дальше от публики. Оглядываюсь — два незнакомых артиллериста, открыто ставшие за меня. «Давно пора проучить зазнавшихся фаворитовых родичей и их друзей! — говорят они, пожимая мне руки. — Мы к вашим услугам.» Я им назвал себя и место моей стоянки. Они подошли к графу и к его сателлитам и условились о сроке и месте поединка. Установили драться вечером следующего дня на пистолетах за Калинкиной деревней.

Утром я отправил нарочного в Гатчину, извещая, что коллегия замедлила с выдачей порученных мне вещей и что я надеюсь все окончить через сутки. Пообедав где-то в гостинице, я прокатился почему-то мимо Николы Морского и по Неве и заблаговременно возвратился на постоялый. Тут я заперся в нанятой горенке и стал писать письма к родителям. Я писал с увлечением, орошая слезами последние, быть может, строки к дорогим сердцу людям, и откровенно, без утайки, рассказал им все, что со мной произошло и к чему я, по долгу совести, готовился. Отнеся лично письмо в почтовую контору, я прилег отдохнуть.

Было недалеко до вечера. Тревоги предыдущей бессонной ночи утомили взволнованный дух. Мне мерещилось близкое будущее: роковой безвременный конец, сраженные горем отец и мать и отношение к моей судьбе Пашуты. Тяжелые, мрачные мысли роились в душе. Вот получается в родном доме мое письмо, а вот и приказ по флоту: исключается из списков убитый мичман такой-то. Я не мог вздремнуть, встал и присел писать прощальное обращение к своей изменнице. С этой исповедью на груди я решил идти на барьер.

Много ли прошло времени, не упомню. Над одной строкой я задумался. Пашута, как живая, представилась моим мысленным взорам. Вот она девочкой, быстроглазая, стриженая, резвая, как перепелка, встречи в Горках, в вешние цветные дни, беготня по пахучему саду, прятки у гротов, катанья в лодке, качели у пруда... Затем переписка, бабушкины запугиванья влюбленным, трубящим в рог отставным юнкером, пересылка

поклонов, стихов... А вот она в Петербурге, уж матушка-сестрица, Прасковья Львовна, хотя для меня все та же Пашута. Урок танцев, уморительный старичок, учитель со скрипочкой, мать в пудромантеле за клавесинами, пение романсов, чтение Ричардсона, Дидерота, Дефо, прогулки пешком и в санях на буреньком, беседы вдвоем... И так близко было счастье. И все улетело, как сон. «Вы меня предали, продали, и кому же? Знаете ли вы, что за личность, на искательства которой вы поддались? Вы для него — минутная забава, одна из прихотей праздного, пустого, избалованного верхохвата. Отчего вы не сказали мне ранее и откровенно? Зачем безжалостно разбили любящее сердце? Говорят о какой-то случайности, роковом недоразумении. Нет, вы недаром о нем говорили, интересовались им. Наконец... письма... Да, я узнал, вы их получали, а о них мне ни слова. Но знайте, никогда и ни в каких обстоятельствах...»

В дверь постучались.

«Секунданты, — подумал я, подписав и вложив в готовый пакет неоконченное письмо к Пашуте, — что ж, други честные, сторонние, идемте — готов.» Я опустил письмо в карман и отпер дверь.

Вместо бравых, возвышенных духом артиллеристов на пороге из присенков вынырнул невзрачный, коротконогий, одутловатый и решительный видом, пожилой полицейский поручик. Крупные губы, нос пуговкой и маленькие, зоркие, недобрые глаза.

— Не вы ли мичман Бехтеев? — спросил он, придерживая шпажонку и оглядывая внимательно горницу и меня.

— Так точно.

— Извольте ж, государь мой, за мной в секунду следовать.

— Куда?

Вместо ответа он подал мне, с внушительным видом, запечатанный большой печатью пакет. Я вскрыл его, пробежал бумагу. То было требование о «неуклонной и беспродлительной, в чем буду», явке моей к лицу, имя которого было всем хорошо ведомо.

Меня как варом обдало, потом бросило в неудержную внутреннюю дрожь. Я хотел было распорядиться, дать знать хозяйке, позвать слугу, но полицейский поручик ершом и стойко воспротивился.

— Что вы, сударь! — сказал он, кривя рот каким-то наглым, преподлым манером. — Какие тут распорядки! В момент, в терцию-с повелено... Не на пляс, не на маскарадную вечеринку зовут ваше благородие, а к самому его высокопревосходительству Степану Ивановичу, господину Шешковскому.

Я понял — возврата и послабления не было и быть не могло. Я взглянул в окно. На улице нас уж дожидалась городовая, извозчичья, крытая коляска. Я защелкнул дверь на ключ, и мы отправились. В коридоре я встретил растерянного постояльского слугу; с ключом я успел ему передать для отправки на почту и заготовленное письмо. Мы поехали.

Всю дорогу занимал мои мысли необычайный, таинственный человек, которому так нежданно теперь передавала меня судьба. В корпусе и в Гатчине много о нем было шушуканий. Все знали, что, знаменитый и страшный в то вообще мягкое время, этот человек не сразу приобрел свою грозную репутацию. Он сперва занимался мирными науками и даже был нечужд обихода с музами; кропал стишонки и учился у какого-то заезжего живописца писать акварельными красками ландшафты и изображения нежных амурных пасторалей.

В молодости лет Шешковский, как сказывали, даже попался в написании некоего вольнодумного на одного своего начальника пасквиля и был за то в немалой передряге и встряске. Но годы взяли свое. Бездарный, завистливый рифмослагатель и неудавшийся мазилка соблазнился первой отличкой по рангу. За ней пошли другие. Непризнанный, презираемый товарищами Нерон бросил изменщицу лиру и остался в длани с одним наказующим бичом.

Соученик и мой друг, Ловцов, в корпусе был вхож к одному вельможе, стороннику и одномышленнику Потемкина, и мне не раз сказывал о его отношениях к Шешковскому.

Возвышенный духом и доброго сердца Потемкин, радея о чести и славе обожаемой им монархини, решился при одном случае не токмо критиковать, но даже и упрекать свою венценосную благодетельницу и учительницу: «Ну, матушка-богиня, выдвинула ты на склоне своих дней из российского арсенала таковые две ржавые и гнусные пушки, как на Москве князь Прозоровский, а здесь Шешковский... Прости, великая, но как бы те пушки, не в меру усердия стреляя, не затемнили твоего имени». Что касается личных сношений, то прямой перед всеми Потемкин уж ничуть не стеснялся с тайным советником Шешковским. Встречаясь с ним, он обыкновенно шучивал: «Ну, Степан Иваныч, как изволишь кнутобойничать?» — «Помаленьку, ваша светлость, — отвечал вопрошаемый, — помаленьку исполняем возложенные на нас службишки...»

К тому-то человеку меня везли на аудиенцию. Мы миновали Казанскую церковь, Гостиный двор и приблизились на угол Итальянской и Садовой, где в одном из бывших домов Бирона находилось тогдашнее помещение Шешковского.

Меня ввели в небольшую приемную. Приехали мы туда засветло; но я долгонько дожидался хозяина квартиры, бывшего в ту пору где-то в гостях. Совсем стемнело, когда, наконец, загремели внутри двора колеса его экипажа. Он вошел в свои апартаменты боковым, скрытным от посторонних, ходом. Его прибытие я угадал по вытянувшимся лицам дежурных и по немалой суете, начавшейся в комнатах флигеля. Прошел один писец, другой, зашмыгали с бумагами вахтеры, разных ведомств курьеры. И вот затёнькал где-то глухой, дребезжащий колокольчик. Ему ответил судорожный бой моего сердца.

Меня позвали к Степану Ивановичу.

IV

Под влиянием общих толков, я предполагал встретить нечто с первого раза ошеломляющее, нечто легендарное, вроде страшного дракона, крылатого, с огненным взором и с длинным, змеиным языком.

Каково же было мое удивление, когда за столом, заваленным грудами бумаг, между двух, как теперь помню, восковых свечей, я разглядел прямо сидевшую против меня добродушную фигуру невысокого, сгорбленного, полного и кротко улыбавшегося старика. Ему было под семьдесят лет. В таком роде я встречал изображения некоторых прославленных тихим правлением римских пап. Жирный, в мягких складочках, точно взбитый из сливок, подбородок был тщательно выбрит, серые глаза смотрели вяло и сонно; умильные, полные губы, смиренно и ласково сложенные, казалось, готовы были к одним ободряющим, привет и ласку несущим словам. Белые, сквозящие жиром руки в покорном ожидании были сложены на животе.

Я вспомнил городские толки, что Шешковский тайно секал не токмо провинившихся юношей, но и важных, попадавшихся в «первых пунктах» взрослых мужчин и дам, а потому, боясь отравы, уже давно, окромя крепкого чая, печенных вкрутую яиц, молочного и трех, ежедневно освящаемых, просфор, по нескольку дней ничего почти не ел. Так напоминала о себе совесть этому захватившему высокое доверие монархини ничтожному проходимцу.

Шешковский при моем входе с той же улыбкой молча указал мне стул, опустил глаза в раскрытую перед ним бумагу и, сказав: «Так-то, молодой человек, познакомимся!», спросил мое имя, годы, ранг, а равно место жительства и состояние моих родителей. Голос его был так ласков и добр. Мне казалось, что я слышу старого друга детства, готового спросить: «Ну, как матушка, батюшка? Давно ли получал о них вести? Жива ли бабушка?»

«Что же это? — подумал я, разглядывая сидевшего против меня доброхота. — Где же дракон?» Вскоре, однако, в его речи послышалась неприятная, посторонняя примесь, будто где-то неподалеку, в соседней комнате или за окном, начали сердиться и глухо ворчать два скверных кота.

— В кабале, в атеизме или черной магии, сударик, не упражнялся ли? — спросил меня Шешковский, глядя в ле-

жавший перед ним лист. — И в каких градусах сих вольнодумных, пагубных наук ты обретался и состоял?

Я был ошеломлен. Что оставалось ответить? Пересилив, насколько возможно, волнение, я спокойно возразил, что ни в каких градусах не упражнялся и в них не состоял.

— Отлично... Так и следует ожидать от истинного россиянина. А не злоумышлял ли чего, хотя бы малейше, к возмущению, бунту или к какому супротивному расколу, — продолжал, всматриваясь в бумагу, Степан Иванович, — каковой клонился бы к освященному спокойствию монархини или к нарушению обманными шептаньями, передачами и иными супротивными деяниями народной, воинской и статской тишины?

— Не умышлял...

— Хвалю... Истинные отечества слуги таковыми быть повсегда должны... А как же ты, — поднял вдруг насмешливо-холодный взор Шешковский, — а как же ты затеял публичный афронт, да еще с наглыми издевками подполковнику, кавалеру Георгия четвертой степени и флигель-адъютанту, графу Валерьяну Александровичу Зубову?

— На то я был вынужден его же кровной и сверх меры несносной обидой особе, близкой мне.

— В чем обида? — спросил, взглянув на меня из-за свечей и тотчас зажмурившись, Шешковский. — В чем, говори...

— Не отвечу.

— Ответишь, — тихо прибавил, не раскрывая глаз, Степан Иванович.

— То дело чести, и ему быть должно токмо между им и мной...

— Заставлю! — еще тише сказал, чуть повернувшись в кресле, Шешковский.

Я безмолвствовал. Общее наше молчание длилось с минуту. Я не давал ответа.

— Так как же? — спросил опять Степан Иванович. — Что вздумал! Ведь пащенок, песья твоя голова! Сам не понимаешь, что можешь вызвать! Все имею, все ведь во вла-

сти... четвертным поленом, не токмо что бить могу и стал бы, — да помни, неизреченны милости к таким...

— Я не песья голова и не пащенок, — твердо выговорил я, глубоко обиженный за свое происхождение и ранг, — чай, знаете гатчинские батальоны; я офицер собственного экипажа государя-цесаревича. Притом вмешательство в приватные дела...

— Вот как, гусек! — проговорил, нахмурившись, но все еще желая казаться добрым, Степан Иванович.

— Не гусек, повторяю вам, а царев слуга. В мудрое ж и кроткое, как и сами вы говорите, правление общей нашей благодетельницы не мог я, сударь, предполагать, чтоб кого, без суда и законной резолюции, кто смел четвертным поленом бить.

Шешковский протянул руку к колокольчику, но остановился и со вздохом опять сложил руки на животе. Не ожидал он, видно, такого ответа.

— Изверги, масоны, мутьяны, отечества враги! — сказал он, качая как бы в раздумье головой. — Свои законы у вас! Хартии, право народов, натуры! Мирабо, доморослые Лафайэты! Слушай, ты, глупый офицеришко, да слова не пророни...

Тут Шешковский точно преобразился. Глаза его проснулись. Руки задвигались по столу. И показался он мне в ту минуту моложе, бодрей и даже будто выше прежнего.

— Слушай, дерзновенный, — произнес он громче и с расстановкой, — посягая на ближних слуг монарха, на кого святотатски посягаешь? Изволишь ли ведать персону его сиятельства графа Платона Александровича?

— Как не знать.

— Ну, а ведь они тому — братец. Кому не воздал должного решпекта?.. Так вот тебе резолюция, пока на словах. Сроку тебе двое суток. Не токма о поединке или о новых экспликациях, но чтоб ровно через сорок восемь часов от сего момента — слышишь ли — духу твоего не пахло как в сей резиденции, так равно и в Гатчине.

— Но я на службе. Дозволите ли передать о том по начальству?

Шешковский улыбнулся, опять как бы в бессилии закрыл глаза и вздохнул. Пальцы его сплелись и снова старались смиренно уложиться на камзоле.

— Попробуй, — сказал он, — ну, так, для ради любознания попытайся...

Он достал табакерку, раскрыл ее и, щурясь с усмешкой на меня, потянул из нее носом.

— Не постигаю, — проговорил я, — где ж правда, закон?

— Лучше без разговоров, — перебил Степан Иванович, — либо прочь отсюда тишайше, по доброй воле, либо тележка, фельдъегерь и... Сибирь.

Я опустил голову, соображая, с каким злорадством бегали по мне тем временем торжествующие взоры Степана Ивановича.

— Итак, Бехтеев, вот готовый пакет, — сказал с прежней мягкостью Шешковский, — все готово и подписано. Напрасно, милый, было и спорить.

Голова моя кружилась. Я с трудом следил за ходом своих мыслей. Ясно было, что друзья графа успели принять все нужные меры. Случай в театре получил огласку, и меня решили тем или другим способом сбыть с глаз столичных говорунов.

— Так как же, в отпуск или вчистую? — спросил, после небольшой паузы, Степан Иванович. — Лучше, батенька, вчистую, абшид, — прибавил он, не дождавшись моего ответа, — поищи ходатаев, протекции; авось и государь-цесаревич твою службу вспомнит и кстати пожалует. Никогда не упускай случая — сошлись на родителев: стары, мол, и требуют помощи, деревнишки сиротеют без призору — ну, и отпустят. А если нужно — дай знать, и я, в чем надобеть, уж так и быть, помогу...

Я молча обернулся и хотел уйти. Помню, что при том даже не поклонился грозному Степану Ивановичу. За мной послышался заглушенный веселый и дружеский смех старца.

— Ну, куда ж ты, ветер-голова? Ан и не все ведь еще кончено.

Я остановился.

— Вот что... Подпиши-ка, на всяк раз, так, для памяти хотя, вот эту бумажонку.

Он протянул мне по столу лист с заготовленным к рукоприкладству клятвенным и под страхом нещадной кары обещанием — выехать немедленно из столицы и ее окрестностей и молчать обо всем, что мною слышано от Степана Ивановича, господина Шешковского.

Как пьяный, как сонный, я вышел на улицу, возвратился на постоялый, послал за почтовыми и к утру был в Гатчине.

Там я нашел два письма. Одно было из деревни от отца, другое от Ловцова, из дунайской армии.

Отец писал, что дела наши по сельской экономии весьма неавантажны, что со дня на день грозит продажа с аукциона, по залогу в казну, всего нашего имения и что одно упование на Бога и на добрых людей. «Добрых! Где они?» — подумал я, дочитав эти строки.

Письмо Ловцова было об иной материи. Он рассказывал о Турции. Отряд Гудовича, при коем он служил, по-прежнему стоял у нижнего Дуная, томясь в ожидании дел, с коими между тем так медлил главнокомандующий.

«Светлейший, — писал Ловцов, — живет в Яссах, погруженный в полнейшее бездействие и в столь великую хандру, что приближенные не решаются ему делать намеков не токмо о дальнейших, всеми ожидаемых, смелых предприятиях, но и вообще о текущих делах.

А время уходит; турки, пережив несносные тягости минувшей зимы, вздохнули, начали стягивать из Азии новые дико-свирепые полчища и открыли во всех мечетях и на базарах священную проповедь поголовного ополчения за веру. Они ввели в Дунай сильную гребную и парусную флотилию, укрепили побережные фортеции и, по словам лазутчиков, снабдили огромным гарнизоном и по соразмерности провизией стоящую на главном, исконном нашем пути к Стамбулу крепость Измаил».

Далекий мой друг описывал при этом случае благословенные страны, где он в то время находился, в столь увлекательных, живых красках, а страдания и надежды на русскую помощь единоверных нам греческих, болгарских, молдавских и иных народов так трогательно, что наши школьные беседы и мечтания о боевых походах и победах бессмертного Миниха и славного Румянцева воскресли во мне с новой, неодолимой силой.

«Уж не перст ли Божий, не указание ли свыше? — подумал я, прочтя письмо Ловцова. — В подобную минуту и такое напоминание! Неужели после этого выходить в отставку, ехать в деревню и навек закабалить себя и свою молодость в мирной, но дикой и сердце гнетущей глуши? Нет, лучше принести посильную пользу отечеству, пожертвовать неудавшейся жизнью там, на краю света, где, как мы все ждали тогда, загоралась заря воскресения близких нам и где гениями Суворова и Потемкина — я твердо верил в то — готовились свету новые бессмертные подвиги и новые неувядаемые лавры русского оружия.»

Отдав ротному отчет в исполнении порученных мне комиссий, я скорехонько собрался и обратился к любимцу — комнатному камердинеру государя-наследника Ивану Кутайсову с неотступной просьбой устроить мне в тот же день свидание, буде можно, наедине с его высочеством.

Пятнадцать лет назад пленный мальчишка-турчонок, из городка Кутая, крестник цесаревича, его истопник, цирюльник и фельдшер, а в недальнем будущем, как всему свету известно, российский высокочиновный барон и, наконец, могучий, украшенный первыми кавалериями граф и владелец десятков тысяч подаренных ему крестьян, Иван Павлович Кутайсов близко знал нас всех, тогдашних гатчинских офицеров, и к нам благоволил.

Я застал цесаревичева слугу в гардеробной за подготовкой для прогулки выездной амуниции великого князя.

— Что, сударь, деньга понадобилась? — спросил он, скаля зубы на мою просьбу.

— Нет, Иван Павлыч, по милости его высочества еще не нуждаемся в том...

— Так отличку какую? А? Ты, ваше благородие, говори правду, зачем пришел?

Я решил пока скрыть принятую мысль и ответил, что получил письма от родителей, что они пожелали видеть меня, а так как, ввиду шведского вторжения, морским батальонам, вероятно, повелено будет находиться в полном сборе, то я и решился искать доступа к его высочеству для получения отпуска хотя бы на краткую отлучку восвояси.

— Шведское вторжение! Успокойся, ба́чка, — возразил с улыбкой Кутайсов, — они уж далече... Что ж до авдиенции, так вот тебе она... пойдем... а совет мой, сударик, коли что по службе, то побывай у Неплюева, особливо ж у Алексея Андреича Аракчеева.

Он притворил дверь, провел меня к кабинету наследника, предупредил его о моей просьбе, и через минуту я был перед особой его высочества.

Государь-наследник цесаревич Павел Петрович принял меня в собственном малом кабинете. Он стоял, полуоборотясь к окну, и надевал большие, с раструбами, лосиные перчатки, поданные ему для прогулки. У крыльца, как было видно из окна, поигрывал подведенный рейткнехтом любимый его, столь известный впоследствии, белый англизированный верховой конь по имени Помпо́н. Как теперь вижу статную, рыцарски-благородную фигуру Павла Петровича: лиловый бархатный сюпервест, поверх короткого, белого колета кру́жевной шейный платок и такие же манжеты, высокие ботфорты со шпорами, треугол с плюмажем под мышкой и орденская звезда на груди.

Не забуду я, пока жив, благосклонного приема великого князя, хотя вначале на меня и погневались. Прием даже главных сотрудников цесаревича, Аракчеева и Неплюева, был также по мере объяснений сперва строгий, потом сочувственный. Как давно было и как между тем все ясно помню, точно вчера то совершилось.

— Перевода прошу, — осмелился я прямо сказать, — вовсе увольнения из гатчинских батальонов.

Мне были хорошо знакомы быстрые неудержимые вспышки этой безупречно-благородной и от рождения кроткой души, не терпевшей признака кривотолков или лжи.

— Обманул? Ивана Павлыча провел? Добился — вон, вон, вчистую! Курятники, полотеры, торгаши!

«Курятниками» и «полотерами» в досаде в то время обыкновенно называли большую часть тогдашнего гвардейского офицерства, действительно в оны годы более походившего на богатых купцов и мещан, чем на военных.

— Меня требовали к Шешковскому, — всилу я проговорил.

— К Шешковскому? Что ты?

— С меня взята подписка в молчании.

— Ну, как знаешь...

— Перед всеми, но не перед моим благодетелем должен я молчать, — ответил я.

Тут откровенно я передал все, что со мной произошло в Петербурге. Я говорил без стеснений. Меня слушали сумрачно, глядя в окно и изредка, чуть слышно восклицая под нос, особенно при упоминании некоторых имен: «Coquins! scélérants...»

— И если, простите, — заключил я, задыхаясь от подступивших слез, — если государь-цесаревич, коего обожать и коему служить я готов до гроба, соблаговолит оказать мне милость, молю о дозволении мне ехать не в деревню к отцу, а на Дунай, в действующую армию, куда ныне стремлюсь и по долгу совести, и по судьбе, постигшей меня.

— Жаль, жаль... ты было так изрядно выпекся! После наших батальонов заразишься, погибнешь в праздности и тамошней распутной толкотне!

Я в то время уж знал причину особливого гатчинского неудовольствия на светлейшего, который не хотел или не сумел, в омуте дворских интриг, отстоять священного и искреннего рвения государя-наследника — быть при действующей армии.

— Впрочем, поезжай! Так и быть... Берусь лично устроить твое дело. Нынче ж будет доведено в Сарское и доложено о тебе... На Дунае и впрямь не один ведь Пансальви́н, князь тьмы... там Суворов, Гудович, Кутузов...

Я, склонясь в почтительном молчании, ожидал дальнейших сообщений.

— В Яссах будь недолго — балеты, комедиянты, когда войско рвется к бою; целый сераль разряженных модниц и замужних бесстыдных побродяжек, а еще не взял ни одной путной крепостцы, не то что пашалыка... Ну, можешь готовиться, с Богом... Поезжай; увидишь графа Александра Васильича, Михайлу Илларионыча, кланяйся им. А что найдешь нужным, отписывай ко мне, только осторожней. Понимаешь?

Не забуду последних часов моего пребывания в Гатчине. Надо было узнать от Аракчеева результат доклада в Сарском. Аракчеева я дома не застал и положил вновь добиться аудиенции великого князя как моего батальонного командира. Я сел в саду на скамье, за кустарной клумбой, ближайшей к крыльцу цесаревича, и просидел здесь долго, не решаясь вновь просить Кутайсова и раздумывая то и се о предпринятом отъезде на Дунай. Солнце сильно припекало. Я очнулся, заслышав курц-галоп Помпона. Белый конь был взмылен. Его потемнелые бока тяжело дышали. Видно было, что цесаревич, для рассеяния пришедших мыслей, сделал немалый тур по окрестным полям и лесам.

Завидев меня и как бы ожидая моего обращения, он замедлился на ступеньках крыльца.

Я осмелился подойти и спросить: последовало ли разрешение государыни и дозволяет ли его высочество сообщить о том моему ротному?

Кивком головы он ответил утвердительно и с улыбкой махнул мне перчаткой с крыльца...

Великий князь сдержал слово. Он испросил обо мне разрешение государыни. Зубовым же было все равно, лишь бы с глаз меня долой. Они поддержали ходатайство цесаревича, был подыскан и благовидный к тому предлог. Меня командировали в

южную армию, с очередными депешами, отдав притом на усмотрение и в распоряжение светлейшего и обязав нигде не токмо не сворачивать с пути, но даже и не останавливаться.

Таким образом, лишенный возможности проведать родителей, я откланялся его высочеству, простился с товарищами и, с фельдъегерской подорожной и с сумкой на имя фельдмаршала, уехал прямо в Молдавию.

Надо, впрочем, сознаться, я свернул с дороги, заехал в Горки. Что я хотел там предпринять, не помню. Когда я приблизился ко двору, было уже поздний вечер. Ажигинский дом кое-где светился; я разглядел свет в гостиной и в комнате Пашуты.

Остановясь у ограды, я вошел в сад. «Нет! Объяснения не помогут», — решил я, возвращаясь. В отблеске гостиных окон я разглядел заветный дубок, прошел к нему, ухватил его за ветви, с силой рванул из мягкой клумбы, надломил и без оглядки уехал обратно по маршруту.

Чем более я удалялся от родины и приближался к югу, тем странней и непостижимей казалось мне все происшедшее со мной. «А уж как удивится Ловцов, — утешал я себя, — он ожидает ответа на свое письмо, а вместо ответа — и вот я сам...»

Дни становились жарче, небо прозрачней и синей. Вот украинские степи, Днепр, запорожские хутора и опять степи. Вот долгополые белые свиты и широкие войлочные капелюхи кишиневских царáн. Вот кукурузные и табачные нивы, жидовские корчмы и лавчонки, — арнауты, румыны, — цыганские грязные таборы, мамалыга с маслом, перец в каждом кушанье, овцы с курдюками, верблюды в возах, сторожевые вышки, казацкие разъезды, пехотный у какой-то речки лагерь и цель поездки — столь ожидаемый город Яссы.

V

Сильно колотилось мое сердце, когда я приблизился к резиденции главнокомандующего и начал соображать, что вскорости должен буду предстать пред лицом мужа толикой

силы, гения и столь многих, всюду гремевших противоположностей нрава.

Неподалеку от Ясс, у небольшой молдавской корчмы, меня догнал другой курьер. То был немолодой и, как жук, черный от пыли и загара провиантский офицер. Мы зашли освежиться в корчму и как, разговорясь, узнали, что нам путь к одной цели, то и решили ехать остальные перегоны вместе. Он возвращался из командировки от главной квартиры, а потому возбудил во мне живейшее любопытство узнать, куда и зачем он ездил. Он, впрочем, более отмалчивался. В числе его поклажи были два небольших, упакованных в рогожи, бочонка, которые он особенно бережно хранил и, несмотря на усталость, не спускал с глаз.

«Верно, червонцы, — подумал я, — но казны без конвоя не возят.»

— Не порох ли? — спросил я, указывая на багаж.

— О, нет, — неохотно ответил мой спутник, — иначе как бы я мог курить! Не порох, а взорвать может мою судьбу почище всякой бомбы...

Он между тем разговорился со мной о других предметах и сообщил мне многое о светлейшем, о чем прежде я знал только слегка. Нам предстояло вместе явиться к князю. А потому остальной путь Потемкин не сходил у нас из беседы: как примет нас обоих, будет ли доволен и что с того выйдет каждому из нас?

Сын небогатого смоленского дворянина, князь Григорий Александрович Потемкин в молодости, как всем ведомо, обучался у духовных, а потом в Московском университете, из коего был исключен «за лень и частое нехождение в классы». Он обратил на себя внимание императрицы Екатерины еще при восшествии ее на престол. Попав из гвардейских офицеров в обер-секретари синода, а вскорости и в генерал-адъютанты к ее величеству, он не раз, видя к себе, из-за придворных интриг, охлаждение государыни, решался бросить свет и даже подумывал о пострижении в монахи. А когда ему, вследствие неосторожного приложения к больному

глазу примочки тогдашнего всезнайки фельдшера академии художеств «Ерофеича», пришлось на один глаз окриветь, то это так повлияло на его амбицию, что он и впрямь удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к пострижению. Прозорливость и доброта сердобольной монархини и тут его спасли. Екатерина его навестила и уговорила возвратиться к своему престолу. «Тебе, Григорий, не архиереем быть, — сказала она, — их у меня довольно, а Потемкин один, и его ждет иная в мире стезя.»

Слова государыни сбылись в точности.

Покоритель некогда грозного Крыма, основатель Екатеринослава, Херсона и Николаева и насадитель на месте буйного, дикопорожнего Запорожья тихой и плодоносной Новороссии, светлейший удостоился, в помрачение наветов врагов, показать государыне в ее путешествии на юг новосозданные и возрожденные им области империи. На месте татарского аула Гаджибей он основал Одессу, а малоизвестную и заброшенную крымскую гавань Ахтиар обратил в разносящий ныне громы по всему Понту Эвксинскому и далее Севастополь. Здесь в 1787 году императрица увидела, аки бы по мановению волшебного жезла, возникшие укрепления, до четырехсот домов, склады, верфь и сильную духом моряков юную эскадру. Мысль Великого Петра о южном флоте сбывалась.

После уничтожения новых мамелюков, Запорожской Сечи, Потемкин был возведен в графы и вскоре стал ближайшим помощником царственной своей учительницы во всех ее предначертаниях о юге. Смелый «Греческий прожект» нашел в нем горячего и преданнейшего пособника. Потемкин стал грезить Дунаем, где некогда Святослав ставил города, — Царьградом и Босфором, видевшими когда-то ладьи и мечи Олега и Ярослава... Петр стремился на север и утвердился там. Потемкин разумно обратил взоры России на благодатные родственные ей страны юга...

Монархиня любила и ценила гений светлейшего. Но она видела его слабости и их покрывала, хотя иногда над оными и подтрунивала. Так, в «правилах эрмитажа» насчет его ди-

стракции и всем известных привычек был ею вставлен пункт: «Всем быть веселым, но ничего не портить и не грызть».

Произведенный в генерал-фельдмаршалы и награжденный воеводством Кричевским, Потемкин, по смерти князя Григория Орлова и воспитателя цесаревича графа Никиты Панина, стал при дворе главным и всемогущим лицом. Еще в первую турецкую кампанию, Румянцевскую, он прислал о театре войны обширные и дальновидные примечания. Когда началась нынешняя, вторая, турецкая война, то он сперва командовал екатеринославской армией, а потом ему подчинили и украинскую, освободив притом от команды над ней Румянцева. Покорив России Тавриду, он своим гением, без сомнения, предуготовил для потомков и освобождение Царьграда.

Штурм и взятие Очакова прославили Потемкина как полководца, но вид гибели тысяч людей, приводя его сердце в несказанное горе, был ему невыносим. Во время приступа пущенных в штыки суворовских егерей князь Григорий Александрович, сидя у батареи на валу, все время крестился и, закрываясь руками, бледный, вне себя, со слезами и с ужасом повторял: «Господи, помилуй их, помилуй!»

Нрав светлейшего был постоянной загадкой для общества, и не моему слабому перу изобразить, для прославления в потомствах, его примечательные черты.

То пышный, блестящий и жадный к веселостям и почестям, то мрачный меланхолик, враг раболепных льстецов и мизантропов, с раскольниками начетчик, с дамами нежный Эндимион, Потемкин ноне являлся ко двору ликующий, беспечный, счастливый, смешивший до слез Екатерину уменьем перецыганивать ее голос, манеру, или скакал по Невскому проспекту в зеленой бархатной бекеше, подбитой на тысячных соболях, в бриллиантах и пуанди-шпанах. А завтра, на целые дни, недели, запирался в комнату и лежал здесь, на диване, небритый, немытый, растрепанный, сгорбленный, в заношенном халате и в стоптанных туфлях на босу ногу. Угрюмо и молча хандря, он в такие часы, надо полагать, в удалении и тайности от всех, обсуждал свои высокие про-

позиции. По природе лентяй, он, принимаясь за выполнение задуманного, трудился без устали днем и ночью. Ожидая опасности, тревожился, как малое дитя; когда же опасность приходила, он встречал ее беспечно и весело. Скупой и мот, вольнодумец и суевер, он был подобием тогдашней России: дикая необузданность граничила в нем с мягкостью воспринятых европейских обычаев.

Видом гордый сатрап, повадкой утонченный, во вкусе старинных французских нравов, придворный, величественный, головой выше всех и красивый, как древний Агамемнон, Потемкин свободное от службы время проводил, читая, молясь либо компанствуя за пиршествами и волокитствуя. Считая себя баловнем Бога, он, как изнеженные грешницы, боялся черта. Ходила молва о сваренной им в восьмипудовой серебряной ванне ухе ценою в полтысячи червонцев. Он верил в сны, разные приметы и, едучи на любовное свидание, крестился против каждой церкви и молельни.

Амурным похождениям светлейшего не было числа. И тут уж его нрав не стеснялся: в слепом и ревнивом бешенстве он зачастую срывал пышные головные уборы с возлюбленных и, не стесняясь ничем, гнал их прочь. Свои веселые дни он называл «Каной Галилейской», а мрачные — «сиденьем на реках Вавилонских».

Книги для Потемкина были насущным хлебом. Он их не читал, но жадно проглатывал. И в то время как соперник князя Платон Зубов омрачил последние годы правления мудрой монархини, раздувая ее болезненную подозрительность и преследуя таких писателей, каковы Новиков и Радищев, универсально образованный Потемкин дружил с смелым остряком-поэтом Костровым и с переводчиком Оми́ра Петровым, читал в подлиннике Софокла, переводил историков, в том числе Флери, любил поэзию, сам втайне писывал недурные стихи и покровительствовал гонимому сатирику Княжнину.

Юношей-студентом светлейший любил прислуживать в церкви, раздувал иереям кадило и выносил с дьячком перед дарами свечу. Не забывал он этих наклонностей и на вер-

шине почестей, жалея в шутку, что командует генералами, а не попами, и прибавляя в страстных эпистолах к предметам любви такие изречения: «Облаченный и в архиерейство, преподал бы я тебе мое благословение, да победиши враги твоя красотою твоею и добротою твоею».

Враг любостяжания, всяких лишних прижимок, стенаний и малостей, Потемкин настоял на отмене в армии, во время походов, пудры, буклей и кос и на дозволении носить вместо кафтанов просторные куртки. Все отечественное чтя превыше иностранного, он ненавидел лесть и раболепство, как не выносил медицины и не слушался лекарей. Скрывая свои умозрения о государственных делах, он, как все от природы ленивые и вспыльчивые люди, терпеть не мог напоминаний о запущенных или забытых делах, как никогда же, боясь напоминаний смерти и расчетов с жизнью, не носил с собой и карманных часов.

Тратя из дарованных ему средств на свою жизнь до трех миллионов в год, Потемкин не умел подчас ограничивать себя и в служебных отношениях. Раз обратилась к нему одна важная придворная барыня: «Пристрой, голубчик князинька, да и пристрой мою гувернантку-мамзель к какому-нибудь делу на казенный счет, я рассчитала ее, и она пока без места». Чтоб отделаться от беса-бабы, князь и причислил ту мамзель, по форме, к гвардии — на казенный паек. Много об этой и подобных его шутках толковали в то время, и сама государыня, осведомясь о забавной выходке Потемкина, немало тому смеялась.

То был век славной пышности и сказочного мотовства. При дворе незабвенной монархини, сказывали, угля для подогревания парикмахерских щипцов тратилось на пятнадцать тысяч рублей в год, а на самовары на пятьдесят тысяч, и сливок выпивалось при дворе на четверть миллиона в год.

Со въездом в Яссы как я, так и мой спутник стали невольно терять спокойствие и робеть. В приеме светлейшего лежала разгадка нашей участи. Мне предстояло либо попасть к делу — достойному, полезному, либо затеряться на новой

арене как бы мелкой песчинкой в морском коловороте, без всякого следа.

Провиантский фельдъегерь, бывший все время в спокойном и бодром духе, под конец крайне присмирел. На последней станции, пока нам запрягали, он куда-то юркнул, а когда вскочил опять в тележку, я его не узнал. Он успел умыться, прибраться и из черного, всклоченного цыгана стал миловидным, с располагающими чертами лица, блондином.

Разговорясь, где и как нам остановиться после приема князя, мы въехали в фортштадт. Резиденция Потемкина была здесь же, невдалеке, на загородной окруженной садами даче князя Кантакузена. Светлейший особенно любил это место, так как здесь было удобно давать городу и дамам его свиты непрерывные празднества, до коих он был такой охотник. «Вот квартира капельмейстера Сарти», — объявил мой сопутник, указывая отдельный флигель близ княжеского дворца. По его словам, Сарти содержал при князе до трехсот музыкантов и целую труппу балетных танцоров и танцовщиц. Балы сменялись театрами, фейерверки и кавалькады концертами светского и духовного пения. «В прошлую зиму, — сказал мой сопутник, — этот волшебник Сарти исполнил у его светлости собственного переложения кантату «Тебе Бога хвалим», причем слова «свят, свят» сопровождались придуманною им беглою пальбою из пушек.» В числе красавиц, гостивших в то время при главной квартире, мой сопутник назвал княгиню Гагарину, графиню Самойлову и в особенности жену двоюродного брата князя Прасковью Андреевну Потемкину. Для этих дам светлейший выписывал, с особыми фельдъегерями, разные диковинки: икру с Урала и Каспия, шекснинских в бодягах жирных стерлядей, невскую лососину, калужское тесто, трюфели из Перигё, из Милана итальянские макароны и варшавских каплунов. «А незадолго до моего выезда, — добавил спутник, — прослышав, что некие два брата, кавказские офицеры Кузьмины, лихо пляшут по-цыгански, князь, выполняя чей-то дамский каприз, выписал и этих Кузьминых. Те прискакали с курьером из Екатери-

нодара, отплясали усердно у его светлости по-цыгански и вновь уехали вспять.» — «Что ж было с ними?» — спросил я спутника. «Да ничего, все благополучно кончилось, — исполнили по мере сил желаемое, услышали: «Спасибо, ребята!» — и беспрепятственно отретировались.»

Был полдень, когда мы подкатили к ограде княжеского дворца. Солнце страшно пекло. На небе ни облачка. Кругом ни пеших, ни конных. Только часовые, в белых куртках и шапках, молча прохаживались у ворот. Мой спутник сходил в какую-то караулку поговорить с дежурным, и скоро мы предстали перед любимым, ближним секретарем Потемкина генерал-майором Василием Степановичем Поповым. Последний, носивший по своей доброте у офицеров имя Васи и Васеньки, с важностью оглядел нас, опросил, взял от меня письма и провел нас в сад, говоря, что его светлость прогуливается, а где, он того не знал.

— Станьте здесь, — решил Попов, указав нам место невдалеке от дворца, у перекрестка двух дорожек. Сам же он, оправя свой красноворотый мундир, с ужимкой шевалье, отошел в сторону, стал читать привезенные мной на его имя столичные письма и, как мне показалось, при чтении, раза два на меня взглянул. Мой спутник, идя в сад, осмелился спросить вполголоса Попова: «В духе?» и, получив в ответ: «Так и сяк...», еще более оробел и смешался.

Прошло несколько минут. Невдалеке, за зеленью лавров и миртов, послышался странный голос. Кто-то грубым и несколько фальшивым басом мурлыкал про себя несвязную и аки бы ему одному понятную песню. В тишине, напоенной ароматом сада, стали слышны звуки мерных, тяжелых шагов. Точно грузный слон двигался своими мягкими, медленными ходилами. Я оглянулся: важный секретарь, попрятав письма, стал тоже навытяжку. На моем же товарище не было лица.

«Светлейший!» — пронеслось у меня в мыслях, и я с трепетом ждал появления обожаемого величественного вельможи, которого никогда не видел и который всегда мне ри-

совался в образе сказочного восточного сатрапа и гомерического Агамемнона.

Из-за деревьев на усыпанную песком дорожку вышел матерой, сказочный Илья Муромец. Вышел и стал смотреть на нас. Широкие плечи, серый поношенный халат нараспашку, обнаженная волосатая грудь, красная тафтяная рубашка, ненапудренная, в природных завитках, встрепанная светлорусая без шляпы голова и на босу ногу узконосые желтые молдавские шлепанцы. В руке он держал сверток нот.

Светлейшему в то время было лет пятьдесят, но на вид он казался моложе, хотя не по летам сгорблен и мешковат. Я с умилением увидел совершенство телесной человеческой красоты: продолговатое красивое белое лицо; нос соразмерно-протяженный, брови возвышенные, глаза голубые, рот небольшой и приятно улыбающийся, подбородок округлый, с ямочкой. Левый окривевший глаз был странно покоен рядом со светлым, зорким и несколько рассеянным правым глазом.

Попов назвал нас. Я подал князю адресованные на его имя конверты.

— Один умылся, а этот арап, — проговорил светлейший, вскрывая конверт.

Я так и опешил. Глаза стали властно запорошены. Ну отчего и я не догадался прибраться? Потемкин прочел одно письмо, другое, поморщился и, зевнув, передал бумаги Попову. «После», — сказал он, двинувшись далее и, очевидно, вовсе не думая в ту минуту ни о тех, кто ему писал, ни тем менее о доставителе депеш. Мы, не шелохнувшись, стояли молча.

— А знаешь, Степаныч, — замедлясь, обратился Потемкин к Попову, — что ответил мне с давешним гонцом Александр Васильевич?

«Суворов», — подумал я, замирая от счастья услышать речь великого о великом.

— Матушке-государыне похотелось узнать, — продолжал князь, — что делает генерал-аншеф граф Суворов? Ну, я ему, как ты знаешь, и отписал, а он в ответ: «Я на камушке сижу, на Дунай-реку гляжу».

Я взглянул на Потемкина: его лицо усмехалось и вместе с тем было печально.

— Все вот музыку подбираю на эти слова, — добавил князь со вздохом, — Сарти прислал, да у него все итальянщина, а я одну смоленскую песню вспомнил... Не знаешь ли? Как девки капусту рубили и козла поймали. Вот бы в Питер послать.

Попов молчал.

— Так ты отличек у нас захотел? — вдруг обернулся ко мне светлейший. — В свитские, в штаб? Жоко́ да чарда́ш с валашскими мамзелями отплясывать? Флото-пехотный боец! Надоело питерское вертение в контратанцах? Прошу извинить, нет у меня для тебя места.

Я стоял ни жив ни мертв.

— И без того у нас вон, с Василием Степановичем, легион прихлебателей. И свои, и французы, и немцы, есть даже из Америки. Скоро нечем будет кормить. Можешь, сударь, отправляться подобру-поздорову обратно в Гатчину и решпектовать от меня пославшим тебя отменное мое почтение.

«Так вот он, мой идеал, герой! — помыслил я с горечью. — И чем я виновен, что прибыл не из другого места, а из Гатчины?»

Потемкин запахнулся, принял рапорт от моего спутника и, не взглянув на бумагу, направился ко дворцу.

— Молю об одном, — решился я выговорить вслед князю, — удостойте меня послать в передовые отряды и в такое место, где бы я мог всем... жизнью пожертвовать для славы отечества и вашей.

Потемкин не слышал меня. Уйди он в то время, приговор мой был бы подписан. Я, по всей вероятности, уехал бы из армии на другой же день. Но вдруг князь уронил взор на рапорт провиантского курьера.

— Как? — воскликнул он. — Капуста из Серпухова... клюква... и подно́вские свежепросольные огурцы? И ты, пентюх, молчишь? Где они, где?

Офицер указал на припасенные под крыльцом бочонки.

— Михеича! — крикнул светлейший, присев в бессилии на ступени крыльца.

Явился, переваливаясь, толстый, в парике и в белом переднике, ближний официант и старый домашний слуга князя. Бочонки вскрыли. Но когда догадливый посол, подняв квашеные капустные листья и кочаны, вынул из них что-то белое и головатое и, как бы с робостью, сказал: «А уж это, ваша светлость, я на свой страх... извините, — мясно́вская редька-сь...» — изнеженный, с притупленным вкусом князь растаял. У него слюнки потекли.

— Ах ты, скотина! Вот удружил! — даже плюнул светлейший, смотря на гостинцы как на некую святыню и дивясь гению посланца. — Маг, шельмец, маг! Шехераза́да, сон наяву...

И, обратясь ко мне, он прибавил не в шутку:

— Вот, сударь, истые слуги отечества; вот с каких ироев брать пример. А они в свиту, в прихлебатели! У вас вон уж и Державин Зубова в громких одах превозносит, а этот мне — редьку, да-с... Кто лучше? Этот, беспримерно. Прав ли я, Василий Степанович? Посуди! — обратился князь к Попову. — Главнокомандующий сыт, доволен! Будет довольна и сыта и его армия. Ах, они, буфоны, гороховые шуты! Громких дел им нужно: отчего не берем Тульчу, Исакчу?.. Эй, — крикнул он уходившим с бочонками слугам, — на лед, по маковку, да соломкой сверху... Михеич, голубчик! Для ради такого случая яичницу сегодня — глазунью да с свиным салом, зеленого луку побольше...

И, щелкая шлепанцами, легко и бодро двинулся на крыльцо матеро́й Илья Муромец.

Попов придерживал меня за фалду.

— Обожди, запрячься тут где-нибудь! — шепнул он, поспевая за князем. — Придет добрый час, все авось перемелется... Меня просят за тебя; всерабственно готов служить его высочеству...

Мысленно благословляя цесаревича, я отправился в город и приискал себе, в отдаленном и глухом его предместье,

небольшую каморку. Оттуда я наведывался к Попову. Но ждать «доброго часа» светлейшего мне пришлось долее, чем я мог думать.

После капусты и редьки князь было ожил; вскоре, однако, впал в прежнюю хандру. «Брак в Кане Галилейской» сменился вновь для него «сиденьем на реках Вавилонских». Напоминать ему обо мне значило вконец испортить дело. Так прошло более двух недель.

VI

Однажды, как рассказывал мне впоследствии Попов, сидел светлейший с ногами на диване и, по обычаю, запустив гребнем пальцы в волосы, читал вновь привезенные французские и немецкие газеты. Известия из Англии и Пруссии, особенно же из Франции, где тогда более и более разыгрывалась революция, сильно интересовали князя.

— А где тот-то, флото-пехотный боец? — спросил он вдруг Попова, который возле занимался разборкой и отправкой бумаг.

— Какой, ваша светлость?

— Ну, да помнишь, что в герои тут из Питера просился?

— Давно, полагаю, дома, — ответил знавший обычаи князя Попов.

— Жаль, — сказал Потемкин, — забрался в такую даль — и вдруг с носом.

Попов услышал это — и ни слова.

— Согласись, однако, — пробежав еще два-три газетных листа, произнес светлейший. — Зубовы... да и весь их социетет!.. вот, надо думать, бесятся: подслужиться кой-кому хотели моряком... Каких рекомендаций наслали... Ан, и не выгорело...

— Не дали бы, ваша светлость, маху, — отозвался Попов.

— Как маху?

— Да ведь Бехтеев не зубовской руки...

Потемкин посмотрел через газету на Попова.

— Как не зубовской? — спросил он.

— Помнится, этот молодой человек даже что-то сказал о ссоре и неудавшемся поединке с братом Платона Александровича...

Потемкин спустил ноги с дивана и бросил газеты.

— Что ж ты молчал?

— Запамятовал, ваша светлость.

— Посылай ему тотчас курьера, зови.

— Извините, теперь, пожалуй, и не поедет.

— Как не поедет? Ко мне?!

— Обиделся, чай... строго уж ему отвечено.

— Вот как... Обидчивы нынче люди... А послушай, чем бы его расположить?

Попов подумал и ответил:

— Надо прежде осведомиться, доподлинно ли Бехтеев уехал? Он что-то сказывал об ожидании отписки от отца.

Меня тогда же, разумеется, нашли, но я был снова призван к Потемкину только на следующий день.

А накануне вечером у князя с Поповым был примечательный разговор. Огорченный нападками иностранных газет, светлейший для развлечения принялся тонкой пилкой обтачивать и чистить оправу какой-то ценной вещицы. Кучки дорогих камней и жемчуга лежали перед ним на столе меж фарфоровых безделушек.

— Требуют, спрашивают, тормошат! — сказал он Попову. — Да возможно ль все, и вдобавок, как видишь, в моем каторжном положении? Со всех сторон такие вести; а меня там пересуживают, ризы мои делят, распятию предают — удаляют от моего солнца, счастья, жизни...

Князь помолчал.

— Я измучен, Василий Степанович, бодрости лишен, сна, — продолжал он, налегая на пилку, — слабею подчас от всяческих дрязг душой и телом, как малое дитя, а им подавай триумфы, победы, венки! Если бы все-то знали... Изведут,

отдалят, — произнес он, глянув в сторону и как бы видя вдали некие таинственные и другим непонятные откровения, — ну, что, полагаешь, нужно мне, чего еще искать?

Попов не нашелся с ответом.

— Чего желать человеку в моей судьбе? — продолжал князь, не поднимая лица. — Меня ли соблазнить победами, воинскими триумфами, когда вижу, насколько напрасны и гибельны они? Солдаты не так дешевы, чтобы ими транжирить и швырять их по пустякам. Я полководец по высшей воле, по ордеру, не по природе; не могу видеть крови, ран, слышать стоны и вопли истерзанных снарядами людей. Излишний гуманитет несовместим, братец, с войной... Вот граф Александр Васильевич — тот на месте, ему и книги в руки... Отчего ж, спросишь, я здесь, а не при дворе?

Изумили Попова эти речи. Он ушам своим не верил и сказал: пока жив, не забыть ему, что услышал он в тот незабвенный час. Светлейший встал, медленно прошелся по горнице, открыл окно в стемневший сад и опять сел.

— Неисповедимы судьбы Божьи! — сказал он. — Низринул Иова, превознес Иосифа! Чего я желал, к чему стремился, исполнено — все помыслы, прихоти. Нуждался в чинах, орденах — имею; любил мотать, играть в карты — проигрывал несметные, безумные суммы. Захотел обзавестись деревнями — надарено и куплено вдоволь. Любил задавать праздники, балы, пиры — давал такие, что до меня и не снилось. Пожелал иметь по вкусу дома́ — настроил дворцов. Драгоценностей имею столько, что ни одному частному человеку и во сне не снилось. И все мои страсти, планы во всем приводились в действо и выполняются... А, клянусь тебе, нет и не может быть человека несчастнее меня!

Попов стал возражать.

— Не веришь? — спросил упавшим, как бы молящим голосом князь. — Думаешь, шучу? Нет и нет! Все вы стремитесь, надеетесь: авось грянут битвы — отличие, всем слава. Для меня ж, дружище, все в мире пустоши, тлен, гроб поваленный, уготованный человечеству... И не будь звена, не будь

ласковых взоров оттоле, далече, ее повелений, — я бы жизнь свою, не задумавшись, истребил, разбил, вот как это...

Тут он схватил со стола дорогую саксонскую вазочку и, разбив ее об пол вдребезги, удалился в опочивальню.

Явившись по зову Попова, я был принят князем наедине. На этот раз Потемкин был тщательно выбрит, одет, отменно вежлив и добр. Пряди шелковистых, с заметной проседью, волос красиво оттеняли его женственно-нежный, высоко вскинутый лоб. Полные, как у счастливого ребенка, губы были осенены величавой, располагающей улыбкой.

— Ну, говори откровенно, — произнес он, — что за история у тебя вышла со вторым Зубовым?

Я изложил все подробно и без утайки. Лицо Потемкина при моем рассказе не раз омрачалось и по нему пробегали судороги.

— Желание твое будет исполнено, — сказал он, когда я кончил, — куда хочешь причислиться?

Я назвал передовой отряд графа Ивана Васильевича Гудовича, где служил Ловцов.

— Завтра же можешь отправляться. И если в чем будет у тебя нужда, обращайся ко мне.

Я поклонился. Идол мой, сердечный герой, вновь туманил мою душу восторгом, а глаза слезами.

— Ты молод, от судьбы не уйдешь, — продолжал князь, — занесла тебя доля, садись на нашу ладью... Греческий прожект, путь в Константинополь... Вы, юноши, без сумнения, пленены... Чай, и твое сердце не раз замирало в восхищении от таких чаяний?.. Дай, Боже, монархине выполнить высокие священные обеты. Слава ее и верных ее слуг — широковетвистое дерево: и под его сенью когда-нибудь отдаленные потомки с благодарностью вспомнят о нас. У корней того дерева ползают и шипят змеи... Не змеи ему опасны, а черви... По мелочи, тайком, под землей тотчас они, *зубатые*, жадные... С виду тихие, бесстрастные, знают наметку, а больше — как угодно-с... Платок на куртаге во-

время поднял с паркета — и пошел в гору... Мальчик писаный, сущий ребенок!.. А глядишь... Ну, да прощай, Господь с тобой; кланяйся графу Ивану Васильичу...

Я поклонился и, высказав, как мог, мою признательность, направился к двери.

— Стой, — окликнул меня князь.

Я обернулся.

— Нужны тебе деньги?

— Пока не терплю лишений.

— Не нужны? Чудак ты человек. И мне, впрочем, ничего не нужно, вот он знает! — указал князь на входившего Попова, принимаясь грызть ногти, что, по молве, было признаком сильного в нем душевного волнения.

Мой приезд в отряд Гудовича, как и первое мое там пребывание, остались особенно памятны для меня. Свидание с Ловцовым было самое радостное, тем более что ему и в мыслях не грезилась наша встреча в Турции. Попов, обласкавший меня и почтивший впоследствии даже особым доверием, взял с меня слово молчать о переданной им беседе с князем, что я, при жизни его светлости, и побуждался свято выполнить. Но теперь, пробегая в памяти цепь долгих лет, не могу, милый сын и мои будущие потомки, не сказать вам о знаменательных событиях того времени, для чего, переправя со временем, где нужно, и можете переписать сии листы для припечатания даже в публику...

Мне с годами стало вполне ясно тогдашнее, многим непонятное настроение Потемкина. Его мечты о восстановлении Византийской империи, о царстве Константина поколебались.

Верный союзник и товарищ Екатерины в войне с турками, австрийский император, больной, угрожаемый соседями и видя предательства и ферментации в собственных своих областях, а паче всего обманутый в надеждах на своих подданных венгерцев, близился к кончине. Войска его были отозваны из Турции. Он умер в тот год весной. Его преемник под влиянием Голландии, Пруссии, особливо же Англии, без

участия и ведома Екатерины завел негоции о мире с султаном. Недоверие Потемкина к австрийцам оправдалось на деле. Ему в таких обстоятельствах приходилось думать уже не о завоевании Царьграда. Он с горечью увидел, что турки начинают негоси́ровать не о своем спасении, а спорят об утверждении за Россией даже тех земель и прав, которыми, в силу прежних завоеваний, мы обладали несколько лет. Коснусь сего пункта подробнее.

Ослепление турок чуть было не обратилось в нашу пользу. Великий визирь, не дождавшись исхода переговоров, неожиданно перешел Дунай у Рущука, против коего в Журже стояли австрийцы. Поскольку у турок было восемьдесят тысяч войска, австрийский же полководец был вдвое слабее, то и запросил он нас о помощи. Русские встрепенулись.

Отряду Суворова было повелено подкрепить австрийцев. Он бросился к Журже. Но с Потемкиным вновь начались колебания. Он то подвигал командированный отряд, то слал гонцов и вновь его останавливал. Десятого июля Суворов донесся до Килиен и прождал здесь две недели; двинулся к Гинёшти и, к изумлению всех, стоял здесь целый месяц. В два дня с пехотой прошел семьдесят верст до Низапени и снова тридцать дней бездействовал. Наконец, ему прислан ордер — сразиться. В три дня форсированным маршем с пехотой он прошел к Бухаресту сто двадцать пять верст, увиделся с австрийским фельдмаршалом, условился обо всем, расположил место битвы. Новая виктория готовилась огласить давно молчавшие берега Дуная... Но пришла весть, что заключен мир Австрии с Турцией, а с ней и приказ о немедленном прекращении военных действий.

«Для чего драться и терять людей за землю, которую уже решено возвратить врагам?» — писал Потемкин к Суворову, требуя его назад. Суворов повиновался. Расположась у Галаца, он советовал главнокомандующему овладеть посредством гребного флота устьями Дуная: взять сильно укрепленный Измаил и, открыв доступ в Добруджу, двигаться далее без союзников. Ответа на вызов не последовало. Да и что было

отвечать князю? Из Петербурга приходили дурные вести. Швеция перед тем грозила самой столице. Враги не дремали. Влияние Зубова росло с каждым днем. Потемкин терзался ревностью к власти, сомнениями в малодушной боязни с каждым новым курьером узнать о своем падении. Предупреждая опалу, низвержение с высоты почестей и славы, он хотел все бросить и удалиться в Смоленскую губернию на покой.

Но повеяло надеждой к лучшему. Война с Швецией, без ведома стерегущей Англии, кончилась в августе миром в Вереле. Двор ожил. Сорок линейных кораблей, четырежды разбивших шведский флот, ожидали приказа идти против Англии. Даже в угрозу Пруссии готов был двадцатитысячный корпус вторгнуться в Польшу. К Потемкину понеслись советы действовать смелей... Гудович, с флотилией, где находился и я, в середине октября взял, после сильной атаки, крепость Килию. Булгаков и Мансуров на Кубани разбили наголову и взяли в плен, со всей свитой, лагерем и множеством пушек, турецкого сераскира, Батталь-пашу. Но главное, на что указывал Суворов, — взятие Измаила и дальнейшее шествие за Дунай — оставалось без исполнения. Недовольство в войске было всеобщее.

«Для чего ж мы не берем других, более сильных крепостей, не идем на Царьград? — роптали в армии и на судах. — Из-за чего томимся в гирлах и по болотным пустырям, болеем и мрем не в битвах, а от молдавских лихорадок? Долго ли нам кормить своею кровью турецких комаров и слушать не гром орудий, а кваканье лягушек? Где наши соколы: Румянцев, Суворов? Отчего молчит Потемкин? Он обабился, или турки подсыпали ему дурману!» Стали кое-где толковать уж и об измене, о подкупе...

Все это знал светлейший и оставался в упорном, мирном дефансиве. Курьеры по-прежнему пересылались от него к государыне и обратно. Придворные трактаменты стали благосклоннее. Но князь, по-видимому, был погружен в прежнее безучастие ко всему, в недеятельность, а кольми паче в лютую хандру. Кто-то прислал ему редкое киевское издание

«Книги хвалений, сиречь Псалтыри», и он погрузился в сличение его текста с прежними тиснениями.

«Яссы — Капуя светлейшего, — язвили его столичные и наши лагерные дармоеды-остряки, — опустился князь Григорий Александрыч, одряхлел не по летам, нравственно угас, в напыщенности и сибаритстве своего двора. Видна птица по полету. Не бывать кукушке соколом. И пора давно освежить, поднять дух армии иным вождем. Песня Таврического спета...»

Больше всех судачили и шипели о князе иностранные вояжеры и эмигранты, им обласканные и, в надежде легких триумфов, кишмя кишевшие при главной квартире. В ожидании отличек, сняв мундиры и надев фраки, они исправно плясали на молдаванских балах и раутах и без устали чесали языки.

— Измаил, государи мои, не Килия и не Тульча, — отвечал Потемкин этим критиканам, — локальное положение вовсе иное. За его твердынями сорок тысяч отборного войска, припасов на год и сам сераскир Аудузлу-паша. Хоть цапанье нам и не противно, но упаси Бог тратить людей; я не кожедиратель-людоед... тысячи лягут даром. Все мы привыкли к театральным, легким эффектам... Опера-буффа, в ущерб строгим, старым концертам, всех перековеркала...

— Так что ж делать? — кипятились залетные гости.

— А вот что. Война надоела Турции; авось и мы, как это ни прискорбно, кончим с подобающим достоинством — дипломатией...

Ропот и гнев дешевого политиканства на светлейшего росли. Взоры и слух мерзились виденным и слышанным на его счет. Все ожидали его смены. Он между тем, ускромив остервененное злоречием сердце и брося Псалтырь, затеял новое и небывалое по причудам празднество.

Невдали от ясского лагеря Потемкин повелел, якобы для генерального «ревю», соорудить в поле подземную палату. Убрал ее колоннами, бархатом, шелками и бронзой, а вокруг поставил два полка с барабанами, ружьями и батареей из ста пушек. И когда светлейший, за «ужиной», вышел с го-

стями из землянки и, подняв кубок вина, дал знак, что пьет в честь гостей, барабанщики ударили тревогу, ружья подняли батальный огонь, а за ними и пушки огласили окольность далеко слышными оглушительными залпами.

Так развлекал Потемкин умы легковерных пересудчиков, и не чаявших, что между тем он готовил и чем соображал поучтивствовать российским врагам.

Около того же времени я получил нерадостные вести от родителей. Ненасытный и алчный обер-прокурор первого департамента сената, отец Зубова, пользуясь своим положением, занимался покупкой на барыши выгодных тяжебных дел. Узнав, что соседнее с его В***-й вотчиной наше поместье описано к продаже с аукциона, он внес, куда следует, свои деньги и, против всяких прав и законов, выкупил это имение без публичных торгов. Гражданская палата, а за ней и наместническое правление выдали графу вводный лист, а моим родителям предложили из поместья выехать в кратчайший срок. Отместка за мою историю с его сыном сказывалась здесь ясно. Нам грозило полное разорение.

Я вспомнил обещание помощи светлейшего и решил при случае просить отпуска в Яссы. В войске между тем пронеслась весть, что турки, видя наше бездействие, сами составили новые калькуляции и замыслили перейти в наступление на наш авангард, бывший под командою Кутузова.

VII

Было начало октября. Стояла теплая, сухая, только этим благословенным краям свойственная в такую пору погода.

Отряд генерал-майора Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова охранял линию Днестра от Бендер до Аккермана. Очаков уж прославил имя этого генерала. Здесь два года назад он был ранен в голову, причем пуля, войдя в висок, вылетела в затылок.

Кутузов получил повеление передвинуться к югу. Разбив два турецких передовых табора, он направился к гирлам, близ которых и расположил свой отряд. Под его началом было несколько гренадерских и егерских полков, две тысячи донских и запорожских казаков и часть флотилии, при коей состояли я и Ловцов. Флотилия находилась под охраной казаков, занимавших аванпостами холмистый берег у молдавской деревушки Петешти.

Этим движением Кутузова завершились, впрочем, наши тогдашние действия. Турки, запершись в Измаиле, молчали и нас не тревожили. Опять настали однообразная скука, тщетные ожидания наступлений, общее неведенье и тишина.

Близилась осень, с ее дождями, холодами, а там и зима. Зная настроение главной квартиры, все убедились, что кампания этого года кончилась, и на досуге толковали о том, где и как придется «оборкаться» на винтер-квартиры.

Нельзя сказать, чтоб мы утопали в роскоши, но мы и не жаловались на судьбу. Роптали одни господа замотайлова десятка. В отряд, по мысли светлейшего, подвезли несколько сотен ногайских войлочных палаток. Солдаты окопали их канавками, обсыпали снизу землей и обставили свежим камышом, натасканным из гирловых заводей и озер. Жилось, повторяю, не ахти как. Темные вечера коротались беседами за чугунным чайником, песнями с гитарой, пуншем, а иногда и картами в макао. Более играли в казацком корпусе Платова, имевшего всегда изрядный запас цимлянского. С возвышенности, на которой стоял лагерь пехоты, были видны прибрежные глинистые холмы, поросшие ивами и кустами, плавни и несколько извивов Дуная.

Несмотря на строгие запрещения, егеря, что ни день, от скуки пробирались в одиночку и по нескольку человек к запорожским пикетам, к реке, ловя рыбу, собирая сушник для костров, а иногда решаясь и охотиться с ружьем. Особенно соблазнял солдат невиданный вечерний перелет тамошней дичи. Проберется егерек перед вечером из лагеря, станет в гущине камышей, у Дуная, и хлопает

из мушкета, следя по свисту крыльев за птицами, летящими на воду с просяных и кукурузных полей. Смотришь, позднее в сумерки и тащится к ротному котлу, искусанный комарами и увешанный отъевшимися на приволье утками и куликами.

Не одних солдат соблазнял этот перелет. Охотились и офицеры, в том числе и Ловцов. На него нашел в этом какой-то особенный стих. Я ему несколько раз и в подробностях передавал о моем приключении с Пашутой. Моя исповедь произвела на него сильное впечатление. Он то и дело вспоминал о моем рассказе и обращался ко мне с вопросами о дальнейших моих намерениях. «Я забыл о нанесенной мне обиде, — говорил я с горечью, — и не хочу о том более думать.» — «Нет, не поверю, — отвечал он, — будешь думать.» — «Почему?» — «Потому... ну, да что! Увидишь; она, наверно, пошла в монастырь...» — «Из-за чего?» — «Вспомни мое слово: сердце чует...»

Рассказы о родине не покидали наших бесед. В сходствие того, бывало, сидим на палубе или под войлочным шатром у казаков, курим, поглядывая на реку и на тихое, звездное небо, и толкуем о корпусе, о Питере и о близких. Письма с родины доходили редко, и каждое нами обсуждалось до мелочей. В одном из домашних писем обмолвились, наконец, и об Ажигиных. Матушка получила вести о них от какой-то знакомой, жившей по соседству с Горками. Строго осудив ветреную Пашуту и даже дважды обозвав ее в письме ко мне низкой, бездушной «поганкой» и «сквернавкой», матушка прибавляла, что перст Господень, очевидно, спас меня: отвергнутая изменница затихла, как ветром ее сдуло, никуда не кажется, ходит в черном и, по слухам, собирается на долгий отъезд прочь от своих краев. «И ты, Саввушка, — прибавила мне мать, — недаром у меня в сорочке рожден: избавился от такой ранней истомы да засухи и теперь волен, как ветер. Приезжай, мил дружок, в здоровье и благополучии в нашу Бехтеевку, авось ее еще отстоим! Мы тебе вот какую принцессу приотыщем.»

— А что, Савватий? Не я говорил? — произнес, выслушав эти строки, Ловцов. — Удаляется, потрясена... чудное создание! Твоя родительница, извини, неправа: и я в жизнь уж теперь не поверю, чтоб Ажигина тебе изменила.

— Как не поверишь! А все, что случилось?

— Убей Бог, душа говорит, — кипятился Ловцов, — не по ком ином Ажигина и черное носит, как по тебе...

— А Зубов с родичем?

— Не говори ты мне о них. Верь, ее отуманили, обманули. Неопытная, пылкая девушка, мысли разыгрались, опять же эти книги, ну и замутилась. Она ль одна сочла себя в заточенье, жертвой, и рвалась из-под крыла матери на бедовый ухарский подвиг? Так вот ее и вижу. Ты не подоспел из командировки, тебя нет, а у ней уж весь план готов: замаскирована, где ж рыцарь? Как бы матери сюрприз? А тебя нет...

— Хорош подвиг, — осерчал я, — тебя слушая, надо счесть виновником себя.

— У них, у девочек, ведь это все иначе, — продолжал Ловцов, — ах, как же ты не понимаешь? Там своя логика и свои тонкости... Да и всяк юноша... Ну, хоть бы наши гардемарины или юнкера... Вспомни, разбери, как гонялись за оперными и балетными девками! Разве не одни шалости, не одна прыткая, бесшабашная дурь? Ведь те же годы, та же кровь... Вспомни наших и в Аккермане: поколотили жида и готовы были на его жидовке жениться, ну, немедленно, в минуту, в секунду и тут же, среди разбитых бутылок, недоеденной мамалыги и оторопелых молдаван... Не так разве было? Не так?

Бедовый был этот Ловцов; общественный, добрейший, милейший товарищ, но скорый и вспыльчивый, как порох. От близорукости он еще в корпусе носил очки. И чуть покосится через них, шея и уши в краске, ничего не помнит: в жерло пушки, в огонь готов влететь.

Его речи, пылкая защита Пашуты и острая, томящая скука бездействия измучили меня. Я стал видеть не иначе, как тяже-

лые, странные сны. Все манило меня к делу, к совершению подвига, который бы расшевелил и оживил общий застой. Одна мысль начинала меня занимать, и я предавался ей во все свободные часы, для чего откладывал пока и поездку в Яссы с целью хлопотать о спасении имения отца.

Дни между тем стояли те же чудные, почти летние. Ни облачка, тихо и ясно, как в мае. Только предвестники осенних невзгод — белые паутинки — летели и медленно стлались по травам и камышам.

Раз мы лежали с Ловцовым у берега в казацком шалаше. В лагере, за ближним холмом, пробили вечернюю зарю: барабаны и трубы смолкли; затихли в обозе кузнечные молоты, у котлов песни, звуки балалаек и торбанов. Один за другим погасли по взгорью костры. Совсем стемнело. Ловцов с утра был в возбужденном, нервическом состоянии.

— На твоем месте я бросил бы все, — сказал он мне вдруг, — и уехал бы к ней...

— К кому?

— К Ажигиной.

— Ты смеешься надо мной? — произнес я под настроением мысли, о которой не переставал думать.

Он вскочил, проворно стал надевать плащ.

— Слушай, — произнес он, — если я шучу, пусть мне не дожить до утра.

Тут он взял ружье, мешок с зарядами и вышел из шалаша.

— Куда ты? — спросил я.

— К острову, в секрет. Казаки Михайле Ларионычу рыбы решили половить.

— Ну, не стыдно ли так попусту рисковать? — сказал я в досаде. — Почем знаешь, что турки не пронюхали и вас не стерегут?

— Пустое, — ответил голос Ловцова уж за шалашом в темноте, — места переменные, и лазутчики доносят, что турок не видать на тридцать верст кругом. А к твоей-то, к перлу, к цветку... уж как хочешь, брат... ах, жизнь наша треклятая...

Конца речи его я не расслышал, но эти слова перевернули вверх дном мою сдержанность, замкнутость. Я догнал его на берегу.

— Слушай, — сказал я, — вместо того чтобы тратить попусту силы, напрасно подвергать гибели других и себя, выполним дело, не дающее мне спокойствия и сна.

— Какое? Какое?...

— Подговорим запорожцев, они достанут у некрасовцев простые челны, переоденемся рыбаками и проберемся вверх по реке.

— Зачем? — спросил Ловцов.

— За островом, против Измаила, стянулся на зимнюю стоянку весь турецкий гребной флот...

— Ну, ну?

— А далее, что Бог даст...

Ловцов горячо пожал мне руку. Я передал ему свой план в подробностях, и в следующую ночь мы явились на условное свидание. Невдалеке от берега нас ожидали запорожцы. Я объяснил им, как приступить и выполнить дело. Они слушали молча, понуря чубатые головы.

— Князь-гетман оттого, может, и сидит, как редька в огороде, — произнес один из сечевиков, когда я кончил, — что никто ему не снял на бумажку измаильских шанцев... Мы уже пытались, да не выгорело... Авось его преподобие пошевелит бровями и даст добрым людям размять отерплые руки и ноги в бою с нехристями.

— Готово? — спросил я.

— Готово.

Запорожцы сошли к Дунаю, вытащили из камышей заранее припрятанные лодки, все — в том числе и мы с Ловцовым — переоделись в рубахи и шапки гирловых молдаван, спрятали в голенища ножи и уложили на дно сети, мушкеты и кое-какую провизию. И когда бы ни вспоминал то время, ясно и живыми образами является оно передо мной.

Ночь была тихая, мглистая. Даже с вечера трудно было разглядеть окрестные, подернутые туманом берега. Теперь,

тотчас же за отмелью, начиналась непроглядная тьма. Дунай, будто дыша, плескался о края отмели, катя быстрые, темные волны. То там, то здесь зарождались и вновь пропадали какие-то странные, отрывистые звуки. Мерещился парус. Кудластая коряга, сорвавшись с песчаного бугра, как некое живое чудище, плыла серединой реки. Плеск рыбы, шелест ночных птиц кидали невольно каждого в холод и трепет. Запорожцы сели в лодки, мы за ними, все перекрестились и налегли на весла.

Не буду рассказывать в подробностях о нашем предприятии, хотя считаю за нужное передать о некоторых мелочах. Мы плыли всю ночь, день стояли где-то в заливе, в кустах, и еще проплыли ночь. Огня разводить не смели. И досталось же нам от мошек и комаров; не помогали и сетки, намазанные дегтем. Руки и лица наши вздулись, запеклись кровью. Особенно жалко было видеть Ловцова. Мы из предосторожности обрезали себе короче волосы, а он, близорукий, нетерпеливый, не взял и очков. Мы старались не говорить меж собой. Он же ничего не мог разглядеть и поминутно спрашивал, где мы и не видно ли турецких разъездов.

В одном месте, во вторую ночь, послышался у берега шелест. Лодки в темноте плыли мимо небольших островков.

— Что это? — тихо вскрикнул Ловцов, хватаясь за мушкет.

— Брось, пане, рушницу, — сказал ему брат куренного атамана Чепига, — то не вороги.

— Кто ж это?

— А повидишь.

Справа ясней раздался мерный, тихий плеск весел. Все притаили дыхание. Из колыхавшейся густой осоки медленно выплыло что-то длинное, черное. Еще минута. Востроносый, ходкий челн с размаха влетел между казацких лодок.

— Здоровы были, братья по Христу, — проговорил голос с челна.

— И вы, братья молодцы, будьте здоровы.

— Харько? — спросил Чепига.

— Он самый.

По челну зашлепали кожаные, без подошв, чувяки. Здоровенный, плечистый некрасовец обрисовался у кормы; с ним рядом не то болгарин, не то грек.

— Проведешь? — спросил Чепига.

— Проведу, — ответил, просовывая бороду, некрасовец.

— Да, может, опять, как тогда?

— Ну, не напились бы, братцы, ракии, была бы наша кочерма. Не боитесь?

— Кошевой звелел, — гордо объяснил другой запорожец, Понамаренко-пушкарь, — а что велено кошем, того ослушаться не можно.

Некрасовец помялся плечами, взглянул на своего спутника.

— А как поймают, да на кол либо кожу с живого сдерут? — спросил он.

— Ну, пой про то вашим бабам да девкам, — презрительно вставил третий запорожец, Бурлай, — а кожа на то она и есть, чтоб ее, когда можно, сдирали... Да черта лысого сдерут. Ты же, брат, коли договариваться, веди, а не то лучше и не срамись. Сколько?

Некрасовец условился, передал дукаты спутнику, тот сел к веслам, и челны потянулись далее по реке. Товарищ некрасовца говорил по-русски.

В воздухе похолодело; к концу же ночи поднялся такой туман, что лодку от лодки трудно было разглядеть, и они держались кучей. В сырой, побуревшей мгле стал надвигаться то один берег, то другой.

— Ну, братцы, кидай теперь сети да греби левей, — тихо окликнул вожак, — не наткнуться бы на их суда. Тут вправо, за косой, и Измаил.

Сети были брошены. Весла чуть шевелились. Вожак не ошибся...

В побелевшем тумане, как в облаке, против передней лодки обрисовалась громада двухпалубного, с пушками, корабля. Паруса убраны; у кормы ходит в чалме часовой. Не

успели его миновать, возле — другой, такой же, выше — чуть видный третий. С последнего кто-то громко и сердито крикнул.

— Что это? — спросил я некрасовца.

— Ругаются, прочь велят ехать! Палками грозятся отдуть.

Лодки стали огибать остров против Измаила. Близились густые ивы, по тот бок пролива — лесистый, в оврагах, холм. Поднимался свежий утренник. Туман заклубился. Кое-где его полосы раздвинулись: из-под них обозначились белые стены, башни, ломаные линии земляных батарей, и в две шеренги перед крепостью — весь парусный и гребной турецкий флот.

Сильно забились наши сердца, когда из-за острова мы сосчитали суда, пушки на них и на крепости. «Ну, ваше благородие, — обратился ко мне Чепига, — бери карандаш да бумажку, наноси все на планчик». Я на спине запорожца набросал в записную книжку очерк крепости и стал перечислять суда. Оглянулся — нет лодки некрасовца, как в воду канула. «Струсили, видно, собаки, — сказали сечевики, — да мы и без них вернемся.» Утро загоралось во всей красе: синий Дунай засверкал зеркалом, крепость ожила; раздались голоса вдоль берега, засновали ялики, где-то послышался барабан, заиграли турецкие трубы.

— Что ж, ребята? — спросил я, поняв исчезновение лоцмана. — Не отдаваться ж в полон живым?

— Не отдаваться. Взяли, перевертни, деньги да, видно, чертовы головы, нас и продали.

— Выводи лодки к берегу, — сказал я, кончив набросок, — там камышами, и в лес.

— В гущине батька лысого найдут, — прибавил Чепига, — сперва вместе, а заслышим погоню, врассыпную.

— Хлеба осталось? — спросил я.

— Осталось.

— Ну, кого Бог спасет, авось и до своих доберется.

Втянув лодки к заливу, мы с ружьями бросились на берег. Почва шла болотом, потом в гору, кустами. Сплошной

безлистый лес сомкнулся вкруг нас. Сначала нам мерещилась погоня. Мы ускоряли шаги, чуть переводя дыхание. Но вскоре все стихло. В полдень мы отдохнули, закусили — воды только не добыли — и перед вечером подошли к окраине леса, окаймленного голым песчаным пустырем. Далее опять начинался сплошной лес. Чтоб нас не открыли, было решено пройти этот пустырь ночью.

Чуть смерклось, мы разделились. Одни, без препон, направились к берегу в надежде поискать лодок, другие — прямо долиной. У всех была надежда, что по ручью, протекавшему в долине, должны оказаться болгарские поселки. «Если нас не скроют, то хоть накормят, укажут путь», — толковали мы, пробираясь по мягкому, белому песку. Учредив сей марш, мы шли долго. Начинался рассвет.

Вдруг что-то прозвучало. Окрестность будто охнула. Мы замерли. То был выстрел, за ним раздался другой. «Это наши», — смутно пронеслось у каждого в мыслях.

— Что ж, братцы, — сказал я, — ужли пропадать товарищам? Верно, их открыли; надо попытаться им помочь.

— За мной! — крикнул Ловцов.

Мы взвели курки, направились к берегу. Песок сменился трясиной. Ноги вязли в болотной траве. И вот мы добежали. Стал виден берег. Вода заблестела меж кустов.

— Здесь, братцы, здесь! — заслышав голоса, не утерпел и крикнул Ловцов.

Под ивами что-то шелохнулось. Сверкнул огонь, грянул протяжный ружейный выстрел. Мы сквозь дым бросились к камышам. Там, отталкиваясь баграми, в двух душегубках отчаливали от берега ушедшие вперед наши товарищи. Мы добрались к ним по пояс в воде. Лодки поплыли из залива. С середины реки обозначился оставленный нами берег.

Под ивой, как теперь помню, стоял здоровенный, толстый турчин, в красной куртке и с обнаженной бритой головой. Он наводил мушкет на лодку и изредка в нас стрелял. Поодаль от него, нагнувшись к земле, возился над чем-то другой турчин. Между ними, на пригорке, неподвижно бе-

лело что-то навзничь распластанное; ближе к берегу еще двое без движения. Мы оглянулись друг на друга, перекрестились.

Жив ли остался Ловцов или погиб с другими, попавшими под выстрелы турок, о том мы узнали нескоро.

Скрывшись от новой погони в островах, мы поплыли, с закатом солнца, далее и через сутки, измученные, еле живые от голода, дотащились к нашим аванпостам. Весть о нашем поиске разнеслась по лагерю. Все хвалили отвагу разведчиков и оплакивали погибшего Ловцова. Кутузов призвал меня, слегка попенял и даже пригрозил арестом, но кончил тем, что через два дня мне же поручил препроводить в Яссы запорожцев, бывших на поиске, и лично передать светлейшему набросанный мною очерк Измаила и стоявшей там флотилии.

Никогда я не забуду ощущений, с которыми вновь подъезжал из лагеря к Яссам. Мысль о потере Ловцова не давала мне покоя, мучила меня. «Я виноват в его гибели, — говорил я себе, — зачем было его брать? Я знал его пылкость, несдержанность, притом же он близорук, нарвался прямо на пулю... Боже, Боже! За что такие испытания?» Я отдал все, что имел, все свои вещи, деньги, даже подарок матери — часы, лишь бы узнали о нем. Все розыски были тщетны.

Передовая телега, везшая меня, чуть двигалась в ночной тиши. Другие с запорожцами поотстали. Небо ярко горело звездами. Вот Медведица, золотой сноп Стожара. Я с замиранием сердца вспоминал, как любовался этими же звездами в корпусе с Ловцовым. Сколько ожило в памяти с ними: экзамены, выпуск, первые на службе шаги, Пашута и первая любовь. Живо представлялись мне дни у бабушки, поездки в усадьбу Горок, корпусные письма, приезд Ольги Аркадьевны, столкновение в театре и рассказ попадьи. Боже! Зачем не состоялся поединок? И зачем здесь, в Турции, погиб он, не повинный ни в чем, а я жив, не убит? Она бы узнала, оценила бы меня... «Вот преданность, вот любовь! — прошептала бы она, прочтя мое имя в реляции. —

Он не вынес, ушел на поприще славы и пал героем...» Ужли ж и вконец отвернулась от нас слава? Ужли никуда мы не двинемся, не предпримем ничего, и правы запорожцы, что светлейший, как редька в огороде, засел по шею в сомнениях и вечных колебаниях? Нет, я везу ему точный снимок Измаила и флота. Пригодились корпусные уроки фортификации. Он взглянет и, нет сомнения, объявит поход.

VIII

Я присутствовал при аудиенции князя Григория Александровича запорожцам.

Потемкин вышел к ним с гордой осанкой, в богатом гетманском кафтане, в лентах и орденах. Войсковой судья черноморской казачьей команды, охранявшей квартиру главнокомандующего, умный, сметливый и «письменный» Антон Головатый, был назначен Поповым представить князю прибывших удальцов. Те, как были наскоро отправлены из лагеря в дорогу, стояли отрепанные, в порванных рубахах и свитах, иные даже босиком. Светлейший принял их за нищих.

— А где же твои храбрые молодцы? — спросил он, оглянувшись на Головатого.

— Да это ж, ваше превелебие, они и есть, — ответил с поклоном войсковой судья.

— Неужели начальство поскупилось получше снабдить их в дорогу?

— А что нужно, батько ты наш, хоть бы казаку? — ответили запорожцы. — Роспытались мы у коша, кошевой сказал: идите с добрым человеком; ну, мы и пошли, а их благородие и списали планчик.

Потемкин взглянул на меня. Я ему подал рисунок. Он, очевидно, меня не признал — так я загорел и огрубел за это время.

— Теперь, княже, нет уж опаски, — сказал Чепига, — турчинова фортеция как на ладони. Звелите, ваше высоко-

превелебие, и побей, Боже, нас и наших детей, коли не заберем измаильского пашу со всеми его пашенятами.

Потемкин вскользь поглядел на рисунок, опустил его в карман и, покачав головой на щеголей-штабных, стоявших здесь же в стороне, — «не вам, дескать, чета», — объявил производство некоторых из запорожцев, в том числе и Чепигу, офицерами. Всей партии казаков, бывших в поиске, князь повелел выдать новое, полное, по их обычаям, платье и по сто червонцев. Деньги и платье запорожцы, впрочем, к слову сказать, пропили меньше чем в трое суток, не выезжая из Яссы, и отретировались обратно, как приехали, в лохмотьях. Радостям их не было конца. «Поход, поход!» — толковали они, распевая свои заунывные боевые песни. Вышло, однако, иначе.

Мне, как главе разведчиков, светлейший назначил особый прием.

— Думаешь, буду хвалить? — спросил он, вынув из баула и вновь рассматривая привезенный мною рисунок. — Отличились вы, флотские, один даже чуть ли не погиб. Но ни к чему, братец, все это, ни к чему, — прибавил, нахмурясь, Потемкин, — не в том дело...

Я онемел от этой неожиданности.

— Согласись, — продолжал он, — ты свежий человек и в Гатчине проходил достойную почетную школу. Я говорил всем, доказывал. Мы заморим турок осадой, заставим сдаться, возьмем, далее, ряд других крепостей, а нам — ох, что, сударь, и говорить! — объявят вдруг: баста, ни на пядень! — и пропадут задаром все труды, вся кровь, вся честь...

— Кто же скажет, ваша светлость? — осмелился я спросить.

— Есть такие, — произнес он загадочно.

Порывшись в бумагах, Потемкин отложил одну из них и прикрыл ее бронзовой накладкой.

— Отважный подвиг твой и этих смельчаков, — продолжал князь, — изобличает в вас достойных всякой похвалы слуг. Я тебя давеча не признал. По твоему отличию и

квалитету, о тебе уж рапортовано выше. Но это все, братец, ни к чему. Вы рветесь, ты особенно; это понятно и делает тебе честь. Я тебя не забыл: памятую твой вызов принять и выполнить такую комиссию, в коей бы видна была твоя персональная послуга. Готов ли ты, Бехтеев, сдержать слово? Ныне найдется дело и для тебя...

— Приказывайте, располагайте жизнью моею, мной! — воскликнул я в радости.

Князь позвонил. Вошел Попов.

— Где Бауэр? — спросил Потемкин.

Секретарь удивился вопросу.

— Где, в каком месте нынче Бауэр? — нетерпеливо застучал князь по столу пальцами.

— Проехал Будапешт, может, и Вену.

— Французский язык знаешь? — обратился ко мне Григорий Александрович.

— С измальства, в доме родительском, и опять же в корпусе обучен.

— А ну, прочитай вот, Бехтеев, — сказал он, протянув мне книгу... — Недурно! Расскажи теперь, попробуй, прочтенное своими словами... Слышишь, Василий Степаныч, видно, на Жоконде зубы проел, как и мы с тобой... Певуна, всякого петиметра за пояс заткнет. Ну, изготовь же, по этой материи, бумаги и все, что нужно. В командировку, сударь, нынче ж в ночь выедешь.

— Куда, ваша светлость? — спросил Попов, вглядываясь в поданный ему мелко исписанный каракулями светлейшего листок.

— Ах, батюшки, куда! Известно, вдогонку Бауэра, в Париж... Наговорили болтуны — почти без каблуков... А оказывается, чуть не в полтора вершка. Прасковья Андреевна, сударь, вычитала в «Вольном Корреспонденте», — обратился ко мне Потемкин, — что при платье а-ля-бельпуль дамы нынче опять носят и башмаки с высокими выгибными каблуками. Каблуки, именно каблуки — без них ни шагу... Так готовься, братец, поедешь в подмогу

Бауэру. Ум хорошо, два лучше. Хлопочите... помогите угодить фрерушкиной супруге.

Попов сделал мне знак уходить. Князь меня остановил.

— Перед отправкой зайди сюда, — сказал он, — получишь еще лично от меня цидулку к королевскому башмачнику, как бишь его?.. Они разрушили Бастилию, грозят самому трону, религии, а деспот — мода — не дает им покоя, властвует ими, как детьми... Всем российским мотам велено выехать из Парижа; Бауэру и тебе — исключение. Ты рвался из усердия бить турков; поусердствуй пока иначе — барыне постарайся угодить. А что выгодней в жизни — это, брат, еще бабушка надвое сказала. После сам увидишь и поймешь...

Удивило меня, а потом и разобидело это решение. «Как? Офицеру покупать башмаки для какой-то Прасковьи Андреевны? Супруга фрёрушки! Да мне-то какое дело? Выкидывал штуки светлейший, и к ним уж привыкли, но такой, да еще с носившим мундир гатчинских батальонов, — я не ожидал.»

Повеся нос, в досаде на всех и все, я возвратился в «кафан», где нанял комнату. Офицеры бросились меня поздравлять.

— Отменный, завидный случай, верная тропа к отличиям.

— Да в чем же дело? — спрашивал я.

— Как в чем? Неужто не знаешь? Во всем городе и в лагере только и говору, что о новой причуде Таврического. И кому ж выпало на долю ее совершить? Ближнему, любимому адъютанту князя Бауэру и тебе, Бехтеев... Оба как бы в один ранг поставлены... Такие поручения не забываются. Любимый предмет, властительница сердца, жена двоюродного братца светлейшего... радуйся да скорехонько отъезжай, а то как бы еще князь не раздумал. С ним это бывает.

Получил я от скупяги Попова подорожную на фельдъегерских, прогоны и щедрое пособие на подъем, а в прощальной аудиенции от князя несколько приватных писем, и

в том числе небольшой пакет с надписью: «Распечатать через неделю, по прибытии на место».

На другой день я отправился в столицу Франции. Завистники штабные провожали меня вежливо и искательно; но я видел их двусмысленные улыбки и слышал их шепот: «Фельдъегерь по башмачной части; не вывезли батальоны, вывезут выгибные каблуки».

В Париже с появлением странных комиссионеров поднялась буря толков и всяких пересудов. Я застал Бауэра вне себя от беготни по магазинам, в возне с башмачниками и поставщиками модных вещей. Он выбивался из сил, хлопоча лично и через подходящих агентов в приискании, по привезенной мерке, башмаков, с отделкой из перьев или а-ля-бель-пуль. «Des souliers pour madame la prîncesse Potemkine!» — тараторили на все лады словоохотливые французы. Вести о новоприбывших курьерах главнокомандующего дунайской армии понеслись всюду, выросли в чудовищные размеры.

Отчаянным и ветреным парижанам такая фанфара была на руку. Столица первого в Европе народа была польщена прихотью могучего русского вельможи. И там, где уже второй год царили якобинцы, где во имя прав человека были уничтожены церкви, монастыри и всякие внешние отличия, где духовенство присягнуло народу и закону, где выходили газеты Лустало́ «Революция Парижа» и Марата «Друг народа» и толпа валила смотреть на празднество федерации на Марсовом поле и на политическую трагедию Жозефа Шенье «Карл Девятый», — там все заговорили о русском фельдмаршале, удостоившем командировать своего адъютанта в столицу великого народа за покупкой изобретенных этим народом башмаков. Уличные крикуны, с портретами Мирабо, Бальи и Лафайэта, вынесли на продажу изображения Потемкина. Газеты приводили десятки анекдотов из его жизни, уверяя, что князь в Яссах посажен своей возлюбленной на хлеб и на воду и что она его не выпустит, пока фельдмаршал не добудет ей желаемой обновки. В окнах книжных магазинов явился печатный, с карикатурами, памфлет, где был изо-

бражен султан, подающий на коленях фаворитке князя собственную обувь. Некий же догадливый содержатель театра и музыкальный композитор написал даже по сему случаю преострый, с куплетами, водевиль под названием: «Бедствия Северного Рыцаря», на представления которого публика повалила, как на некое диво. Мы сами с Бауэром инкогнито были на том представлении и хохотали от души над пьесой, где остроумно изображали нас самих.

А в то время как парижане занимались водевилем и всей этой историей нового чудачества светлейшего, контора российского банкира Сатерланда отсчитала перед некоей еще недавно высокочтимой и титулованной красавицей, обитательницей Сенжерменского форштадта, по векселю князя шестьдесят тысяч ливров золотом.

Дело в том, что пришел указанный срок. Я распечатал особо мне врученный пакет, нашел вексель и краткую инструкцию относительно банкира и оной дамы. Обсудив с Бауэром, как исполнить указанное, мы разделили роли. Он тайно доставил запечатанное письмо князя даме, я — вексель и ордер светлейшего банкиру.

Впоследствии объяснилось, что названной красавице было предложено ловкой рукой выбрать из бюро страстно влюбленного в нее вновь назначенного французского министра иностранных дел Делесара нужные для князя дипломатические тайные бумаги. Золотой ключ отпер дверь к податливости корыстной сильфиды и придал ей крылья бабочки и благопотребную решимость льва. Она слетала, куда следует, изловчилась и возложенное на нее поручение спроворила отменно успешно. Копии с нужных бумаг нам были переданы в переплете вновь вышедшего кодекса «Прав человека», а подлинники бумаг положены на прежнее место.

Тут я с Бауэром простился. Он остался укладывать в картоны и сундуки вороха бархатных, шелковых, сафьяновых и всяких башмаков и расплачиваться с лавочниками и мастерами. Я же навестил двух первых в Париже медикусов, аки бы для совета о больных глазах, бережно упаковал в

сумку книгу «Прав человека» и пустил слух, что еду для консультации с врачами еще в Италию. Через Милан и Триест я прибыл в Вену, дождался там Бауэра и одновременно с ним и с его модной поклажей явился обратно в Яссы в конце ноября.

Содержание доставленных документов оставалось долгое время для всех тайной. По смерти же князя, при разборе его бумаг Поповым и Бауэром, оказалось, что то была копия с секретного отказа французского кабинета первому министру английского короля Георга Третьего. Наперекор стоявшей за нас оппозиции бессмертного Фокса и его друзей, Портланда и Девоншира, коварный и скрытный Питт предлагал для возбуждения английской нижней каморы и в видах отвлечения французских умов от возраставшей парижской неурядицы заключить оборонительный и наступательный договор Англии с Францией с целью принудить русских к остановке войны против Турции. Франция отказала. Прочие державы под влиянием Англии были до того в великой фермантации; нам грозили войной с Пруссией, даже Австрия клонила наш кабинет к принятию негоций мира с Турцией, одна отдаленная Испания была спокойна... И вдруг руки наши развязались...

Получив такое сведение, Потемкин увидел, что дело Восточной Системы спасено.

— Василий Степаныч, — крикнул он Попову, пробежав поданные ему бумаги, — бал назавтра, танцы и балет, с фейерверком... Молодцы, господа! — обратился он к Бауэру и ко мне. — Прасковья Андреевна сама оценит ваше усердие и поблагодарит.

Бауэра он кликнул в кабинет, а подойдя ко мне, опустил руку в карман и запел по-церковному «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!». Он хотел нацепить мне в петлицу орден; я его остановил.

— Иной награды, коли стою, — осмелился я произнести.

— Какой? Всего проси: заслужил.

Я передал о захвате отцом Зубовых имения моих родителей.

— И грабителей проучим, и от креста не уйдешь, — сказал светлейший, — возвращайся к армии и решпектуй от меня Михайле Ларивонычу; мысли ваши на днях будут утешены...

IX

Едва я возвратился к колонне Кутузова, где меня тем временем причислили к егерскому полку, пришла весть, что нашей гребной флотилии, взявшей Тульчу и Исакчу, удалось прервать сообщение Измаила с незанятым нами правым берегом Дуная. Множество запорожских чаек и заготовленных в Севастополе шхун, дупельшлюпок, полакр, ботов и галер вошли гирлами в реку, подтянулись к занятым нами крепостцам. Пользуясь этим, светлейший предписал командиру корпуса Гудовичу занять десантом остров против Измаила, устроить там в тайности кегель-батарею и, начав обстреливание самой фортеции, подойти к ней с суши и от реки и попытаться взять ее осадой. Стало известно, что в Стамбуле опять усилилась партия войны; муфти, стоявший с матерью султана и сералем за мир, был сменен. Порта напрягала последние ресурсы с целью выбить нас из занятых ее владений.

Обложение Измаила началось по этому плану 21 ноября. Войско вздохнуло отрадно.

Но где было изнуренному непогодой, болезнями, бездорожьем и всякими лишениями двадцативосьмитысячному отряду, половину коего составляли казаки, меряться с грозной фортецией, снабженной в обилии съестными, огнестрельными и прочими припасами, в которой, за неприступными земляными и каменными твердынями, сидел с сорокатысячным отборным и свежим войском сам сераскир Мегмет-Аудузлу-паша? Первый пыл армии, обрадованной приступом к действиям, прошел. Начались сомнения, колебания. Позднее ж время года, непрестанные проливные дожди, холод, грязь и болезни в войске еще более усилили общий упадок духа. Через неделю по начатии осады Гудович созвал военный

совет для обсуждения вопроса: продолжать ли предприятие или ретироваться на винтер-квартиры? Генералы после недолгих колебаний решили — отступить.

Мы двинулись по убийственным дорогам, затопленным дождями и разбитым нашими же обозами, в обход болот, у озер Кугурлея и Ялтуха. Было предписано идти к Рени и Галацу, где, вопреки общему мнению и к удивлению всех, сидел в то время как бы нарочно забытый и всеми оставленный любимец армии и всего русского народа бессмертный Суворов...

Был скверный, холодный и сырой вечер второго декабря 1790 года.

Колонна Кутузова, где мне дали в команду роту фузилеров, шла целые сутки, но сделала, по лесистым топям и оврагам, не более пятнадцати—двадцати верст, каждый час, каждый миг ожидая, что вот растворятся ворота Измаила и в нашем тылу раздадутся грозные крики преследующих турок. Авангарду скомандовали привал. Кое-как установили обоз и разложили по мокрому песку костры.

Налетевший мелкий, как сквозь сито, дождь то и дело тушил еле тлевший бурьян, сучья и кукурузные стебли. Обмокшие, прозябшие солдаты толпились у ротных котлов. Офицерство забралось к чайникам, в наскоро разбитые палатки. Сумерки сгущались. Я не мог обогреть у слабого огня продрогнувших, окоченелых членов и стал, разминаясь, прохаживаться между палатками.

Влево от авангарда виднелась темная полоса озера; вправо — ряд пустынных бугров, кое-где поросших мелким кустарником. Ноги скользили в жидкой, расползавшейся во все стороны грязи. То здесь, то там в сумерках, под шуршание и назойливый писк зарядившего на всю ночь дождя, слышался говор солдат.

— Тоже егарями зовутся, круподеры, — толковал кто-то под навьюченной фурой недовольным старым басом, — двадцать лет в полевой да в гарнизоне шесть, и опять взяли — служи. А какова ноне муниция? Один шонпол на

двух... Были каски: зимой — холодно, в дождь — в загривок, как из трубы...

— Зато ноне кивера, — перебил говорившего молодой веселый голос, — ах, братцы, ну, чисто ощипанный кочет; спереди — хохол, сзади — лопасть; в зимушку опять будешь без щек и ушей.

— Нет, ты, дядя, уважь — когда жалованье? — спросил третий голос из-за палатки, скосившейся над лужей. — Две трети его и в глаза не видели. От кукурузы да от треклятого папушоя животы подвело. Сена коням не дают; можно, мол, и на подножном... А подножный что? Нынче грязюка, завтра снег.

— Хорош тоже хоть бы сам-от, — продолжал первый критикан, очевидно о Гудовиче, — под Килией ни разу его, как есть, и не видели на брешь-батарее; все из лезерва, даже в туман, в подзорную трубку глазел.

— Да! Ты вот лоб подставляй, — отозвался кто-то, прокашлявшись, от коновязи, — а они и к параду в обедни не выходят. То ли, братцы, Ликсандра Васильич...

— Суворов?

— Ну да... Это — хоть бы в очаковскую зиму. Стоим мы, братцы... ах, в жисть то есть!.. ну, как есть!

Дождь будто перестал. Я набил трубку у костра, закурил; слышу, толкует в стороне кучка отставших артиллеристов.

— Хучь бы тебе выгода какая, ли лагерь взяли — провизии, ли город — серебра, золота. Портки в дырьях, сапожишков и звания нет.

— Зато, Евсеич, у светлейшего, видел ли, двести гранодеров холопами; вырос дубиной, хорошо подал тарелку за фриштыком, ну, он-те сейчас и в офицеры.

— Для виду только?

— Какой для виду! Портного за кафтан — в подпрапорные, молдаванчика-серебренника — в корнеты, булочника пожаловал в подпоручики. Лошадей у него более двухсот, и все, братцы, кормятся на счет кирасирского и драгунского полков. А подрядчики грабят! Вот антихристы... Зашел это

я к Семен Митричу, разут, совсем ознобели щиколки; последняя подошва в луже у моста осталась. А он жрет мамалыгу, смеется: ты, говорит, вприпрыжку...

— Ах, жизнь! Ах, горе! И нет на них, людоедов, суда-расправы.

— Австрияк, сказывают, своих вешал. Вот бы нашим-то...

— Держи карман, на наших толстошеев, видно, веревка еще не сплетена.

Дух тогдашнего армейского критиканства мне был не в новость. Но то, что привелось услышать в дни нашей ретирады, смутило меня сверх меры. Я возвратился в палатку, прилег на влажных снопах, где уж расположились трое других офицеров, и завернулся в шинель.

Лагерь смолкал. Пригорок, на котором стояла наша палатка, был в передней линии авангарда. Внизу виднелись лужи узкого проселка, ведшего к мосту, через ближний ручей. С вечера долго слышались с той стороны крики погонщиков-молдаван, тащивших на волах, через дырявые мостовые горбыли, отставшие пушки какой-то батареи.

Из-под обвисшей, намокшей парусины было видно, как над окраиной долины бежали низкие, бурые, клочковатые облака.

— Господи! Хоть бы уж замирение, — сказал в ответ высокому, широкоплечему майору Неклюдову лежавший возле меня, больной лихорадкой, молоденький, вечно жалующийся и разочарованный в ожиданиях прапорщик Гуськов, — в два месяца хотели Константинополь взять! По неделям рубахи не меняешь, от карпетов осталась какая-то корпия; накинул барабанщик из старого кивера подметку, а она, анафема, как окунь, опять есть просит, эту хлябь так и всасывает...

— Ну, миленький, все простишь, как у тебя это убеждение, что тебя не тронет ни штык, ни пуля, — возразил ему, весело вскидываясь из-под шинели и садясь впотьмах палатки, Неклюдов, — мне, господа, цыганка в Яссах гадала, что я кончу поход не токма жив, даже не ранен.

— Избегнешь раны, как раз! — сердито кашляя, произнес больной Гуськов. — У них штуцера Цельнера и Гамерле, пистолеты Лазаря Лазарини. С нашими только осрамишься. Вон и Ловцов был уверен...

— Да ведь он жив?

— Хороша жизнь в Измаиле, в плену... Когда-то еще храбрый росс надумает и придет его избавить...

Долго я слушал, притворяясь, что заснул. У самого все было промочено до костей. Стыд за себя и за других теснил мысли. Боже, хоть бы из-за угла шальная какая пуля! Крупные капли изредка мерно падали сквозь дырья парусины то на руки, то на лицо. Сон стал одолевать, но я пробуждался, взглядывал в щель двери, прислушивался к звукам ночи. Что-то шлепало по грязи, ветер шатал палатку, шелестил травами и камышом. Чавкали фурштатские клячи; жалобно завывала где-то полковая собачонка. Вправо, на чуть видном пригорке, светился фонарь у ставки Кутузова.

Вдруг я вскочил. За шею побежала накопившаяся над заплатанной парусиной холодная дождевая вода. В то же время влево от моста послышалось топанье конских копыт. «Что бы это было? — подумал я. — Откуда явиться коннице? Уж не янычары ли пробрались в обход?»

Накинув наскоро шинель, я вышел из палатки. Дождь перестал. К пригорку, брызгая по лужам, пробирались гуськом всадники. В начинавшемся бледном рассвете я разглядел казачьи шапки и пики.

— Чья колонна? — спросил, завидев меня, передний, останавливая у взгорья поджарого, тяжело дышавшего впалыми ребрами горбоносого кабардинца.

— Шестая, Кутузова, — ответил я, видя, что часовой у въезда в лагерь вытянулся перед всадником во фронт.

— Какие части? — продолжал тот.

— Три батальона егерей, два гренадеров и сотня бугских стрелков. За ними ночует отряд Самойлова и часть артиллерии Мекноба...

Говоря это, я приблизился и разглядел всадника. То был худой, подвижный, с маленьким личиком старик; длинные седые локоны выбивались из-под его намокшего треугола. Серая, подпоясанная ремнем старенькая шинель была черной от дождя. Комки жидкой грязи облипали высокие сапоги, обвислые фалды и руку, в которой была нагайка.

— Офицер? — крикливым, добрым голосом спросил старик, склонив ко мне обветренное и чуть видное от брызг грязи лицо. — Ну, ваше благородие, уважь, веди нас к Михайле Ларивонычу. Старый знакомый... Что смотришь? Гонцы, голубчик, — с повелением из главной квартиры, — гонцы... пристойные знатности, помилуй Бог!

— Позвольте узнать, с кем имею честь?

— Цимлянской станицы старшина Фрол Терентьев Балаболкин.

Я, как подобает, отдал честь прибывшему и повел его к ставке Кутузова. Спутники старика двинулись следом, с удивленными лицами оглядывая меня и как бы меж собой перемигиваясь.

— Так вы, сударики, на попятный? Отступать? — насмешливо допрашивал, обдергиваясь и оправляясь в седле, именовавший себя Балаболкиным.

— Разве мы? — ответил я. — Мало ли чего хотелось бы? Велено, нечего рассуждать.

— Гости хорошие, и вести такие ж, optimissime! — проговорил и прищелкнул пальцами старик. — Не крикнет трижды петел, отречетесь от принятых решений: а ты, козырь! Ишь, встал раньше всех... молодец!

Меня что-то как бы подталкивало и подмывало. Сам не понимая почему, я точно на крыльях летел. Странное, сладкое чувство всего меня наполняло.

Среди луга, отделявшего два взгорья, была широкая водомоина. Рыжий кабардинец старика заупрямился. Я подобрал плащ, шагнул в воду, взял коня под уздцы и перевел через колдобину.

— Эх, важно! Так, так! — ободрял всадник, видя, как я шлепаю ботфортами по воде. — Да ты в воде, как дома... уж не из моряков ли?

Я ответил, что из моряков.

— Покинул Рибаса? И хорошо сделал... Ротой командуешь? Молодец! Штык, он лучше, брат, всякой лодки доедет...

Мы добрались до палатки отрядного командира. Кутузов был уж на ногах. Денщики возились у распакованной фуры, ставили самовар. Толстенький, румяный и невыспавшийся адъютант Кнох что-то с недовольным видом писал под диктовку Михаила Ларионыча на барабане. Сам Кутузов сидел на опрокинутом ведерке; полковой фельдшер, в фартуке, выбрил ему правую щеку и подновлял мыло на левой.

Не успел я, с рукой у шляпы, отрапортовать генералу о прибытии из главной квартиры такого-то гонца, всадники, пробравшись между фур, тоже поспели к палатке. Передовой вскочил наземь, бодро встряхнулся, бросил поводья ближнему из казаков и мелким, бойким развальцем двинулся прямо к генералу.

— Хорош Балаболкин!!. Батюшка граф Александр Васильич! — вскрикнул Кутузов, отстранив фельдшера и вставая навстречу гостю.

— Ура! — весело произнес, оглядывая всех и махая мокрой шляпой, гость. — Таким богатырям да отступать? Назад! Обратно, с походом...

«Генерал-аншеф Суворов! Ужли он? Откуда?» — послышались голоса вблизи меня. Я обмер в радости и удивлении.

Суворов и Кутузов дружески обнялись.

— Вы, сударь, с вами Гудович, Голицын, Мекноб и Рибас, все, — продолжал Суворов, не выпуская из перепачканной, худой и красной своей руки полных белых пальцев Кутузова, — все части отныне становятся под мою верховную команду. (Кутузов, моргнув зрячим глазом, почтительно приставил ко лбу пальцы свободной руки.) А потому, батюшка, ординарцев сюда, штабных, вестовых, трубача! Снимать лагерь. Да-с... Мешкать нечего... Приятно

будет неверным, фуй, вот как приятно-с! Как пилюля полынная... Нынче же к вечеру на прежние позиции к Измаилу; а завтра... помилуй Бог!.. увидим, как поступить.

Кутузов оглянулся на адъютанта. Суворов придержал его за руку.

— Повелено, — произнес он, — взойдя тут, сызнова ложироваться, во что ни стало... а потом... Ну, да увидим, батюшка... увидим, сударики мои... А впрочем, вот тебе, Михайло Ларионыч, и на бумаге...

Тут Александр Васильич отстегнул лацкан кафтана, вынул отсыревший, порыжелый пакет, вручил его Кутузову, и оба они, давая друг другу дорогу, с аттенцией и молча, вошли в палатку.

«Суворов, Суворов! — понеслась радостная весть по лагерю. Все ожило, задвигалось. — Какой приказ? Наступление? Голубчики вы мои, дождались-таки праздника!» Одна мысль, что Суворов в авангарде, переродила общее настроение. Все рвались вперед. «А эти сербины, босняки, болгарчики — сущие хохлы, наш брат, — толковали ликующие солдаты, недавно еще ругавшие за разные прижимки одноплеменников, — как есть свои и крестятся по-нашему и все... И отчего матушка-царица их не заберет совсем у турка?» Как нарочно, переменилась и погода. Тучи подобрались, стали расходиться. Выглянула полоса чистого синего неба. Начало подмораживать. Лагерь копошился, снимая палатки, вьюча и запрягая фуры.

В полдень Суворов вышел из ставки Кутузова, тоже выбритый, в синей шерстяной фуфайке и в чистом белом колпаке.

— Не видать что-то моих соколов, — сказал он, щурясь против солнца, — уж и ждала ж, ждала свово друга молода...

— Не это ли, ваше сиятельство? — осмелился я указать за ручей.

От моста на луг повзводно въезжал конный отряд. За кавалеристами тянулись, блестя штыками и бляхами шляп,

шеренги фанагорийского, везде следовавшего за любимым вождем, егерского полка.

— Спасибо! Вторая послуга... Быть тебе в моих ординарцах, — сказал, взглянув на Кутузова и быстро на одной ноге обратясь ко мне, Суворов. — Дай им знать, что, мол, дядюшка тут: щи, каша готовы. Тащи их к котлам... Понял? Штык, внезапность, быстрота... вот наши вожди — не отставай и ты.

Я поспешил навстречу подходившему отряду. Но как забилось мое сердце, когда я узнал, что в тот же день меня причислили к штабу Суворова. Я расположился при главной походной квартире и, пока жив, не забуду того, что я тут испытал и чему сделался очевидным и глубоко тронутым свидетелем.

Ранней утренней зарей третьего декабря бывший отряд Гудовича, обратясь вспять, как снег на голову, вновь появился перед твердынями Измаила. Колебаний, безнадежности не было и следа. Малодушные порицатели смолкли. Дух героя зажег бодростью и рвением робкие, упавшие сердца.

В войске так объясняли это событие: на донесение Гудовича о крайней невозможности взять Измаил Потемкин от 25 ноября из Бендер прислал ответ: «Вижу пространственные ваши толкования, а не вижу вреда неприятелю», — тогда же послал в Галац приказ Суворову: «Вести штурмование и, буде окажется можно, взять Измаил». Суворова в этом письме светлейший назвал «милостивым другом», а себя «вернейшим слугой». Ответ Суворова князю состоял в двух строках: «Получа повеление, отправился к Измаилу. Боже! Даруй нам помощь свою».

Потемкин между тем вскоре впал в новые сомнения. Получив известие, что Гудович уж отступил, он послал вдогонку Суворову, от 29 ноября, новый ордер: «Известясь о ретираде корпуса Гудовича, предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему усмотрению — продолжением ли предприятий на Измаил, или его оставлением. Вы на месте, и руки у вас развязаны». Но Суворов решил более

не поддаваться таким шатаниям. Он по-своему объяснил новый приказ главнокомандующего. «Воля отступать и не отступать, — сказал он, прочтя бумагу, — следовательно, отступать не приказано.» В таком смысле, положа все на мере, и повел дальнейшие приготовления.

Войско, двинувшись, расположилось полукружием в трех верстах от Измаила, заняв почти двадцать верст вдоль берега Дуная. Установилась ясная, морозная погода. Ветер и стужа увеличились. Стали греться ракией и пуншами из модного рижского бальзама. Суворов повелел поддерживать день и ночь костры. Приготовив лестницы и фашины, он обучал по ночам войска действовать ими; осматривал с инженерами удобные местности и отряжал вылазки, а чтоб турки предполагали возобновление правильной осады, диспонировал и возвел ряд батарей чуть не в полсотне сажен от бастионов Измаила, откуда нам и стали отвечать непрерывным ожесточенным огнем. Наши наводчики, направляя орудия, дули в замерзшие кулаки и, пуская снаряды, приговаривали: «Ишь, бабушка Терентьевна, как сморкается! Ну-ка, уважь еще, уважь...»

Громадных размеров фортеция, по обширности своей названная турками «орду-калеси», то есть сбор войск, занимала в окружности десять верст. С Дуная ее окружали каменные стены; с суши — земляной вал в четыре сажени вышиной, со рвом еще глубже. В ней было до трехсот пушек и сорокатысячный гарнизон, наполовину из отчаянных спáгов, зейбеков и янычар.

Седьмого декабря 1790 года генерал-аншеф Суворов послал сераскиру Мегмету-Аудузлу-паше, «всем почтенным султанам» и прочим пашам прокламацию с требованием без напрасного кровопролития сдать крепость, дабы могли быть пощажены от раздраженного воинства женщины, младенцы и другие неповинные. Гордый сераскир, отказавшийся незадолго от принятия визирского достоинства, отвечал через парламентера: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, нежели сдастся гяурам Измаил».

X

— Сами захотели, ну, попробуют! — сказал Суворов, огненным и радостным взором пробежав перевод хвастливого ответа паши.

Узнав, что сераскира в его решимости поддерживали некоторые из пашей и, между прочим, брат крымского хана Каплан-Гирей, бывший в Измаиле с шестью молодыми сыновьями, Суворов уведомил Аудузлу, «что если тот в двадцать четыре часа не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом и гарнизон ее соделается жертвой ожесточенных воинов». Сераскир в ответ на новое уведомление графа удвоил канонаду с крепостных окопов.

А к вечеру примчался от светлейшего новый гонец. Страшась неудачей омрачить себя и славу вверенных ему войск, Потемкин окончательно отменил посланные перед тем распоряжения и предписывал Суворову «не отваживаться на приступ, если он не совершенно уверен в успехе». Суворов ответил князю: «Мое намерение непременно. Два раза было российское войско у ворот Измаила, стыдно будет, если в третий оно отступит, не войдя в него».

Ночью девятого декабря был созван окончательный военный совет.

Все первенствующие в армии генералы под разными предлогами на это совещание почему-то не соизволили явиться. Дело решилось тринадцатью второстепенными командирами. Бригадир Матвей Платов, будучи, как младший из всех, спрошен вначале, первый подписал резолюцию: штурмовать. За ним Орлов, Самойлов, Кутузов; а далее и все колебавшиеся и приходившие в отчаяние положили решение: «Приступить к штурму неотлагательно. И посему уж нет надобности относиться к его светлости. Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно».

Узнав решение, Суворов вбежал в заседание совета, всех перецеловал и объявил: «Один день Богу молиться, другой

учиться; в третий — Боже Господи, в знатные попадем — славная смерть или победа».

Утром десятого декабря была открыта редкая, слабая, с перерывами, пальба с флота и с батарей на суше и на острове, дабы обмануть турок мнимым недостатком у нас пороха и прочих снарядов. К вечеру канонада стихла.

Ночь с десятого на одиннадцатое декабря была последней перед грозным приступом, который прогремел во всем свете и воспет бессмертным Байроном. С вечера сильный, без ветра, мороз скрепил окольные болота и дорожную грязь. Наступили сумерки. Войско готовилось молча и набожно к битве, где столько тысяч храбрых ожидала лютая, безжалостная смерть.

Меня позвали в землянку Суворова, вырытую в передовой части наших позиций. Это была просторная, без окон, укрытая сучьями и кукурузными снопами, перегороженная надвое яма, с печуркой и дымником в стене и с камышовым щитом вместо двери. Освещалась она свечками, вставленными в пустые бутылки.

Сутуловатый черномазый полтавец Бондарчук, тогдашний графский денщик, высунувшись с лоханкой из-за перегородки, где стояла походная складная кровать главнокомандующего, сказал мне: «Звелели, добродию, обождать». По этот бок перегородки, беспечно и мирно, точно где-нибудь на родине, в Гатчине или Чухломе, потрескивали в печке откуда-то добытые сухие поленца. Пахло дымком и столь любимым графским прысканьем: смесью мяты, шалфея и калуфера. Воображение переносило в русскую баню, а в опочивальне графа кстати слышались некие приятные вздохи, оханье и как бы плесканье.

— Еще, голубчик хохлик! Ну-ка, Бондарчук! Ой, Господи, да важно как, еще! — восклицал Александр Васильевич, очевидно, подставляя под лоханку денщика то лицо, то затылок, то плечи.

— Удивляешься? — спросил он вдруг, выйдя закутанный в простыню. — Часочек рекреации! С Покрова, брат, головы не мыл: наутро же, знаешь, какое дело...

Граф вытерся, опростал голову, сел на какой-то обрубок и протянул к печке худые волосатые, тоже вымытые, ноги, на которые денщик стал натягивать шерстяные стоптанные онучи, вместо чулок, и сапоги. Все тело графа, впалые плечи и узкая, плоская грудь поражали слабостью и худобой. Он, под влиянием приятной печной теплоты, смолк и стал слегка вздремывать.

«И этому тщедушному старику предстоит завтра такое страшное, ответственное дело», — подумал я.

— Пуговочку... ниже... ох, что же это? — проговорил в полусне Суворов и вдруг весело раскрыл глаза. — Молода была — янычар была, стара стала — баба стала... Бехтеев, ты тут? Слушай, ты не лживка и не ленивка! Скажи, да по правде, любишь Питер?.. То-то, где его любить! Близко к немцам... Оттого и многие там пакости. Всюду, ох, проникает питерский воздух... Прислони, братец, дверь в сенях плотнее — так-то... оно спокойнее. Не то как бы опять из Ясс не запахло Питером. Критика, политика, вернуу́нфты! Сохрани и помилуй от них Бог, помилуй...

Белье и рейтузы были надеты. Денщик, вытянувшись, давно стоял с камзолом и сюпервестом в руках. Но граф медлил подниматься от печки. Я тоже молча ожидал приказаний. Наверху, за дверным щитом, слышался сдержанный шепот, толпились адъютанты и прочие штабные.

— Воскрес убитый Топа́л-паша, хромой паша! Воскрес, — проговорил, глядя в печку, Суворов, — так меня, сударь, прозвали турки за хромоту и совсем было схоронили под Бендерами... Да ожил на страх изуверам и завтра явится, как Божья кара. Сам Петр Александрыч, не то что, сам Задунайский меня лично ценил и одобрял. У Вобана, сударь, у Тюренния и Нонтеку́кули учились мы, вон с Бондарчуком, военной премудрости и всякому артикулу. Мы не антишабристы, не блюдолизы, хоть и вандалы, дикари. Солдаты любят нас, друзья славят, враги бранят... Ну-ка, Прохор Иваныч, другую прежде фуфаечку поверх этой — оно теплей. Да пуговочку... шлифная пряжка намедни лопнула, достал ли иголку, ниточки

зашить? Достал? Ну, молодец. А ты, Бехтеев, — вот зачем я тебя позвал — отыщи в чемодане баульчик такой, походную аптечку. Матушка-царица Екатерина Алексеевна снарядила ее сама, своими ручками, и прислала мне после Очакова, вовеки с ней не расстаюсь. Так ты приладь на плечо и завтра вози за мной. Сердцезритель Господь чертит каждому путь... Может, кому и пособим...

Хилый, сморщенный старик, кряхтя, поднялся со скамьи, надел камзол, обвязал шею чистым батистовым платком, изрядненько прибрал свой гарбе́йтель-косичку, зачесал сзади на лоб часть жидких седых волос и подвернул их завитушкой-хохолком, оделся в синий с золотом кафтан, со звездами, пристегнул шпагу, прошелся по землянке — и куда делась сонливость и хилость. «Туалет солдата таков — встал и готов! — сказал Суворов. — Честь и хвала князю Потемкину, поубавил кукольных занятий у войска... но все еще немало осталось!» Граф покрылся шляпой с белым плюмажем, расправился, обернулся — я его не узнал. Три ночи не спавший в переговорах с турками шестидесятилетний старик, измученный душевной, никому не зримой борьбой и страдавший ревматиками раненой ноги, глядел бодрым, выносливым, свежим и молодым. «Фазаны тут?» — спросил Суворов Прошку. «Тут», — ответил денщик. Так граф называл нарядных штабных. «Ну, теперь выкинет штуку, — подумал я, вспоминая выходки графа, — выскочит, крикнет петухом, чтобы разбудить дремлющий стан...»

— Господа, по местам! — сказал Суворов серьезно, торопливо взбираясь из землянки и направляясь к большому соседнему костру. Граф позвал назначенных заранее начальников, кое-кого из офицерства и сел у огня дожидаться условного знака. Штурм, как все знали, был предположен до рассвета, по выпуске трех, с промежутками, сигнальных ракет.

Войско для взятия крепости было разделено на три отряда, в каждом по три колонны. Правым крылом, или первым отрядом, командовал двоюродный брат светлейшего, муж Прасковьи Андреевны Потемкиной генерал-поручик Потемкин;

второе, или левое, крыло было поручено племяннику князя Таврического генерал-поручику Самойлову; третьим, от реки, командовал контр-адмирал Рибас. Начальниками подчиненных им колонн были генерал-майоры: Львов, Мекноб, Ласси, Безбородко, Кутузов, Арсеньев; бригадиры: Платов, Орлов, Марков и атаман запорожцев Чепига.

Костры шестой колонны Кутузова, бывшей в отряде Самойлова, светились красивыми правильными рядами слева, по холмам и спускам в лощину, подходившую здесь к самой реке.

Суворов, полулежа на примерзлой траве и кутаясь в бурку, отдавал последние приказания. Резкий, пронизывающий холодом и сыростью ветер, дувший с вечера, затих. В отблеске графского костра рисовалось несколько старых и молодых фигур, почтительно стоявших возле Александра Васильича. В стороне, у смежных огней, слышалась французская бойкая, самоуверенная речь. Между говорившими я узнал прибывших в эти дни некоторых из агентов иностранных дворов и подоспевших из ясской главной квартиры партикулярных вояжеров и волонтеров. На ковре, боком к огню, сидел белокурый и сильно близорукий, с приятной важной осанкой, сын известного принца Де Линя. С ним оживленно спорил, сидя на корточках, в бархатном кофейном кафтане, в кружевных манжетах и огромном жабо, вертлявый и толстенький, с острым носом, эмигрант герцог Фронсак — впоследствии известный на юге России герцог Ришелье. Поодаль от них, в кругу обступивших его артиллерийских офицеров, прислонясь к пушечному лафету, полулежал на кучке соломы другой эмигрант — суровый и бледный, болевший лихорадкой и зубами и с подвязанной щекой граф Ланжерон.

— Все это верно, все это так, — говорил он с расстановкой на родном языке, закрывая от боли глаза, — но мне, в конце концов, непонятна эта бесконечная война: столько погибнет жизней, прольется крови. И все кажется даром, вряд ли одолеем эту страшную машину смерти. Все европейские авторитеты сходятся в том, что Измаил положительно неприступен для штурма...

— А мы все-таки его возьмем и двинемся с триумфом к Константинополю! — с вызывающей усмешкой сказал, глядя на француза, невысокий рыжеватый, с веснушками на лице, пехотный майор.

— Как, без союза с другими? — спросил, морщась и хватаясь за щеку, Ланжерон.

— С нами Суворов, кто против нас? — ответил несколько напыщенно майор. — Притом же...

— Нет, вы скажите, где ваши союзники? — резко его перебил эмигрант. — Их у России нет и быть не может... Оставляя страдания другим странам, допуская, извините, безбожников подрывать древние троны, веру...

Я пошел к другому костру.

— Безумные, несбыточные затеи, и притом столько риску! — произнес в стороне, за лафетом, другой, как бы знакомый мне голос, от которого я невольно вздрогнул. Говорившего мне не было видно за окружавшими его...

«Неужели он? Мой заклятый враг? — пронеслось у меня в голове. — Граф Валерьян Зубов! Какими судьбами? За легкими отличиями или на помеху славного предприятия прислан из столицы? Но как мог, как решился его допустить сюда Потемкин?» Я хотел подойти, взглянуть ближе, не ошибся ли, как в то время меня кликнули к Суворову. Я нашел его в ту минуту, когда он, беседуя с командиром казаков Платовым, говорил ему, не стесняясь близостью иностранных вояжеров: «Каждый француз, батюшка Матвей Иваныч, по природе танцмейстер: вся сила у него в ногах, а не в голове...»

— Бехтеев, — сказал, завидя меня, граф, — съезди к Михайле Ларионычу; пригасил бы он костры: туманит, недолго до рассвета... пусть думают турки, что мы заснули... А в тумане, при огнях, команды не проглядели б сигналов.

Я вскочил на редкогривого донского мерина, на котором ездил в те дни, пробрался между пехотой и пушками и направился к передовой цепи шестой колонны. Сторожкий, сильно тряский конь, набирая рыси и натягивая поводья, въехал на лесистый бугор, проскакал вдоль казачьей цепи и

бережно, между залегших секретов, стал спускаться в овраг, за которым виднелись огни отряда Кутузова.

«О, люди! — рассуждал я, пробираясь каменистым темным дном оврага. — Он, могучий, на верху почестей и силы, он, светлейший, для которого, по его же словам, один токмо закон и одна в жизни цель — слава и честь обожаемой монархини, мог так потеряться и упасть духом! Знает Зубовых, знает все их ничтожество, зло и зависть к себе и уступает, заискивает в них. Одним дуновением, словом — пожелай только, явись хоть на миг обратно в столицу, и он развеял бы весь их жалкий, бездарный комплот, а он покоряется, льстит и насланному брату кровного, смертельного врага оказывает почтение и решпект, видимо отряжает его к столь священному, важному делу. И этот мальчишка, питерский шалберник и шаркун, его же столь подло критиканит. Ну, светлейший... еще понятно — дипломат; но Суворов? Он как согласился? Или и этот стойкий, крепкий столп погнулся перед дуновением нелюбимого им питерского ветра?»

Я нашел Кутузова, отдал ему приказ главнокомандующего. Он ласково выслушал мое поручение, простился и, перекрестив меня, сказал: «Ну, с Богом! Все будет выполнено; а жаль, что ты не у меня, ну, да, авось, свидимся». Когда же я обратился вспять, он подошел ко мне, склонился к седлу и спросил вполголоса: «А что, Бехтеев, граф-то Валерьян Александрович при особе Александра Васильича или получил особую команду?» На мой ответ, что я ничего о том не знаю, Кутузов прибавил с аттенцией: «Уважь, братец, передай его сиятельству графу Валерьяну мое высокопочитание и желание от былого знакомца всех отменнейших сим утром триумфов...»

Пока я возвращался к позиции главнокомандующего, костры вдоль всего фронта погасли один за другим. Настала общая торжественная тишина. Она длилась недолго.

В три часа взлетела первая сигнальная ракета — все взялись за оружие. В четыре — другая, ряды построились. В

пять — взвилась третья и, бороздя туман, глухо взорвалась в высоте. Все войско осенило себя крестным знамением и молча, с Суворовым впереди, двинулось к незримым в ночной тьме окопам и бастионам Измаила.

Конница расположилась на пушечный выстрел от крепости. Казаки, назначенные для первого натиска, взяли пики наперевес. Ни одна лошадь не ржала. Пушки, с обверченными соломой колесами, без звука заняв указанные места, снялись с передков. В их интервалы медленным густым строем стала продвигаться пехота. Суворов, окруженный штабом, появлялся то здесь, то там, ободряя подходившие полки, наставляя офицеров и перебрасываясь шутками с солдатами.

— Немогузнайки, вежливки, краснословки могут оставаться в резерве, — говорил он, — недомолвки, намеки и бестолковки на подмогу к ним поступят, а мы, братцы, вперед...

— Пилаву, ребятушки, турецких орехов вон там вам припас! — говорил он, указывая на выдвигавшиеся из темноты очертания крепости.

— Еще рано, ваше сиятельство! — отвечали из ближних рядов.

— Врешь, кострома, — шутил граф своим бойким лапидарным слогом, — голодному есть, усталому на коврике сесть, а бедному дукатов не счесть!

«Го-го-го!» — любовно и радостно отвечал сдержанный смех по солдатским, уходившим в потемки рядам.

Войско без выстрела подошло и построилось в ста саженях от крепости. Суворов начал было речь к ближайшим: «Храбрые воины! Дважды мы подступали, в третий победим...», да махнул рукой — ну, мол, их, красные слова — и, только прибавив Платову: «Так постарайся же, голубчик Матвей Иванович!» — дал знак начинать. На ближнем бастионе заметили русских. Там поднялась суета, раздались крики «алла!» Им ответили громким «ура!». Грянули первые нестройные ружейные и пушечные выстрелы. Миг — и земля кругом застонала от залпов осветившихся в пороховом дыму холмов и батарей.

С первым щелканьем картечи, брызнувшей по нашим рядам, егеря и казаки, таща лестницы, бросились к стенам. Глубокий ров, до половины залитый болотистой вонючей водой, остановил передовую шеренгу. Залпы с бастиона освещали площадь и ров, где произошло это замедление. Суворов уже подтянул поводья кабардинца, хотел помчаться туда.

«Охотники, за мной!» — громко крикнул кто-то впереди замявшихся. Смотрю: размахивая новенькой, незадолго выписанной из Пешта шляпой, побежал ко рву мой недавний сожитель по палатке секунд-майор Неклюдов, которому гадала цыганка. «Прочь лестницы — грудью, братцы, ура!» Он первый вскочил в ров, ближние за ним. Вон они уж на той стороне. Втыкая копья и штыки в насыпь, атакующие шеренги стали взбираться на вал. Егеря внизу осыпали выстрелами амбразуры редута. В отблеске наших светящихся бомб и турецких рвавшихся ракет было видно, как мокрый, испачканный тиной Неклюдов быстро карабкался по откосу бастиона. Ворвавшись в редут, он охриплым голосом вскрикнул: «С Богом, соколики! Наша взяла!» — воткнул над стеной полковое знамя и упал навзничь. Новенькая треуголка скатилась по эскарпу редута; он ранен навылет в грудь из ближней турецкой батареи.

В шесть часов утра взошла на вал вторая колонна Ласси. Первая Львова и третья Мекноба должны были ее подкрепить, но опоздали: Мекноб и Ласси одновременно и тяжело были ранены, впереди своих полков. Ласси мог еще командовать. С простреленной рукой он повел далее свой отряд и штыками взял несколько батарей за Хотинскими воротами.

На левом фланге было хуже. Кутузов пробился сквозь уличные завалы, сквозь картечь и ятаганы янычар, предводимых братом крымского хана. Он овладел уж главным редутом, господствовавшим над этой частью города. Но сильный отряд спаганов, поддержанный артиллерией и полком телохранителей сераскира, с распущенным зеленым знаменем, зашел ему в тыл и стал охватывать как Кутузова,

так и соседнюю колонну, бывшую под начальством раненного в ту минуту Безбородко.

Победа ускользала из рук наступавших героев. Осыпаемые гранатами, бомбами и пулями, солдаты замялись, стали отступать. В это время был убит пулей командир пехотного полоцкого полка Яцунский.

Молодой, русый, в светло-синей ряске, священник этого полка вскочил на разбитый бруствер, поднял крест и крикнул: «Что вы, братья? Ранили вашего вождя? С Богом, за мной! Вот ваш командир!..» Он бросился в улицу, ближние роты за ним, но опять бегут врассыпную назад. Полоса дыма рассеялась. Легли сотни. Синяя ряса священника виднелась в груде окровавленных тел.

В это время к Суворову подскакал знакомый мне адъютант Кутузова Кнох. «Дальше нет сил наступать; просят подкрепления...» Он не окончил реляции. Осколок лопнувшей вблизи гранаты ранил его в плечо.

— Бехтеев, аптечку сюда, аптечку! — крикнул, обращаясь ко мне, Суворов. — Костоеда на пальцы треклятым изуверам! Да вот что... поезжай-ка к Кутузову и скажи: нет отступления! Я жалую его комендантом Измаила и уж послал курьера с вестью о взятии крепости...

«Благослови нас Бог!» — ответил на переданное мною Кутузов. Он потребовал к себе соседний херсонский полк и, едва тот к нему направился, скомандовал новый отчаянный натиск, опрокинул янычар и телохранителей сераскира и на их плечах, кладя через ручьи и каналы портативные мосты, ворвался в пылавший со всех концов город. Я не мог двинуться обратно. Меня стиснули и повлекли наступавшие далее и далее батальоны.

Невдалеке с оглушающим треском и гулом взлетел на воздух пороховой подвал, взорванный турками под оставленным ими бастионом. У моста горела мечеть, из окон и дверей которой гремели выстрелы засевшей там горсти турок. В конце улицы поднимался громадный черный

столб дыма от зажженной нашими калеными ядрами главной казармы.

Меня с лошадью прижали к мостовой ограде, трещавшей под натиском проходивших частей. С криками: «Ну-ка, его! Так-то, жарь!» — и стреляя на пути через мост, валила пехота, за ней артиллерия, казаки и опять егеря. Караульные единороги и дальнобойные, кугёрновские пушки снимались с передков, пешие расступались, и картечь с визгом хлестала по опустевшим дымившимся улицам. Сзади через головы летели снаряды из казацких мортир. Еще взрыв и еще пожар. Под Суворовым было убито две лошади. В восемь часов утра он сел на третью и, при звуках труб, с полками — свято-николаевским, фанагорийским, малороссийским гренадерским и петербургским — прошел все предместья Измаила.

Началась перестрелка и страшная, беспощадная резня, на штыках и ятаганах, на улицах пылавшего со всех концов города.

Целые роты янычар и эскадроны спагов бросали оружие и, став на колени, протягивали руки, с искаженными от страха лицами, моля о пощаде: «Аман, аман!» Суворов ехал молча, нахмуря брови, не глядя на них и как бы думая: «Сами захотели — пробуйте!» Остервенелые солдаты штыками, саблями и прикладами без сожаления клали в лужи крови тысячи поздно сдававшихся бойцов.

XI

Я считал мою миссию к Кутузову оконченной. Его храбрый отряд выбил турок с указанных фортов и вошел в ближайшие улицы. Я подъехал к нему с целью узнать, что он прикажет дополнить к рапорту главнокомандующему. Михаила Ларионовича я застал у какого-то сада. Прислонясь к корявому дуплистому орешнику, он жадно пил добытую в соседнем колодце воду. Мундир на нем был расстегнут, обрызган грязью и кровью; коса расплелась; руки и лицо в пороховой копоти.

— Вон, за тем огородом, видишь? — объяснял он, переводя дух, отъезжавшему Гуськову. — Бери взвод, роту... не одолеешь, дай знать Платову...

Не успел он кончить, откуда-то со страшным, сверлящим гулом и визгом налетел тяжелый снаряд. Что это было: граната, бомба или ядро? Перемахнув через сад, колодец и наши головы, снаряд обо что-то хлопнул и, не заметный глазу, унесся далее. Лошадь Гуськова взвилась. Смотрю, он побледнел, стал склоняться с седла. Из обнаженного снарядом белого колена хлестал струей кровавый фонтан. Мы бросились к раненому.

— Бехтеев! — крикнул Кутузов. — В арсенал — видишь, две башни? — наши пленные... Турки их режут... Бери бугцев — вон за огородом... не опоздать бы, голубчик... именем моим...

Я поскакал к указанному месту. Что передумалось в те мгновения, трудно изобразить. Не скажу, чтоб я не дорожил собственной жизнью, но мне мучительно было мыслить, что меня убьют на пути и я не достигну цели. Свистевшие вправо и влево пули, разрывавшиеся здесь и там гранаты я считал направленными именно в меня. «Как? Мне не удастся оказать помощи? Эти несчастные, и между ними, может быть, измученный голодом, цепями Ловцов...»

Я шпорил лошадь. Миновав один переулок, другой, я достиг огорода. Невысокий, рыжеватый и толстенький майор, тот самый, что спорил с Ланжероном об исходе войны, только что собрал рассеянную меж обгорелых избушек и деревьев роту бугцев и, с оторванной фалдой, подняв шпагу в обмотанной чем-то окровавленной руке, стал выводить солдат в опустелую, застилавшуюся дымом улицу.

— Изверг ты рода человеческого, — кричал майор, с выпяченными на веснушчатом лице сердитыми глазами, обращаясь к плечистому, длинному, сконфуженно и робко шагавшему через грядки фельдфебелю, — турчанка в шароварах ему, изволите видеть, понадобилась! Баб им, треклятым иродам, давайте! Сласти всякие, перины, чубу-

ки! А ты прежде, распробестия, службу, а тогда и в задворки...

Подскакав к майору, я передал ордер Кутузова.

— Что ж, берите, — бешено крикнул он в досаде и на меня, — матушкины, тетушкины отлички! Все с налету-с! — продолжал он, озираясь на ходу. — Ты верой-правдой, а у тебя из-под носа...

Столб дыма и земляных комьев, как исполинский косматый куст, вдруг с треском вырос между грядок. Осколками разорвавшейся бомбы были замертво скошены и сердитый, в веснушках, ругавшийся майор, и длинноногий сконфуженный фельдфебель. Офицеров в роте больше не было. «Стройся, сомкнись! — скомандовал я, слезая с лошади. — Левое плечо вперед, через плутонг, скорым шагом... марш!» Я повел роту к арсеналу.

Любовь к жизни, страх за жизнь, с новой, еще большей силой загорелись во мне. «Нет, меня не убьют и не ранят!» — думал я, шагая улицей, загроможденной обломками разрушенных и гудевших в зареве пожара зданий, трупами врагов и своих.

Где-то вправо трещала раскатистая частая перестрелка мушкетов; ближе, за клубами дыма, летевшего поперек улицы, слышались турецкая команда и настигающие волны близкого русского «ура». Команда и крики смолкли: очевидно, дело пошло на штыки.

Рота, предводимая мной, вышла на опустелую, обставленную каменными зданиями, площадь. В глубине ее виднелся с двумя башнями обнесенный сквозной оградой арсенал. На столбах и выступах ограды висели трупы казненных. Среди площади догорал костер, и над ним на копьях торчали обгорелые, без носов и ушей, живьем замученные пленники. Один из страдальцев еще двигался.

— Видите, братцы? Вот каковы изверги! — крикнул я.

— Не выдадим, выручим остальных, — подхватили егеря.

Я разделил роту на две части. Одну выстроил под прикрытием мечети, другую послал в обход арсенальной ограды.

Надо было пройти площадь, на которую с незанятого русскими берегового редута с нашим появлением стали ложиться снаряды. Резерв двинулся в переулок. Остальных я повел двором, прилегавшим к арсеналу. На площади послышался конский топот. За решеткой показалась кучка наших всадников, скакавших в направлении к редуту. Впереди их мне бросился в глаза, на небольшой караковой лошадке, в блестящем мундире, гвардейский офицер. «Ужли опять он?» — подумал я, пораженный встречей.

— Опоздали графчики, — проговорил возле меня левый фланговый, — наши и пить турке не дадут...

Я оглянулся. Со двора было видно, как на зеленые откосы речного редута, точно муравьи, посыпались, поднимаясь выше и выше, самойловские егеря. Злое чувство еще злее сказалось во мне к обидчику, не желавшему дать мне сатисфакции. «И вот в то время, — подумал я, — когда эта горсть храбрых, не щадя себя, стремится исхитить от лютой гибели мучимых братьев, он спокойно гарцует, поспешая к лаврам, добываемым чужими руками. Ему бы, фанфарону, в ломбер теперь играть... Ловцов, друг мой! — прибавил я мысленно, взглядывая на окна арсенала. — Предчувствуешь ли ты, кому суждено тебя спасти?»

Толпа зейбеков, засев в окнах и на башенных крышах, стала осыпать нас выстрелами. Мы ворвались в арсенальный двор. У ворот лежал, с отрубленными руками, старик монах, захваченный при последнем отступлении Гудовича. На крыльце валялась обезглавленная болгарка-маркитантка. Возле был брошен надвое рассеченный обнаженный ребенок. А в двух шагах от него, на углях, в чугунном горшке варился плов с бараниной и кипел в котелке кофе.

Вид истерзанных мучеников остервенил солдат. Не слыша команды, они бросились к внутренним входам. Поражаемые пулями, падали, стремились встать и опять опускались. По ним, напирая друг на друга, бежали задние ряды. «Но кто же из них убьет меня? — думалось мне при виде свирепых бородатых лиц, в чалмах и фесках, выглядывавших то

здесь, то там и в упор стрелявших из-за прикрытия. — Чей выстрел, чья пуля сразит меня и навек остановит мое, так бьющееся, сердце?»

В узкие окна правой башни повалил дым. Изнутри ясно слышались русские вопли: «Горим, горим!» — «Наши! Касатики! — гаркнули солдаты. — Лестницу, решетки ломать!» Егеря потащили от сарая какие-то жерди.

— В крайнее левое целься, бей на выстрел! — закричал я, бросившись к тем, которые стреляли из-за крылечного навеса. Я думал этими выстрелами прикрыть ладивших и поднимавших к башне лестницу.

Но мои мысли странно и резко вдруг прервались. Поднятая со шпагой правая рука бессильно повисла. В глазах все завертелось и спуталось: жерди, солдаты, клубы дыма, повалившего из окна, обезглавленная болгарка на крыльце и разрубленный надвое курчавый обнаженный ребенок.

Я, как помню, пробежал несколько шагов и с жаждой воздуха, победы, жизни и общего счастья, ухватясь за сдавленную и вдруг как-то страшно переставшую дышать грудь, бессильно и жалко, будто тот же ребенок, упал на чьи-то протянутые, в продырявленных и стоптанных сапогах, ноги. Мне почудилось, а может быть, я впоследствии о том слышал от других и принял это за действительность: двор арсенала огласился громким перекатистым «ура». Из-за башни гудел топот быстрых подбегающих ног. «Мой резерв», — подумал я, замирая в сладком забытьи.

Догадка моя оправдалась. Турки были сломлены и все до одного переколоты. Пленных спасли.

Не стану рассказывать, как я был поднят и доставлен на берег, на перевязочный пункт. Своим спасением я был обязан морякам Рибаса, взявшим город со стороны реки.

— Ну, как чувствуешь себя? — спросил меня кто-то в лазаретном шалаше, едва я очнулся от лихорадочного бреда.

Он, друг и товарищ детства, Ловцов, был передо мной. Я не верил себе от радости, хотел говорить, но меня оста-

новили. Лекарь, перевязавший раздробленную в локте мою руку, сильно опасался, от чрезмерной потери крови, за исход моего лечения.

Раненых некуда было девать. Вид их страданий разрывал душу. У одного был наискось рассечен череп, мозг выглядывал из-под окровавленных русых волос. У другого осколком гранаты была прострелена грудь: в отверстие раны было видно трепетавшее бледно-розовое легкое. Хорошенькому темноволосому адъютанту Мекноба, который в Яссах пленял всех, танцуя с молдавскими красавицами чардаш, отняли по колено ногу. Душный запах крови наполнял открытый с двух концов оперативный шалаш.

— Одначе держались и турки! — объяснял за мной Ловцову выбившийся из сил лекарь. — Каплан-Гирей вывел пятерых сыновей: всех их доконали платовские казаки; он последний свалился на трупы детей... Тело сераскира насилу распознали в груде крошеного мяса.

— А сколько всех турок убито? — спросил лекарь подъехавшего штабного.

— Убито больше двадцати трех тысяч; в том числе насчитано шестьдесят пашей... Взято двести пятьдесят пушек и до четырехсот знамен.

— Кто же тебя освободил? — успел я спросить, уже вечером в больнице, Ловцова. — Как это было? Ну, объясни, кто взломал дверь, кто вошел первый?.. Ты знаешь, ведь... судьба...

Он медлил ответом.

— Да не стесняйся... я вел, ох, знаю... и все-таки...

Он склонился к моему изголовью, оправил мне волосы, постель. Исхудалое, бледное, обросшее бородой его лицо было сумрачно, важно. В глазах виднелись слезы.

— Спас нас тот, — сказал он, — кто и тебе даст спасение. Он один... Ему одному...

— Да о чем ты?

— Помнишь, в ту ночь, в лагере, в палатке, — прошептал Ловцов, пригибаясь ко мне, — припомни, я говорил тебе, ручался... Ах, Савватий, все время в страданиях, в плену, я думал... Ее обманули, она не повинна ни в чем.

Я горячо пожал руку Ловцову. Отвечать не имело силы. Тысячи терзаний подступили к сердцу, и я искренне жалел, что не был в тот день убит наповал.

— Что делать с городом? — спросили Суворова по взятии Измаила.

— Дело прискорбное — и помилуй Бог! — моему сердцу зело противное, — ответил он, — но должна быть острастка извергам в роды родов... Отдать его во власть, на двадцать четыре часа, в полное распоряжение армии...

Добычи было захвачено солдатами в Измаиле больше чем на два миллиона. Солдаты носили в обоз жемчуг рукавицами. Во многих русских селах долго потом встречались арабчики-червонцы, персидские ковры и шелка.

Граф Александр Васильевич послал фельдмаршалу в Яссы рапорт о штурме: «Российские знамена на стенах Измаила». Государыне он отправил особое донесение: «Гордый Измаил пал к стопам вашего величества».

Наутро в Измаиле, в церкви греческого монастыря св. Иоанна, пелся благодарственный молебен. Умерший от раны генерал Мекноб был похоронен рядом с убитыми Вейсманом и Рибопьером.

Шесть дней очищали город от трупов и обломков сгоревших и разрушенных канонадою зданий. Раненых разместили в двух уцелевших кварталах. Был пир на корабле у Рибаса. Гремел гимн «Славься сим, Екатерина». Салютовали пушки.

Спустя неделю генералитет и прочее начальство пировали в квартире Павла Сергеевича Потемкина. Здесь Суворов узнал от племянника светлейшего о сдержанных, хотя и благосклонных на его счет выражениях в реляции Таврического императрице о штурме Измаила. Более же всего его обидело

то, что решили далее к Стамбулу не идти и что князь послал с донесением в Петербург не кого-либо из действительно заслуживших это поручение, а брата своего соперника графа Валерьяна Зубова. Суворов, по обычаю, смолчал, но выразил свой достойный гнев иным, присущим ему способом.

— Шут, лизоблюд, двуличка, виляйка, — напустился он вдруг на своего слугу Бондарчука, служившего за обедом у Павла Сергеевича, — дистракция, субординация! Подаешь не по чинам. Высока лестница воинского чиноначалия! С них начинай, — указал он на сидевших в конце стола обер-офицеров, — им и карты в руки, а мы с тобой здесь капральство, последние...

Встав из-за стола, Суворов отдал генералам последние распоряжения и велел опять привести себе простую казацкую лошадь, велел Бондарчуку вздуть свою походную кадильничку и окурить себя ладаном, надел бараний тулуп и верхом, в сопровождении слуги, отправился обратно в Галац, куда его фанагорийцы шли на зимние квартиры. В лазаретах развились повальные горячки. Больных стали вывозить в соседние города. Я этого уж не помнил, так как заболел одним из первых. Между офицерством пошла по рукам и читалась тайком в палатках сатира острослова Павла Дмитриевича Цициянова: «Беседа российских солдат в царстве мертвых». Здесь в разговоре убитых на войне солдат, Двужильного и Статного, была изложена весьма едкая критика на бывший штурм и на Потемкина.

Встреча победителя Измаила с фельдмаршалом произошла в конце декабря того же, 1790, года. О ней мне впоследствии поведал Бауэр.

Желая пристойными почестями салютовать подчиненного себе вождя, Потемкин решил принять к тому подобающие меры. Он послал в Галац фельдъегеря с приглашением Суворову, буде он кончил должное, по времени года, расквартирование войск, явиться к нему в Яссы.

В ожидании именитого гостя князь Григорий Александрович распорядился изготовить, для мужской и дамской ча-

стей своей свиты, парадный обед, с певчими и с вечерним, нарочно приспособленным, балетным спектаклем, город же велел украсить флагами, иллюминацией и триумфальными из декораций воротами.

Расставя от въезда в Яссы и вплоть до своей квартиры нарочных махальных, Потемкин поручил адъютанту Бауэру доложить, лишь только генерал-аншеф покажется на улицах города. Тот засел в зале, откуда дорога была видна на версту

Суворов между тем спутал все эти затеи и предложения. Его ждали в приличном его званию и летам рессорном калеше, а он прибыл на паре фурлейтских, и притом ночью, в рогожаной, ахи бы поповской долгуше. Упряжь была в шорах, но веревочная. На запятках сидел, в польском жупане, с вылетами, престарелый инвалид, на козлах кучер, в широкополой молдаванской шляпе и в овчинном, до пят, балахоне. Рано утром из беднейшего арнаутского квартала генерал-аншеф тем же цугом двинулся к разукрашенной резиденции светлейшего.

Сметливый Бауэр угадал ожидаемого гостя как по странной форме ковылявшей рогожаной долгуши, так и по необычному хлопанью в княжеских воротах кучерского длинного бича. Он предупредил фельдмаршала.

Князь Григорий Александрович бросился из комнат на парадное крыльцо, но не успел сойти и с первых ступеней, как увидел уж перед собой Суворова.

— Чем я могу, сердечно чтимый мой друг, Александр Васильевич, — сказал он в искреннем волнении, обнимая графа, — чем должен наградить вас за ваши заслуги?

— Друг, друг? — заспешил, взбегая с оглядкой на крыльцо и закашливаясь, Суворов. — Нет, ваша светлость! Что-же, помилуйте-с... Я не купец и не приехал с вами торговаться... Не идти далее? Прочь Стамбул? Ну, и шабаш... А окромя Бога и моей всемилостивейшей монархини, никто наградить меня не может, никто...

Князь изменился в лице. Отступя, он сказал только: «От тебя ли слышу?» — но, видя, что гость молчит, обернулся

и молча пошел в залу. Там Суворов вручил ему формальный о ходе дел рапорт. Светлейший не взглянул в бумагу.

— Публика верхнего парламента не одобрит? Министерство в суете и колеблется дальше идти? — спросил, гордо выпрямляясь и зажмурив глаза, Суворов. — Мужайтесь, князь... Не придворные наветы... ваш гений... История помянет вечным признанием ваши труды...

Фельдмаршал, не слыша его, глядел в окно. Сделав по зале несколько неровных, колеблющихся шагов, Потемкин и Суворов молча расстались и более в жизни не виделись.

В январе следующего, 1791, года граф Суворов по зову императрицы явился в Петербург. Государыня приняла его среди первых лиц двора отменно внимательно и пригласила его к столу...

— Где желаешь, батюшка-граф, быть наместником? — спросила Екатерина за тостом в честь его побед, поставя здесь же в лавровом венке выписанный из Англии бюст нашего политического пособника оратора Фокса.

— И, матушка-царица, — ответил, склоня голову, граф, — ты слишком любишь своих подданных, чтоб наказать мною какую-либо провинцию. Я чудак, мальчишка, Алкивиад, знаю тысячу гримас, проказ... Родился от мушкета, дай и кончить жизнь солдатом.

Потемкин, разгневавшись в Яссах на Суворова, уже более ему не прощал. Самый вызов победителя Измаила в столицу ему не нравился. Он высказался против пожалования Суворову фельдмаршальского жезла и предоставил ему за славный подвиг только чин подполковника преображенского полка.

В феврале светлейший также поехал в Петербург, как выражался, с целью вырвать больной *зуб*.

В конце апреля он устроил для императорского дома свой знаменитый пир в Конногвардейском, впоследствии Таврическом, дворце, где, в торжество покорения Измаильской крепости, предполагалось представить государыне пленных

пашей. Присутствие в столице главного виновника достигнутой победы стесняло князя. За три дня до этого праздника Екатерина, будто невзначай, сказала на вечернем собрании в эрмитаже Суворову:

— Я вас, батюшка Александр Васильевич, препозирую в Финляндию, для осмотра и укрепления тамошних границ. Что скажете на это?

Суворов молча припал к руке императрицы, у коей от невольной алтерации красные пятна выступили на щеках. Возвратившись домой, он послал за почтовыми, сел в тележку, доскакал в одну ночь до Выборга и утром оттуда послал с курьером государыне письмо: «Жду повелений твоих, матушка!»

Там — до времени — графа и оставили.

XII

Четырехлетняя, предпринятая со столькими надеждами и силами, война с Турцией завершилась почти ничем. Поддержанная Англией, Голландией и Пруссией, опасавшимися возрастания России, Оттоманская Порта отвергла мирные условия русских и решилась продолжать войну. Репнин, оставленный на Дунае Потемкиным, 27 июля 1791 года разбил визиря наголову под Мачином. Через три дня после этой победы он заключил окончательный с Турцией мир. Австрийский император подписал с Портой мирный договор позднее, в августе, в Систове.

Россия потеряла много людей и денег, а гора родила мышь: мы остались при том же, чем начали. «La guerre est une vilaine chose, monsieur!» — писала Екатерина Вольтеру о турецкой войне.

Недолго затем здравствовал светлейший. Рубеж исполинского шествия к славе был им пройден. Он не мог легко пережить разбитых вдребезги гордых мечтаний своих и обожаемой монархини. Новая Восточная Система, великая

мысль восстановления древней Византийской империи должны были кануть с того времени в реку забвения. Молва язвила его, будто он стремился длить войну с целью освободить Молдавию и Валахию и, сняв с них турецкое ярмо, сделаться с своим потомством их всевластным и независимым от России господарем.

Из Петербурга Потемкин выехал раздраженный и убитый духом, тем более что не успел сломить и грозного ему возрастания партии Зубовых. Перед выездом он занимался разными приметами, толковал предчувствия, сны. Прибыв в Яссы, князь заболел молдавской злой лихорадкой и уж более не поправлялся. Он вспоминал столичные пиры, жалея, что не вдоволь ими насытился, так как вдруг получил странное убеждение, что доживает последние дни.

Случился притом весьма печальный, имевший на князя неотразимое влияние, казус. В августе в Галаце скончался покровительствуемый им генерал, брат супруги цесаревича принц Виртембергский. На отпевании принца Потемкин вышел из церкви туча тучей. Больной и утомленный давкой и духотой, он в рассеянности, вместо своих дрожек, сел на траурные, гробовые дроги, поданные для покойника. Воображение его было этим так потрясено, что он лишился сна и стал на себя не похож. Постоянная взволнованность и несоблюдение диеты вызвали нервическую горячку. Князь рвался к своей любимой Новороссии...

Подписав дрожащей рукой инструкции Самойлову, он в сопровождении своей племянницы, молодой графини Браницкой, и правителя канцелярии Попова выехал чуть живой в Николаев. В сорока верстах от Ясс он почувствовал приближение кончины.

Было теплое, тихое осеннее утро.

Светлейший стал безмерно метаться и тревожиться. Со словами: «Теперь некуда больше ехать... Стойте! Хочу умереть в поле!» — он велел вынести себя из кареты. На траве, из казацких дротиков и ковров устроили шатер, возле наскоро разостлали белый фельдмаршальский плащ князя. Он

обратил взор на безоблачное небо, обнял подаренный государыней походный образок Спаса, проговорил: «Прости, милосердная мать-государыня!» — и тихо скончался на руках плачущей красавицы графини Браницкой.

Узнав о смерти светлейшего, Суворов прослезился и сказал: «Се человек — образ мирской суеты! Помилуй Бог!.. Беги от него, мудрый! А что до наших замыслов о Турции, не мы исполним высокую задачу, наши внуки, правнуки...»

С другими больными и ранеными на штурме Измаила меня препроводили в конце декабря 1790 года в Галац. Я пришел в полное сознание и стал оправляться лишь в начале февраля. Подживление раздробленной руки, задержанное горячкой, пошло успешнее с весенним воздухом и теплом.

Квартировал я в небольшом уютном домике, невдалеке от опустелой квартиры Суворова. Дунай освободился от льда. Наступил март. Кто выздоравливал, спешил на почтовых и по реке на родину, откуда так редко в то время доходили вести. Я давно не имел писем от матери.

Пользуясь разрешением прогулок на воздухе, я пробирался, с забинтованной рукой, на берег, садился у пристани и, в ожидании срочных австрийских судов, весьма неаккуратно развозивших почту, по целым часам глядел в синюю даль, думая о родине и обо всем, что я в ней оставил.

Однажды — это было перед вечером, — тщетно прождав или проглядев почтовый парус, я пришел, утомленный, на квартиру, велел поставить самовар, сел у окна в кресло и заснул. Мне грезились Гатчина, отпускавший меня великий князь-цесаревич, мать, советовавшая забыть изменницу, усадьба Горок, Ажигины. Долго ли спал я, не знаю, только почувствовал, что меня будят. Открыл глаза, передо мною — денщик Якуш, из родных владимирцев.

— Что тебе? — спросил я, неясно различая в примеркшей комнате его лицо.

— Ваше благородие спрашивают, — как-то странно озираясь, вполголоса ответил обыкновенно невыносимо басивший Якуш.

— Кто?.. Да говори же, ах! Что там?

— Письмо-с, — проговорил он, подавая пакет.

«Уж не хватил ли через край, с хозяйкой, ракии?» — подумал я. «От родителей! — добавил я в мыслях, вскрывая пакет. — Наконец-то, после столь долгих ожиданий. Здоровы ль они, дорогие, и знают ли, что мы скоро увидимся, что моему пребыванию на Дунае вот-вот конец?»

Поднеся письмо к окну, еще освещенному лучами заката, я стал его читать, протер глаза, опять взглянул в бумагу и чуть ее не выронил.

Письмо было за подписью обер-камердинера его высочества Ивана Павловича Кутайсова; но, разумеется, сочинено не им, а кем-либо из приближенных к государю-царевичу сановников. Во всяком же случае по его слогу прошлось перо и более высокой особы.

Так в то время писывались цидулы не к одному из осчастливленных службой при великом князе Павле Петровиче. Вот его копия:

«Господин, его высочества гатчинских морских батальонов бывший мичман, Бехтеев! Вы и вдали от нас, в походах и в битвах с неверными, паче ж всего прочего, при славном штурмовании измаильской, сильной фортеции, где притом тяжело и ранены, не уронили чести знамени, коему служите. Оправдать во всем, как подобает достойному российскому гражданину, возлагавшиеся на вас веления начальства и надежды всех, знающих ваш нравственный квалитет, вы не пошли по стопам хлебоядцев, токмо вертящихся на пирушках и в контратанцах, и тем дали прежнему вашему ближайшему командиру приятный долг — утруждать о вас вселюбезнейшую нашу и свято чтимую всеми государыню, родительницу его высочества. Генерал-аншеф, граф Суворов, благосклонно поддержал о вас аттестацию. А посему спешу тебя, старый знакомец, обрадовать: вы вчера произведены, не в пример прочим, в секунд-майоры и получили анненский третьей степени крест, а сегодня назначены, с соизволения и по мысли графа Александра Васильевича, — буде ваше здоровье то

дозволит и в том изъявите довольство — командиром второго батальона бугских стрелков, с коими вы столь мужественно отбили в оной фортеции российских, военного и статского званий, пленников. А теперь скажу тебе конфиденциально и некую приватную просьбу. Государь-наследник и великая княгиня, его супруга, навели точные и несомненные справки о поступившей пепиньеркой в воспитательный, для круглых сирот дом, вашей знакомке, достойной девице из дворян, Прасковье Львовне Ажигиной. Великая княгиня узнала ее редкий, чистый нрав и высокие добродетели. Госпожа Ажигина ни перед Богом, ни перед тобой ни в чем не повинна. Случай с нею был особливо фатальный и против ее воли. Прости ее, как она сама, столько претерпев, простила в душе своего оскорбителя. Забудь все, и да не зайдет солнце в гневе твоем. Господин секунд-майор и кавалер Бехтеев! Две некие, высокого ранга, ведомые вам персоны просят вас принять пропозицию сватов и не отказать в руке бывшей вашей невесте. Господь да благословит ее и тебя, голубчик, на многие лета и долгое счастье. За сим есмь, впрочем, всепокорный и отменно-готовый к услугам вам, Иван Кутайсов. Гатчина, марта второго, 1791 года». Приписка: «А подателем сего, угадаешь ли, кто вызвался быть?»

— Где? Где? — вскрикнул я, не помня себя и опрометью бросаясь к двери.

В стемневшей тесной горенке что-то в дорожной, темной и смятой одежде прошумело от порога и с воплем повисло у меня на груди. Я обхватил, прижал исхудалую безмолвную гостью, привлек к окну дорогое заплаканное лицо, силясь прочесть на нем мою радость, счастье...

— Прости меня, Саввушка, — проговорила, обнимая меня, Пашута, — я тебя никогда, никогда не переставала любить.

Свадьбу мы сыграли в мае, в Горках, куда мне дали полугодовой, для поправления здоровья, отпуск. Туда приехали и мои родители. Великий князь Павел Петрович при-

слал в презент новобрачной чайный, севрского фарфора, сервиз, а мне в миниатюре весьма схожий, на слоновой кости, свой портрет. Отец, благодаря заступничеству Потемкина, успел окончательно спасти наше имение от захвата старого графа Зубова и был в отменном духе. На свадебном бале он танцевал гавот с моей тещей. Мать, узнав невестку, охотно с ней примирилась, а с моей тещей дружески сыграла шесть партий в макао и в модный тогда гаммон. После бала сожгли фейерверк в саду у грота над прудом. Веселье было на целый уезд.

Во время иллюминации Пашута взяла меня под руку и, неприметно для прочих, провела верхними аллеями к дому, где на цветочной площадке я в памятную тяжелую ночь, едучи на Дунай, обломал и выдернул посаженный нами когда-то дубок.

— Вот он, — сказала Пашута, подведя меня, меж сиреневых и розовых кустов, к середине площадки, — он цел! Я нашла его тогда утром, вновь посадила и вырастила моими слезами и молитвами о тебе...

Прошло девять лет. Я был вполне счастлив с Пашутой. Какая это была жена и мать, и как я ее любил!

В последний год царствования незабвенного для меня, рыцарски возвышенного и столь мало оцененного современным миром императора Павла я был произведен в премьер-майоры и вскоре назначен командиром фанагорийского полка. Покоритель Измаила уж отошел в вечность.

Как истый россиянин, я решил поклониться праху бессмертного всеместного победителя и кстати отвезти из Бендер в кадеты в северную столицу, где так давно не был, старшего восьмилетнего моего сына Сергея, на память коему, впоследствии, я озаботился стать сочинителем и сей истории. Соверша оную поездку, я мнил самую близость моего жизненного разрушения соделать безмятежною и мирною.

Был март 1801 года. Прибыв в Петербург, я осмелился искать счастья представиться императору Павлу, для чего и

записался в приемной графа Ивана Павловича Кутайсова. Петербург стал неузнаваем. Вместо пышности — простота, вместо веселья, карт, попоек — служба, суровость, дисциплина, тишина. Новые лица властвовали, новые партии складывались...

Государь не замедлил назначить мне аудиенцию. Это было в недавно отстроенном Михайловском дворце. Я не узнал Павла Петровича. Куда делся светлый, как бы окрыленный взор, некогда стремившийся к Дунаю вслед за суворовскими орлами? Куда делись легкая, статная походка и этот в бархатном колете всадник, скакавший на своем белом Помпоне по мирным гатчинским садам? Передо мной был озабоченный, в суровых морщинах и приметно поседевший от ранних, немолчных тревог, венчаный делец.

— Полковник Бехтеев! Очень рад! — сказал император, приветливо поднимаясь навстречу мне от груды бумаг. — Рад видеть старого гатчинца. Ну, как живешь, что семейство, жена?

Тут усталые, когда-то живые и ясные глаза Павла Петровича засветились знакомой мягкой улыбкой.

— Ты счастливее меня, — проговорил он, выслушав мои ответы на ряд быстрых, отрывистых вопросов.

После некоторых воспоминаний о Гатчине и о суворовских походах в Италию и Францию государь задумался, тревожно прошелся по комнате и, пристально взглянув на меня, произнес:

— Бехтеев! Я знаю о твоей поездке в Париж.

Я почтительно склонился.

— Ты дельный, исполнительный человек. Понадобишься мне. Не забуду тебя, пришлю за тобой.

Тем первое свидание кончилось. Дня через два за мной явился курьер. Тот же благосклонный прием и то же обнадежение высокой милостью. Покончив чтение какой-то присланной от канцлера бумаги, государь подошел к окну, взглянул на Летний сад, видневшийся из дворца, и по некоторой паузе изволил промолвить, что посылает с повеле-

нием к наказному атаману Войска Донского Орлову, с изготовленными дополнительными планами и маршрутами к Инду и Гангесу...

Я ушам своим не верил. Величие и смелость решенного, почти легендарного предприятия ошеломили, подавили меня. Глубоко тронутый доверием и новою милостью монарха, я возвратился на...

Здесь «Записки Бехтеева» прекращаются. Конец рукописи был, очевидно, впоследствии кем-то оторван и, сколько о том ни старались, не найден нигде.

Посетив В***ю губернию, я осведомился о поместье, принадлежавшем в прошлом веке роду Ажигиных. Деревня Горки существует и доныне и находится во владении Петра Сергеевича Бехтеева, внука автора здесь приведенных мемуаров.

Еще бодрый, румяный, с седыми усами и с такой же окладистой бородой шестидесятилетний старик, Петр Сергеевич, узнав цель моего заезда, принял меня очень радушно. Я попал в Горках на семейный праздник, а именно на день рождения семилетней внучки хозяина Фленушки.

Виновница праздника была, очевидно, любимицей всей семьи. Познакомясь со мной, она подвела меня к двум фамильным портретам, изображавшим красивую, в напудренной, высокой прическе, сухощавую даму и добродушного, полного, с красным отложным воротом и одним эполетом, мужчину.

— Это моя прабабушка, а вот ее муж! — сказала быстроглазая, коротко остриженная и живая Фленушка, взглядывая сбоку, какое впечатление произведут на меня ее слова. — Прадедушка был добрый, а она... злюка.

— Почему? — удивился я,

— Она... ах, нет! То не она, а другая прабабушка! Та бросила жениха и не любила кошек... а вы любите?

— Этот ребенок так все замечает и ничего не боится! — поспешила мне объяснить, отводя меня, мать Фле-

нушки. — Представьте, недавно я призвала управляющего и говорю: «Выкосите в саду на полянах траву: там много ящериц, Флена увидит и еще испугается». А она тут же запустила руку в фартук и мне в ответ: «Помилуйте, мама, у меня уж два дня вот живая ящерица в кармане, и я ее кормлю сахаром».

— Сущая, кажется, Пашута, — сказал я.

— Кто это?

— Да ее прабабушка, — ответил я, разглядывая портрет напудренной дамы.

Семья Бехтеевых, как и весь этот, точно забытый временем угол, была очень симпатична и своеобразна. Каменный, старинный дом, с цветными изразцами печей, с семилоровыми часами, с отделанной в бронзу мебелью и венецианскими, в стеклянных рамах зеркалами, так и веял прошлым веком. Говорили о начавшейся войне с турками, о переходе Дуная и Балкан. Сын хозяина, отец Фленушки, был в действующей армии, писал о Тырнове, о Шипке. О нем говорили сдержанно, робко. Известий от него давно уж не было. На мой вопрос, как кончил жизнь Савватий Ильич, мне ответили, что он был убит под Бородином. Его сын Сергей, отец нынешнего владельца Горок, служил в двадцатых годах во флоте и умер в Италии, раненный в Наваринском бою.

Существования привезенных мной записок никто не подозревал. Их чтение было устроено в портретной, в кругу всей семьи. Я и невестка Петра Сергеевича, бывшая смолянка, читали вслух по очереди. Старинные портреты, работы Тишбейна, Левицкого и их учеников, как живые, приветливо глядели из потемневших фигурных рам.

После первых глав рукописи Фленушка засуетилась, сбегала куда-то и, принеся свежий дубовый листок, молча положила его передо мной. Выслушав конец записок, она принесла фарфоровую разрисованную чашку.

— Я не знала прабабушки, — сказала она, — какая она добрая! Теперь я никогда, никогда...

— Не бросишь жениха? — спросил внучку с густым простодушным смехом дед. — А вот ты лучше покажи гостю Дунюшкин сундук...

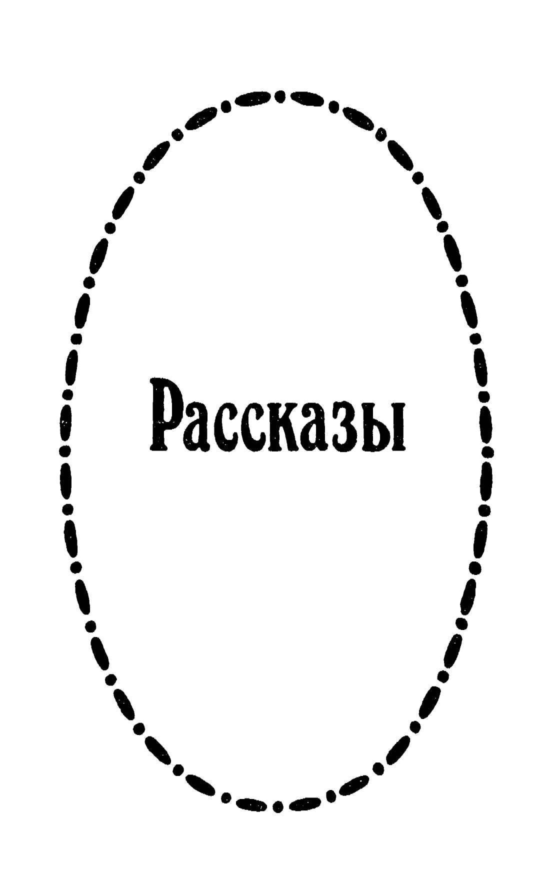
Девочка молча прижалась к матери.

Дунюшка полвека сряду была слугой в этом доме, и в ее сундуке, оставшемся, десять лет назад, после ее смерти, хранились между разным хламом семейные бумаги Бехтеевых, связки писем, лечебники, травники и пр. Флена любила рыться в кладовой в этом сундуке, разобрать документы которого хозяева все откладывали.

В тот же вечер вся семья собралась к чаю на цветочную площадку, под дубом. На чайный стол был поставлен жалованный, с пастушками и амурами, севрский сервиз. Толковали о Потемкине, Суворове, о Екатерине и Павле.

Освещенный ярким летним багрецом на маковке и сбоку от пруда столетний, снизу стемневший дуб далеко простирал свои ветви над поминавшей давние, забытые годы семьей.

1876 г.



Рассказы

БЕС НА ВЕЧЕРНИЦАХ

(СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ)

Не так страшен черт, как его малюют.
Поговорка

Дед поставил ружье в угол, уселся на теплой лежанке и стал рассказывать...

Это было в Изюме, говорил он, на святках. Шел мещанин Явту́х Шаповаленко по дальнему переулку, заглядывая во все окна и затрагивая всех прохожих. Шел он уж поздно на заре на вечерни́цы, т.е. посиделки, которые справлялись на десятикопеечную складчину молодежи ближней слободки в лесу, на водяной мельнице, и потому-то он нарядился в пух и в прах. Синие нанковые шаровары, только что купленные на торгу, были туго перетянуты ремнем, с висящими на нем гребенкой и коротенькой трубочкой. Концы шаровар были засунуты в высокие, с железными подковами, сапоги. Поверх белой рубахи, с синим и красным шитьем у воротника, на плечи молодецки была накинута серая свитка, а на волосы была надвинута высокая, с синим суконным верхом, черная барашковая шапка. В его левом ухе болталась серьга, а из кармана шаровар выглядывал конец желтого с разводами платка. И шел он, предаваясь всяким потехам. То

просунет голову в узенькое окошко подслеповатой бабы-вдовы и над самым ее ухом крикнет: «А-гу!» То совершенно неожиданно перед домом волостного писаря начнет на руках и ногах вертеться колесом — и роняет по пыльной дороге то трубку, то платок, то целую дорожку пятаков; или погонится за толпою разряженных девок, а тѐ разбегаются от него с визгами и криками, как стая воробьев от налетевшего ястреба... То, наконец, у ворот двух соседей-стариков с громким криком *«Ходил гарбуз по городу!»* пускается отплясывать в присядку. Его сапоги звенят подковками, выбивая лихой танец. Густая пыль летит столбом, и в ее облаке мелькают по временам баранья шапка, складка шаровар или его длинные черные усы. С громом летит мимо таратайка проезжего купца, и последний, подняв с подушек изумленное лицо, смотрит и, спросонок не понимая, что перед ним делается, исчезает в конце улицы. «Молодец! — говорит в одно слово ватага парней, идя мимо плясуна. — Молодец Явтух! Молодец гуляка Шаповаленко!» И Явтух понимает, что он точно молодец, потому что наконец и головы столетних старцев поднимаются перед ним, и устремляются на него глаза тех людей, которые уже столько лет с утра до ночи сидят, как могильные камни, у своих ворот и смотрят в землю, не поднимая головы ни перед чем на свете. «Любо жить на свете! Вот так любо!» — думает между тем Явтух, минуя околицу и огородами пробираясь к лесу. Тряхнул он волосами, надвинул шапку, подтянул туже пояс и взглянул на ясное звездное небо... Звезды дрожат и будто колышутся, точно огоньки воздушных свечек. Но вот из-за леса послышался далекий говор и смех. Хата мельника скоро выглянет из-за деревьев. А там веселье, шум, толкотня, и среди всего — красавица Найда, дочка мельника...

«Что за краля эта Найда! — думал Явтух, пробираясь к околице и перескакивая то через камыш, то через ров, обросший осокой. — Была не была! Скажу сегодня всем, что Найда — моя невеста и что я женюсь на ней! Посмотрю тогда, как заартачится старый мельник!» И, разведя кусты,

он смело вошел в лес. Темнота и мертвая тишина кругом. Ни соловей, ни филин не оглашают леса. Между деревьями, на месяце, сверкнуло болото; через него, по мостику из бревен и ветвей, лежит дорога... Подойдя к болоту, Явтух бодро ступил на мост, размахивая длинною хворостиною и расточая разные замечания насчет людского трудолюбия. «Эка народ эти изюмцы, пять лет копались по пояс в воде и выстроили такой мост, прости Господи, что с нечистым не разминешься; а уж куда необъемист этот вражий сын!..» И вдруг он видит: как раз на средине моста уселось что-то маленькое, худенькое, черненькое и мохнатое. Явтух к нему, а оно сидит, и только его зеленые глазки сверкают, как у кота. Явтух закричал: «Брысь!», а оно и ухом не ведет и только виляет черным и длинным, как у собаки, хвостиком. «Э-ге-ге, дело недоброе! Только упомянул нечистого, а уж он и подвернулся! Постой же ты, иродова душа: я тебе покажу, как вашего брата учат!»

Он быстро подошел и со всего размаха хлестнул его длинною хворостиной. Завизжал, залаял бес, как собака, и кинулся под ноги парня. Явтух пошатнулся, скользнул с мостика и со всего размаха полетел вниз усами в болото.

— Вот вода, так вода, да и холодная какая! — пробурчал он, выкупавшись в луже и опять взбираясь на тощие бревна. С его шаровар, с рубахи и с усов текло, как с крыши во время дождя. — Эх-ма! — прибавил он, осмотревшись и выворачивая карманы шаровар и свитки. — Ни кисета, ни платка, ни денег нет! Все там! — И он показал в воду... — Погоди ж ты, бесов сын, я тебе утру нос! Заставил выкупаться, точно пьяного москаля! И на вечерницы теперь опоздаешь!.. Ах ты, свиное твое ухо... Ах... — И в самом досадливом расположении духа он пошел обратно в Изюм.

Он шел, едва передвигая ноги от намокших шаровар, а тут еще, казалось ему, за плечами, по кустам, кто-то шагал и будто говорил ему: «Что, брат, смеяться вздумал? Что? Драться вздумал? Вот теперь и пляши! и пляши!» Закипела месть в его груди. «Не поддамся! — крикнул он и плю-

нул: — добегу до хаты, переоденусь и еще поспею на вечерницы!» Сказал и во всю прыть понесся к Изюму...

Но не добежал Явтух и до половины пути, как холод стал пронимать его до костей. Он остановился, оглянулся по полю и, не видя вокруг ни души, присел на траву да, не долго думая, начал раздеваться. «Теперь не будет холодно!» — сказал он себе, взял свиту и рубаху под мышки и еще шибче побежал, несясь по высокой траве и перепрыгивая через рвы и кочки... Месяц кстати спрятался в тучи и не смотрел на полураздетого парня. Изюм скоро выглянул из-за пригорка. Огороды Явтух миновал счастливо и, прошмыгнув под заборами, вбежал в околицу. Тут он остановился и бросил пугливый взгляд по сторонам: на улице — ни души. Старики и бабы сидели уж в хатах, а молодежь повалила на вечерницы в подгородную мельницу... Явтух вздохнул свободнее и впотьмах пустился далее... Но не миновал он и четверти улицы, как из ворот мещанки Хиври Макитренковой, с песнями и криками, выступила ватага девушек и длинный, как цапля, ткач Юхим Бублик... Разряженная толпа щебетала вокруг ткача, а он, со всякими припасами для вечерниц, важно шел по улице.

Завидел девок Явтух и обомлел от ужаса. Мокрую свиту и рубаху он оставил на дороге, под огородом, думая завтра рано взять их оттуда. «Ведь это беда!» — подумал он, да так в одних мокрых шароварах и остался посреди улицы. Ватага приближалась к нему... Уж девки близко, уж он слышит их голоса, как счастливая мысль мелькнула в его голове: он оглянулся, вскочил в первые ворота и забился под опрокинутую бочку. В то же время выглянул месяц. Песни и говор раздались под самым его ухом.

— Ох, постойте, девки, — я кого-то видела!

— И я.

— И я...

— И я видела! — посыпались звонкие голоса, и толпа остановилась у ворот. Явтух, ни жив, ни мертв, сидел под бочкой.

— Куда же оно делось? Как в воду упало! — заметили некоторые голоса.

— Да, точно странно: куда б ему деться? Только что видели...

— Да не под бочку ли залез какой-нибудь дурень? — заметила рябая и косая Векла.

— Может быть, и под бочку! — отозвались другие и уж направлялись к бочке.

— Да нет, постойте, то, верно, слепой Кондрат проснулся и зачем-нибудь ночью выходил из хаты, — перебил длинный ткач.

— Ну, так и есть! — захохотали девки и, поглядывая на опрокинутую бочку, пошли далее...

На душе у Явтуха отлегло. Он выглянул, переждал, пока толпа исчезла за околицею, и что есть духу понесся по улице. Прибежал к своей хате, ударился в дверь — на двери висит замок; дверь заперта. Он к окну — оно изнутри заперто; да и без того в окно разве одна рука его могла бы свободно пролезть... «Ах ты, судьба моя горемычная! — сказал он себе, чуть не сквозь слезы. — Надо же было матери уйти и запереть двери. Ну, где я ее теперь найду?» И он с досады хлопнул кулаком по двери... И вдруг слышит: за его плечами в темноте кто-то заливается тихим, дребезжащим смехом. Явтух обернулся и наставил перед собою увесистый кулак. «Не поддамся я тебе, окаянный! Не поддамся, да еще при случае и побью! Хоть в чужую юбку и в бабьи чужие башмаки оденусь, а вот пойду на вечерницы, и горилки напьюсь, и с моею красавицею насмеюсь над твоею собачьею харей!» Сказал и подошел к окну соседней хаты. В хате не было ни души. Месяц отражался на гладком полу, на печи и на полках, уставленных посудой. Он вошел во двор, ступил на крыльцо и толкнул ногою дверь. Дверь отворилась. «Это не по-нашему! — заметил он. — Не запираются, как от татар, прости Господи!»

Вошел Явтух в хату своей кумы, молодицы Ивги Лободы, у которой муж был в отлучке, на заработках; припер

дверь засовом, достал из печи уголь и засветил огонь. «Кума посердится да и простит, а на вечерницы я все-таки попаду!» — подумал он и стал снимать со стены оставленные наряды соседки... Надел длинную женскую рубаху, голову повязал платком, надел красные башмаки с подковками, ожерелье «доброго мониста», накинул зеленую кофту и посмотрел в зеркало. «Не будь усов, и вышел бы молодица-молодицею, — сказал он с усмешкою, — и как, право, странно рядятся эти женщины! Точно писанки на Пасху... Распотешу же я теперь всю сходку! И набегается, насмеется и навеселится моя Найдуся, моя зорька, моя краля ненаглядная!»

Он погасил огонь, вышел из хаты, запер дверь и ступил за ворота. Город молчал. Светлая глубина неба переливалась тысячами звезд... Месяц неподвижно и ярко стоял над горою Кремянцем. «Вперед, Явтух Остапович, вперед!» — сказал сам себе Явтух, двинувшись в путь по опустелой улице, и вдруг заболтал по воздуху ногами...

Протер глаза, посмотрел вниз — и обомлел от ужаса. Земля у него далеко-далеко под ногами, а его тянет кверху какая-то невидимая, страшно могучая сила, и он летит все выше и выше, покидая облитый лунным блеском город и быстро рассекая воздух ночи.

— Что, будешь теперь смеяться да грозить? — спросил за плечами чей-то голос... Явтух обернулся и увидел, что маленький и черненький бесенок торчит у него за спиной, а мохнатые лапы беса держат его под руки. — Вот тебе и невеста, и горилка, и твои вечерницы!» — говорит парубку черт, быстро унося его все выше и выше.

Холодом обдало парня при мысли о мести и силе нечистого, и от страху он закрыл глаза. Когда он вновь посмотрел — земля, город, лес и окрестности, все исчезло под его ногами... Он летел в необъятной пустоте, и воздух с шумом скользил мимо его ушей.

— Куда ты несешь меня, дядюшка? — спросил, опомнясь, Явтух.

— А вот я сейчас тебе скажу, — ответило у него за плечами, — я тебя, брат, посажу верхом на месяц; и просидишь ты у меня на нем день, два, а может, и год, разве, когда месяцу придется опуститься до краев земли, успеешь ты соскочить на стог травы или на какое-нибудь дерево...

— А как я неравно засну и упаду с месяца?

— Ну, туда тебе и дорога! — ответил черт и рванул его еще скорее...

«Прощай, Найда! Теперь уж я тебя не увижу никогда!» — подумал Явтух и отдался на волю беса.

Летел он долго, минуя воздушные пространства; наконец, месяц, спрятавшись и опять явившись, мелькнул между разбежавшихся тучек и стал к нему так близко, что он, как после сам рассказывал, мог даже разглядеть, из чего он сделан; а сделан месяц, по его словам, из серебра, только вызолочен, как блюдо из хорошей посуды, да еще в одном месте — должно быть, задел обо что-нибудь на земле, — позолота потерлась, и оттого пятна на месяце. Он поднялся высоко и вдруг слышит, что-то в воздухе шумит, и в то же время черт за его плечами задрожал и увильнул, отшатнулся в сторону.

— А, так ты девок таскаешь, сякой-такой? — раздался хриплый и сердитый голос.

Старая, сморщенная ведьма, верхом на метле, налетела на беса с поднятыми кулаками.

— Да это, полноте, не девка; это парень, — пропищал нечистый.

— Как парень?.. Ах ты, сякой-такой!.. А юбка?

— Да вы, Мавра Онуфриевна... да я, право... уж я же вам говорю! — кричал черт, осыпаемый кулаками ведьмы.

— Вот я тебя, вот я тебя! — кричала ведьма, от ревности и злобы не зная, с какого конца лучше отсчитывать удары. Она ухватила беса за хвост и за загривок и так стала его трясти, что с ее рыжей косы слетел платок, а из когтей

черта выпал Явтух и камнем полетел на землю... «Ну, теперь уж и мне не сдобровать!» — сказал бес и понесся выше и выше, силясь стряхнуть с себя злую ведьму.

И долго в воздухе сыпались клочки волос, и крупная брань беса и ведьмы оглашала темные пространства. Явтух камнем летел на землю...

Между тем весело лилась беседа в низенькой светелке подгородной мельницы. Складчина на этот раз удалась как нельзя лучше, потому, во-первых, что мельник, старый вдовец и скряга, уехал в Чугуев на ярмарку и дочка его осталась хозяйкою хаты; и, во-вторых, потому, что многие из изюмской молодежи надеялись на этот раз привести к окончанию свои сердечные дела.

Пол мельниковой хаты был чисто прибран и вымазан заново охрою; стены, также вновь выбеленные, украсились венками и пучками цветов. Печь ярко горела, и в ней шипели на горячих сковородах, в масле, пшеничные орешки, ячные блины и сластены. Дубовый стол, покрытый белою скатертью, помещался в главном углу, под образами; на нем стояли графинчики с горилкой. На лавке у печи, близ двери в темную комнату, лежали куски сдобного и пресного теста, яйца, свиное сало и стручковый перец. Вокруг этого стола две молодицы, и одна из них Ивга Лобода, хлопотали над печением и замешиванием сластен и орешков. По скамейкам, опрокинутым ведрам и корытам, вокруг хаты, сидели девки и парни. Смех, говор и песни перемешивались с треском печи и жужжанием веретен. Девки, сидя на резных донцах, тянули из гребней пряди и бойко водили веретенами. Иные сидели молча, другие пели песни, а третьи болтали и щебетали, как ласточки в весеннее утро. Парни, кто за столом, кто на перевернутом бочонке, а кто и просто на полу, сидели и тоже занимались разными работами. Иной точил деревянную чашку; другой строгал веретено своей красавице; третий гнул дугу; четвертый расписывал вывеску для хуторянского

кабака, а иные говорили сказки. Сказки сменялись хоровыми песнями. При окончании одной из последних длинный ткач Бублик вдруг приложил ладонь к уху и, дав знак рукою, чтоб все замолчали, затянул тоненьким голосом весьма жалобную песню. Это не помешало ему протянуть в печку спичку и потянуть оттуда, под общий хохот, горячую галушку. Все веселились, хохотали, шумели, рассказывали сказки. Не веселилась одна хозяйка, мельникова дочка...

Прошло уже немало времени, а Явтуха не было да и не было. Сперва она думала, что он зашел к своему приятелю писарю; потом ей казалось, что он только притворяется, что давно уж пришел и спрятался где-нибудь поблизости, за хатою, ожидая, что вот она не вытерпит и выбежит сама к нему навстречу. Найда уж готова была встать и выйти, как будто невзначай. «Нет! — подумала она, — лучше подожду его. Нечего баловать жениха! Положишь ему палец в зубы, так и не вынешь»

И она осталась.

Прошло еще несколько времени. Найда забылась и слушала, водя веретеном, страшную сказку, которую начал ткач. Нитка пряжи у нее оборвалась, и она выронила веретено. Нагнулась под стол и вдруг видит: в углу, под лавкой, сидит что-то худенькое, маленькое, черненькое и, виляя хвостом, смотрит горящими, как угли, глазами... Найда обомлела от ужаса... Черт, между тем, посидел и юркнул в дверь; дверь за ним тихо затворилась. Кроме Найды, никто не заметил ни его появления, ни бегства. Сказка тянулась своим чередом.

И вот, чувствует Найда, что непонятная сила тянет и ее с места за дверь. Она знает очень хорошо, что за дверью, в темных сенях, ожидает ее то же страшное чудище, что за дверью она перепугается до смерти, знает и — дивное дело! — не может себя победить. Встала она с лавки, тихо сложила гребень и отворила дверь. «Куда ты, Найда?» — спрашивают ее подруги. «А вот я... в сарай... корове сена нужно подложить!»

Она ступила в темные сени. В сенях — ни души. Она на крыльцо — и на крыльце никого не видно. Площадка перед хатою также пуста. И только под забором маленького садика бегает кот. «Васька, Васька!» — стала она звать кота. Кот вошел в калитку садика. «Еще забежит в лес! — подумала она, — шляется за соседскими кошками...» Но не успела сделать и пяти шагов, как кот к ней обернулся и стал мяукать и расти. Холод пробежал по ее жилам. «Брысь!» — закричала она. Кот ощетинился, выпустил когти, страшно засверкал зелеными глазами, так что осветил соседние кусты и плетень, замяукал еще сильнее и, выгибаясь, стал расти и расти... Найда хотела бежать и не могла: ноги не слушались; хотела кричать: язык, как во сне, не двигался. А кот прыгнул и, поднявшись на задние лапы, протянул к ней усатую морду... «Тьфу!» — крикнула Найда и спрятала лицо. «За что же ты бранишься?» — спросил у нее нежный и сладкий голос. Найда смотрит: перед нею стоит уж не кот, а Явтух, ее Явтух, ее милый суженый...

— Это ты, Явтух?

— Я, моя кралечка!

— Как же ты напугал меня! Бог знает, чем показался!

И она кинулась к нему на шею и потащила его за руку в хату.

— А, Остапович, Шаповаленко! — залепетали вокруг парня собеседники. — А мы вас ждали да все думали, куда это вас занесло.

Найда от радости бегает по хате и ставит на стол миски с угощениями. Явтух, крутя усы и нахмурившись, стоит посреди хаты, не снимая шапки, и сурово поглядывает по сторонам. «Будет вам, щебетухи, языком тарахтеть, — сказал ткач, — садитесь вечерять».

Найда всыпала в миску вареников.

Все при этом бросили болтовню и, крестясь, сели за стол. Явтух молча сидел, сложа руки.

— А ты же что паном расселся? — спросила его с досадою Найда, видя его невежливость. — Не велика птица!

На полотенце да занавесь свои шаровары, а то еще как раз с усов капнет!

Явтух нагнулся к столу и раскрыл рот. В ту же минуту дивные дела произошли в хате. У одного из парней в кармане были припасенные орехи и рожки; вдруг карман раскрылся, и орехи, а там и рожки, будто воробьи, стали вылетать оттуда, направляясь в рот Явтуха, который только раскусывал их. Долго никто не мог прийти в себя от изумления. «Э-ге-ге, да что же это такое?» — подумали в один раз все гости и остались неподвижными. Молчание сделалось такое, что слышно было, как муха жужжала и билась где-то под опрокинутым кувшином.

— Ой, ле́лечко, братцы!.. караул! — закричал вдруг ткач, весь в муке вскакивая из-под стола, куда нагнулся искать упавший кисет с табаком. — Да это — не Явтух; это, братцы, такое, чего и назвать нельзя... у него хвост собачий! Смотрите!..

— Черт, черт! — закричали все и в мгновение ока, выскочив из хаты, побежали куда глаза глядят. — В то же время у мнимого Явтуха упала с головы шапка, и на лбу сверкнула пара золотых рожек. «Так вот это кто!» — подумала Найда и замерла от ужаса, оставшись глаз на глаз с тем, которого, по словам ткача, даже и назвать было нельзя...

Выроненный из рук чертом, Явтух стремглав понесся с неба, посылая прощания милой и ожидая каждое мгновение, что вот снизу, из воздушной тьмы, выяснится река, болото или сухое, рогатое дерево, и он распростится навеки с жизнью, — как вдруг неожиданно почувствовал под собою что-то мягкое. Он осмотрелся и видит, что упал со всего размаха в стог свежего, пушистого сена и утонул в нем по самую шею. Почувствовав приятный запах травы, Явтух сперва убедился, что все ребра у него целы, потом выкарабкался из сена, лег на стог и посмотрел вниз...

Возле стога был разложен огонь. Толпа чумаков, наклонясь над чугунным котелком и куря трубки, сидела у огня.

— Здорово, паны-браты! — сказал со стога Явтух.

Чумаки, не поднимая головы, не двинули ни плечом, ни усом, а только в один голос ответили:

— И ты будь здоров!

— А я к вам! — сказал опять Явтух.

— Милости просим! — ответили чумаки, не поднимая головы и спокойно сося коротенькие трубки.

Явтух оправил на себе бабью юбку и кофту и с такою речью обратился к чумакам:

— А посмотрите-ка, добрые люди, в чем я!

Чумаки вынули изо рта трубки и подняли к нему головы.

— Хорош? — спросил Явтух.

— Хорош.

— И башмаки хороши?

— Хороши.

— А платок? — спросил Явтух.

Чумаки, которые опять было принялись курить, удивляясь, что это за человек их расспрашивает и откуда он взялся, опять отняли изо рта трубки и, смотря на Явтуха, ответили:

— Хорош и платок.

— Хлеб же соль вам! — сказал нежданный гость, спускаясь на землю со стога. — Должно быть, борщ варите с таранью.

— Нет, кашу с салом.

Явтух спустился на землю и подсел к костру.

— А позвольте узнать, господа-чумачество, откуда вас Бог несет?

— Из Крыма.

— За солью ездили?

— За солью.

— А где мы теперь, паны-браты? — прибавил Явтух.

Чумаки молча переглянулись: вот насмехается человек.

— То есть... как оно... насчет, то есть?.. где это место, на котором вот мы теперь сидим? — прибавил Явтух, указав пальцем на землю.

— Где это место? — спросили чумаки, опять переглянувшись между собою.

— Да, добрые люди.

— За Мелитополем.

— Слышал, слышал, братцы, про Мелитополь, слышал! Это от нас верст пятьсот будет! Еще оттуда, то есть — тьфу! — отсюда... коробейники к нам с ситцами ходят. Ну, хватил же нечистый: в полночи пролется полтысячи верст.

Чумаки перестали курить.

— Так ты, стало быть, нездешний? — спросили они.

— Нездешний... Я из Изюма, коли знаете. Еще сегодня ходил там по базару и купил себе шаровары, — заметил Явтух да и запнулся на этом слове. — То есть просто диво! — вздохнул он и, придвинувшись поближе к чумакам, стал рассказывать обо всем дивном и непонятном, что с ним случилось в тот вечер.

«Спьяну!» — думали, глядя на него, чумаки.

— Да что, — сказал в заключение Явтух, — я вам, братцы, скажу такое еще, что просто от смеху за бока ухватишься... Дайте трубочки покурить... Как летели мы с чертом, встретилась нам ведьма, рыжая да старая, такая старая, что только воронье пугать. Завидела меня у него в лапах, подумала, что я не казак, а девка, потому что в этой юбке был, и вцепилась в него. Нечистый выронил меня, а с головы ведьмы свалился платок. Так она простоволосая и полетела с ним под самые звезды... Когда я падал сюда, вижу — по дороге летит оброненный ведьмою платок; я его захватил на лету с собою! Должно быть, вещь важная! — заключил Явтух и, спрятав трубку за пазуху кофты, выложил перед глазами чумаков яркий, невиданного цвета платок.

— Эка, бесово племя, да еще и козырится! — прибавил Явтух, собираясь спрятать находку, и видит: сзади его, на корточках, сидит тощая простоволосая старушонка и из-за

его плеча протягивает костлявую руку. «А, так ты тут?» — закричал Явтух, так что чумаки привскочили на месте, и ухватился за сморщенную лапу ведьмы.

Ведьма заметалась, закричала, как заяц, когда собаки поймают его за длинные уши, и стала, подпрыгивая, подниматься с Явтухом из кружка изумленных чумаков. Тихо всплыл он с ней опять на воздух и, освещенный блеском костра, взмахнул ногами, стал исчезать в темноте, превратился в красноватую точку и скрылся... И долго еще чумаки, в серых бараньих шапках, сидели под стогом с опрокинутыми головами и неподвижно смотрели в темное небо...

Как легкое перо, носимое ветром, летел Явтух по небу, держась за руку ведьмы. Ведьма бросалась из стороны в сторону и стонала, выбиваясь из сил. Наконец, она поднялась так высоко, что, как рассказывал впоследствии Явтух, чуть не зацепила за край месяца, и стала опускаться на землю. Явтух не унывал и, держась за ее руку, смотрел вниз.

И вот, видит он, далеко-далеко внизу, сверкнули огоньки, сперва один, потом два и, наконец, целые сотни. «Что бы это было такое? — думал Явтух, — у нас в Изюме давно уже спят. Уж не Полтава ли это или Бахмут?»

Воздух с шумом летел мимо его ушей, а с земли неслись к нему навстречу чудные картины. Утесы и горы, покрытые лесами; на скалах каменная крепость, башни, лес, глубокие, как колодцы, долины и, наконец, целый огромный город, залитый огнями. Явтух только высматривал, обо что ему придется грянуться и распроститься с жизнью, и вдруг почувствовал, что снова тихо и плавно на что-то опускается. Он стал на ноги, а ведьма, утомленная несением здоровенного парня, воспользовалась счастливым мгновением, вырвалась у него из рук и с быстротой молнии исчезла в темном пространстве.

Явтух окинул взором окрестность.

Богатый город расстилался у его ног; он сам стоял на плоской кровле высокой башни. Где же это он? И что это за город?

Башня помещалась в нижнем отделении сада, идущем уступами в гору. Вокруг башни — ряд тополей. Далее, вправо, небольшой пруд, окруженный мраморною набережной; кусты широколиственника темнеют здесь и там, и месяц ярко отражается в стекле пруда... Другая, более высокая ограда окружает и тополя, и пруд, и башню. За садом виден пространный двор; его обступают высокие терема, с островерхими крышами и причудливо-резными окнами и деревьями. В глубине двора возвышается новая башня с воздушным крылечком. Глядя на огоньки в окошечках домов, прилепленных к уступам гор, между которыми лег город, Явтуху показалось, что по сторонам его не горы, а огромные дворцы, с тысячами окон. «Нет, это не Полтава!» — сказал он сам себе, и для того, чтобы убедиться, точно ли он все это видел наяву, а не во сне, он ущипнул себя за ухо, а потом за нос. Ничуть не бывало: он, точно, не спит и находится в каком-то далеком, дивном городе.

Осмотревшись еще несколько вокруг себя, Явтух протянул руку в карман кофты и, вынув оттуда трубку, взятую у чумаков, а из шаровар огниво, вырубил огня и, стоя на крыше башни, принялся курить и посматривать на город, на скалы и небо. «Оно бы и выкупаться хорошо!» — подумал он, глядя на пруд. И, нагнувшись с башни, увидел, что сойти с нее очень легко: тополь рос у самой ее крыши. Недолго думая, он уцепился за ствол и стал спускаться на землю, но не успел миновать и половины дерева, как дверь из терема в садик отворилась, и целая толпа женщин, в белых покрывалах и желтых и красных остроконечных башмаках, потянулась через крыльцо к пруду. За женщинами шел черный губан-араб, в широких шароварах, зеленой чалме и с саблей у пояса. Сердце застыло в груди Явтуха, и руки приросли к стволу тополя. Он остановился в воздухе, а вошедшие женщины, не замечая его, с хохотом и с криками окружили

пруд и, в пяти шагах от него, стали скидать с себя длинные, легкие покрывала...

Найда, оставшись, между тем, глаз на глаз с чертом, долго не могла опомниться: мнимый Явтух сидел перед ней за столом и пристально глядел на нее. Наконец, он шевельнулся, поправил ус, кашлянул и протянул к ней руки...

— Краля ты моя, Найда, садись возле меня. Да обними, да поцелуй.

Найда вскочила.

— Сгинь ты, окаянный, нечистый! — крикнула она и бросилась в другой угол хаты.

Бес засмеялся и кинулся вслед за нею. Найда, несмотря на то, что приходилось возиться с чертом, ловко увертывалась и отбивалась от него. Уж одна из лап нечистого ухватила ее за рукав рубашки, а другая порвала нитку красных гранатов, и те со звоном посыпались на стол и по лавкам; уж она почувствовала на своих щеках дыхание черта. «Явтух, Явтух! — закричала она в отчаянии и, одним взмахом руки отбившись от объятий беса, кинулась в темный чулан, заперла за собою дверь и наложила на нее крестное знамение. Черт грянулся в двери и остановился. Найда, в страхе, смотрела в замочную скважину и увидела странные вещи...

Бес, принявший образ парня, сел за стол, придвинул к себе миску оставленных вареников, достал с полки здоровенную флягу водки и с голоду принялся закусывать. Все было тут же вскоре очищено. Тогда черт принялся выглядывать, как бы удобнее лечь спать. Мостился он долго и безуспешно. Лег на лавку — узко; лег на пол — холодно; лег на печку — жарко... Охмелевший бес подошел к столу, на котором месили тесто, и лег прямо в муку. Только и тут еще провозился немалое время: то ляжет так, что голова свесится, то ляжет так, что свесятся ноги. Наконец, он лег поперек стола, то есть в таком положении, что с одной стороны свесились ноги, а с другой голова, и заснул.

Найда подождала еще несколько времени, усмехнулась, отыскала впотьмах свою шубку, постлала ее на сундуке, начала молиться долго и не спеша, перекрестила все углы, окна и двери, легла тоже, свернулась клубочком и заснула, еще не оправясь от тревоги и волнения той ночи. И долго во сне ей мерещилось все, что она испытала, и пьяный сатана на столе, который храпел не хуже хмельного отца Найды, каким тот возвращался иной раз с ярмарки.

Ни жив, ни мертв сидел Явтух на тополе, держась за ствол, и смотрел на непонятные вещи, происходившие вокруг него. Женщины, скинув покрывала, вошли в ограду пруда и стали снимать с себя серьги, золотые шапочки, пестрые туфли, наконец, стали расплетать длинные косы. Надобно сказать, что Явтух был, вообще, храбр и смел только со своим братом; женская же красота совершенно отнимала у него всякую прыть... «Боже мой, Боже, что ж это будет?» — думал он, глядя из-за ветвей тополя на толпу раздевавшихся красавиц.

С криками и хохотом кинулись незнакомки к воде. Араб, зевая во весь рот, ушел в терем.

Красавицы, между тем, уселись на ступеньках ограды и, скидая с ножек башмаки, нехотя и шаловливо опускали ноги в холодные струи. Вот они расстегивают шелковые пояса, готовятся сходить в воду.

«Господи, Боже мой, что ж это я делаю, зачем я смотрю на этих женщин? Ведь они совсем и не знают, что я тут...»

Недолго думая, спустился он с дерева на землю, поднял одно из покинутых покрывал и, закутавшись в него, сел на берегу пруда. Купальщицы его приметили.

— Это кто? — закричали они.

Явтух закутался с головой.

— Это ты, Ханым?

— Это ты, Шерфе? — заговорили купальщицы и стали плескаться, прыгать и возиться, как маленькие рыбки.

«Ну, — думал Явтух, жмуря глаза, — что-то будет дальше?»

— Да что же ты молчишь? Выходи, раздевайся и полезай в воду купаться с нами.

— Ай, усы!!! — закричали вдруг некоторые, и все пугливо бросились в воду.

— Что вы испугались, добрые пани? — проговорил Явтух. — Я — мещанин из Изюма.

— Э, да это и вправду казак! — сказала одна из красавиц по-русски.

— Ну, да, казак! — прибавил Явтух. — Лукавый бес занес меня и опустил вон на ту башню.

Возгласы изумления раздались из воды.

— А скажите, пани, где это мы теперь... то есть, какой это город?

— Бахчисарай.

— А далеко это будет от Изюма?

— Считай сам; это — столица Крымского царства...

— Крымского царства! — вскрикнул Явтух, всплеснув руками. — Ведь это еще дальше Мелитополя будет!..

— Тс, что ты! Не говори так громко, а то как раз разбудишь всех во дворце, — сказала незнакомка, — ложись лучше в этот ящик; мы оденемся и тебя потихоньку пронесем в наши комнаты.

— Да кто вы такие? — спросил Явтух, занося ногу в ящик.

— Мы — жены крымского хана! Лежи смирно!

И красавицы бережно понесли его в терем.

Когда Явтух почувствовал, что ящик снова опустили, он приподнял крышку и встал на ноги. Стены гарема, где он очутился, были обтянуты красным сукном. На полу валялись подушки. Зеркало над камином было обито фольгою. Дрожащий свет лампады, из разноцветных стекол, лился с потолка, и легкий дым курильницы, стоявшей у завешенной двери в другую комнату, стлался по полу. Явтух не мог надивиться на все это и, подняв голову, оглядывался по комнате.

— Какой хорошенький! — сказала одна из красавиц по-своему.

— Какой страшный, да усатый! — прибавила говорившая по-русски.

— Давайте, сестрицы, свяжем ему руки да оденем его в наши наряды! Ведь одели же его где-то казачки в юбку...

— Ах, да какой он смешной! — закричали остальные, хлопая в ладоши и еще теснее окружая гостя.

Явтух вежливо и молча стоял перед ними.

Одна из жен обратилась к нему с просьбой:

— Повесели нас твоими рассказами; какою силой занесло тебя сюда?

Просьбу эту ему перевели. Явтух почесал за ухом.

— Да что же такое я вам, пани-матки, расскажу? Я, право, и не знаю; язык как-то... того... не ворочается!

— А вот, мы его подмажем! — сказали более догадливые.

И с этими словами его усадили на мягкие подушки, поставили перед ним низенький столик, а на столик большое блюдо с яблоками, персиками, виноградом и татарскими пряниками, и принесли ему ханский кальян.

— Начать с того... — заговорил Явтух.

И всю ночь рассказывал он красавицам свои похождения, которые тут же переводились. Когда на подносе не осталось уж ничего, Явтух встал и, покачиваясь, сказал:

— Теперь уж все, теперь уж я пойду отсюда...

— Как пойдешь? — спросили с удивлением красавицы.

— Да, мне пора уж домой.

В комнату проникал бледный рассвет зари.

— Ах, какой ты чудной! Ведь сам же говоришь, что от твоей родины до нас чуть не тысяча верст.

— И то правда! — вздохнул Явтух, почесывая за ухом. — А впрочем, нет, уж лучше я пойду!

— Да ведь вокруг дворца течет речка, и часовые стоят у поднятых мостов! Если тебя увидят да поймают, то при-

ведут поутру к хану, на дворцовом мосту отсекут тебе голову, положат тебя в мешок, да так, без головы, и бросят в воду

— Э, нет, я уж лучше пойду! — твердил Явтух, пробираясь сквозь толпу красавиц к двери.

— Так хоть, по крайней мере, погоди ты, бешеная голова! Мы тебя вынесем опять в ящике в сад, и ты опять влезешь на крышу; оттуда спустишься на улицу; авось, найдешь в городе какого-нибудь жида: он тебя и вывезет в таратайке, под мешками.

И, уложив его снова в ящик с нарядами, красавицы вынесли его в сад. Явтух толкнул крышку и оглянулся вокруг себя.

Месяц опустился за гору, и румяная полоса на другом конце города показывалась из-за плоских крыш. В воздухе свежело. Роса сверкала на листьях цветов. Отблеск зари прокрадывался по островерхим минаретам, плоским крышам саклей и по трубам позолоченных кровель ханских дворцов.

Явтух протер глаза: что это такое? Перед самым его носом торчит опять вчерашняя рыжая старушонка.

— Не унывай, казаче! — говорит она. — Прости меня и забудь прошлое; дай только мне найти да порядком проучить того косолапого, что тебя вчера обидел, так я мигом тебя донесу домой.

— Кого найти, какого косолапого? — спросил с изумлением Явтух.

— Черта, — ответила ведьма, — моего губителя, изверга! Он теперь заперся на мельнице с твоею невестою и сидит там всю ночь, окаянный.

— С моею Найдою? — закричал во все горло Явтух и так ухватился за тоненькую лапу ведьмы, что та не взвидела света. — Неси меня, распропащая твоя душа, неси, а не то, вот клянусь тебе, измелю тебя в табак!

И, вскочив на спину ведьмы, Явтух стиснул ее коленями, засучил рукава и поднял здоровенные кулаки. Ведьма сперва пошатнулась, заскреблась лапками, как мышь, но потом понемногу выпрямилась, подпрыгнула и стала подниматься с

парнем на воздух. Она полетела сперва к крыше терема, потом через двор к мечети и, наконец, стала постепенно подниматься кверху. Ханская стража заметила их. Во дворе, в саду и на улице поднялся сильный переполох. Махали саблями, раздавались крики, даже послышался ружейный выстрел. Но трудно было догнать улетевших: поминай как звали...

Сидя на плечах ведьмы, Явтух недоумевал, как это она, не двигая ни руками, ни ногами, летит быстрее облака, гонимого ветром. В это время он поднялся так высоко, что кое-где на земле еще были сумерки, а он уже увидел вдалеке красный шар солнца, которое будто купалось в волнах большого озера, готовясь выкатиться в ясное небо.

— А какое это озеро, тетка? — спросил Явтух у ведьмы.

— Это — Черное море, там много хорошей тарани и всякой другой рыбы.

«Э!» — подумал Явтух и отшатнулся.

Прямо в глаза ему налетела легкая прозрачная тучка, и он исчез в ней, точно в волнах серебристой кисеи. Когда он вылетел снова на свет, в его волосах и на рубашке блестели капли росы, а тучка далеко-далеко внизу виднелась лиловою точкою.

В иных местах, когда уж несколько рассвело, он увидел в воздухе ранних жаворонков, у которых глаза еще спали, а они уж поднялись в небо и славили своими песнями восходящее солнце.

Из трубы какого-то села вылетел, в серебряной одежде, светлый дух, держа на руках что-то.

— Это что такое? — спросил Явтух.

— Это ангел Божий уносит в небо только что умершую девушку!

«Уж не моя ли Найда?» — вздохнул Явтух.

В другом месте он совершенно наткнулся на распластанного под облаками коршуна, который зорко глядел вниз, в траву, и выбирал себе утреннюю поживу. Явтух хотел ему дать по дороге порядочного тумака, но одумался, чтоб не сорваться с ведьмы, и полетел далее.

— А это какие голубые облака? — спросил он ведьму.

— Это — Черкесские горы, покрытые снегом, и снег этот никогда на них не тает.

— Как никогда не тает?

— Так же, никогда!

— Стало быть, и в косовицу не тает?

— И в косовицу не тает.

«Чудеса, да и только!» — подумал Явтух и стал снова всматриваться в бесконечные пространства земли, выходившей под ним из ночных сумерек.

— Ну, а то что такое? — спросил он, указывая налево, через плечо. — Точно жар горит; должно быть, чумаки чужие леса подожгли?

— Это — город Киев, и в нем так золотые главы церквей горят!

«Э, — подумал про себя Явтух, — какой же важный город Киев, да никак в нем уже и к заутрене благовестят? — И он еще пристальнее начал вглядываться вниз. — Послушай... как тебя звать? Мавра Онуфриевна, что ли?.. это уж и на базар выходят? Ишь ты, как народ повалил на улицы: должно быть, ярмарка!

— В Киеве каждый день ярмарка; уж такой, хлопче, город удался!.. — заметила ведьма и понеслась еще быстрее.

— Да куда тебя несет так? Погоди, скажи-ка, тетка, где Москва?

— Москва, казаче, так далеко, что нужно еще в десять раз подняться выше, и тогда увидишь не всю Москву, а одного Ивана Великого да Царь-пушку.

— Ну, а вон то что такое танцует? — спросил, помолчав, Явтух.

— То плясовицы, бабы некрещеные, выходят всякое утро, рано на заре, с распущенными косами, на вершинах курганов солнце встречать... Пора, пора, — проговорила неровным голосом ведьма, — надо петухов обогнать...

И она помчалась стрелой.

— Как петухов обогнать?

— Под нами, как пролетали Катериновку, давно уж в первый раз прокричали... Скоро прокричат в другой раз, а до третьих петухов надо все покончить.

— Эх ты, мышиная кума, где была! — заметил весело Явтух, покачивая головою.

— Что ты сказал, хлопче? — спросила ведьма, оглядываясь на него.

— Я спрашиваю, что это такое выяснилось там, внизу, точно коровы идут по зеленой травке?

— Это — вправо Даниловка, налево Гусаровка, далее Пришиб, Петровское, а еще далее Харьков.

— Ну, а это какие серебряные ленты протянулись, точно змеи по лугам?

— Это, казаче, реки Донец, Берека да Торец со своими озерами...

Не успел оглянуться Явтух, как земля, горы, леса и весь Изюм понеслись к нему навстречу.

— Тише, тише! — закричал Явтух, камнем падая на кривую березу, что росла у самой мельниковой хаты.

— Ничего, хлопче, сиди только смирно! — ответила ведьма и тихо опустилась на землю, под березой у порога хаты. — Теперь слезай с меня и отворяй двери; твоя невеста их перекрестила, и мне туда не войти.

Явтух стал на ноги, хотел войти в дверь.

— Нет, погоди! Черт теперь спьяна спит, так ты его не буди, а прежде ступай в кладовую и выводи оттуда свою красавицу. С косолапым же я сама справлюсь!..

С трепетом подошел Явтух к кладовой, в которой спала Найда. Чуть переведя дух, он взялся за дверь; еще в первый раз в жизни он переступал порог, за которым спала его

суженая. Он повернул скобку двери и остановился. «Нет, — подумал он, махнув рукой, — не войду!» — и прибавил шепотом, наставив губы к замочной скважине:

— Найда, вставай, одевайся, выходи...

— Кто там? — спросил тихий, чуть слышный голос.

— Это я, Явтух... твой Явтух, моя кралечка!

— А если ты Явтух, а не тот, что лежал на столе, так перекрестись: я буду в щелку смотреть.

Явтух перекрестился; дверь отомкнулась; Явтух и Найда бросились друг к другу.

— Какой же ты странный, Явтух, в этом наряде!

— Ничего, моя зоречка, пойдем отсюда; после я тебе все расскажу.

Он тихо увлек ее из хаты и тут только, проходя мимо двери, заметил, какая образина лежала на столе, свесив на пол ноги и отекшую пьяную голову. Они вышли на крыльцо, а ведьма с порога прыгнула в хату, и скоро там послышались крики, брань, визг, шум, и в растворенную дверь запыхавшаяся ведьма злобно вытащила за чуб мнимого казака.

— Вот я тебя, вот! — кричала она, трепля беса за волосы, как бабы треплют мочки льна. — Вот я тебя! Теперь не скажешь, что не бражничаешь да не гоняешься за девками.

— Да что вы, да помилуйте! — стонал жалобным голосом черт, успевший принять свой бесовский образ.

— Вот я тебя!.. а?.. за девками? — и град кулаков сыпался на сатану. К его счастью, прокричали петухи.

Ведьма опять ухватила худого беса одною рукою за хвост, а другою за загривок, повернула его вверх ногами и поднялась с ним на воздух.

— Вот тебе и на, — усмехнулся Явтух, прижимая к сердцу Найду, — поплатился-таки вражий сын! Ишь ты, как удирают! Точно москаль с краденым индюком на ярмарке... Ну, уж ночка! — прибавил он, нежно глядя на Найду и ласкаясь к ней.

— Да! — сказала, вздохнув, Найда. — А ты где был все это время?

— В Крыму, — ответил Явтух.

— Как в Крыму? в Крымском царстве?

— В Крымском царстве...

— Любит прибавить, брехун, да нехотя поверишь, что был он сегодня в Крыму! — проговорил у Явтуха за плечами басистый голос. — Нехотя поверишь после всего, что сейчас видел.

Явтух и Найда оглянулись. За ними, на подъехавшей тележке, сидел старый мельник и, закинув кверху голову, смотрел в небо.

— Все расскажу вам, Семен Потапович! — сказал Явтух, кланяясь в пояс мельнику. — Ничего не утаю, только отдайте за меня Найду.

И он замер в ожидании ответа. Найда стояла в стороне, закрыв лицо рукавом.

Мельник сбросил с телеги кучу пустых мешков, слез наземь, перекинул на спину лошади вожжи и, взявшись руками в бока, задумался.

— Разве уж потому, — сказал он, наконец, поглядывая поверх хаты, — что счастливо продал муку в Чугуеве! Так и быть, дочка; так и быть, Явтух! Только уж ты, брат, не отвертишься, расскажешь все, как было!

1852 г.

ПЕНСИЛЬВАНЦЫ И КАРОЛИНЦЫ

(ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ГУБЕРНСКОГО ДЕПУТАТА А. С. С.)

«О, родина моя!»
N N

Недаром зовут наши новороссийские степи и нашу Украину краем крайностей. Здесь в одной стороне как будто одолевают предания старосветские, представители которых, в незлобии души и тучности тела, желают сохранения всего, что было прежде, или, как говорят здесь, сохранения «дедовщины» и «батьковщины». С другой — здесь ясно набирают силу молодые побеги явлений новых, наплывных, колониальных, для которых еще столько хранят простора наши пустынные, восприимчивые и привольные степи. Чуждые всякого консерватизма, они от создания мира свободно пропустили через себя тучи всяких бродячих, переходных племен и всяких понятий и верований, оставляющих после себя либо благодатные семена, либо темные и непонятные следы, вроде здешних таинственных истуканов, наших смиренных «каменных баб». По всем новым вопросам тут решительно те же Соединенные Штаты Северной Америки, с которою наша молодая украинская Новороссия имеет столько родственного. Недаром и для слова «колония» здесь давно есть свое слово «заимка». Так и по крестьянскому делу здесь явились свои пенсильванцы и свои каролинцы, свои Северные Штаты, поклонники эмансипации, и свои южные противники ее.

Сравнение с Соединенными Штатами Америки озадачит читателя.

Но право, так. Наша степная украинская колония имеет много общего с родиной и любимым детищем Вашингтона. Здесь кроются дельные уроки и для нашей Метрополии. Та же благодатная девственная почва и пока та же испорченность первых ее колонизаторов. Позднейшие пришельцы, поселенцы новые, идущие и бегущие сюда без обветшалых привилегий на готовый, веками заготовленный труд, без старых претензий и предрассудков, с одним путеводителем — силою рук и жаждою честных работ, и с живыми, бойкими и смелыми денежными капиталами, захватывают здесь теперь последние, еще незанятые места. Та же здесь, как и в Америке, смесь сословий и народов и та же поэтому горячая местная борьба умирающего с начинающим жить. Только нет тут еще, как в стране Бостона и Филадельфии, ни каналов, ни очищенных и оживленных рек с громадными пароходами, нет пятисоттысячных населений в здешних смиренных, еще первобытных казацких городках, восемьдесят лет назад бывших маленькими и глухими запорожскими «заимками». Лепятся еще эти «за́имки» и до сих пор у тощих речонок, на пустынных равнинах, в пологих и тихих степных котловинах, не увенчанные пока ни исполинскими трубами паровых фабрик, ни складочными магазинами всесветной торговли. Реки плывут себе тихо, омывая малолюдные поля, бревенчатые и малолюдные хутора и жалко вспаханные нивы и прыгая, как во времена былые, как, вероятно, было и при Адаме, через каменные гряды непобежденных порогов. Молчат наши степи. Их зеленые равнины не оглашаются еще звуками железных чудовищ, в иных странах давно раскидывающих свои дымовые полосы по ветру. По-прежнему здесь, с весны, бродят по пустынным, пыльным «шляхам» тяжелые чумаки, лениво погоняющие своих лениво шагающих волов. Осенняя и весенняя грязь у нас еще, по-прежнему,

историческая грязь. Многого еще, многого здесь нет. Зато уже появляются у нас новые, небывалые люди — «степные янки». Это — сыновья бедных помещиков, новых купцов и чиновников, кончившие курс в университетах и неслужащие. Бойкие и ловкие практики, они ищут работ других, горячих и более подвижных. Рыская с мелкими сколоченными капиталами, они с виду мало разнятся от тех же наших купеческих подрядчиков и приказчиков приморских хлебных контор, от бродячих кулаков, странствующих маклеров и прочей перелетной торгующей птицы, с давних пор, еще от генуэзцев, населяющих шумными кочевьями наши степные и побережные места и отважно свивающих ныне свои гнезда там, где водились еще недавно одни цапли да пеликаны.

Странствуя в мещанской дубленке и сапогах выше колен, эти небывалые господа «янки» являются сюда в виде комиссионеров, агентов и директоров разных новых обществ. И смотришь — то там, под их началом, склеилась контора, то здесь уладилось и пошло верное и бойкое торговое дело, созидаются фабричные дома, огромные паровые мельницы. Это — квартиргеры наших будущих Вашингтонов. Как на диковинку, еще засматриваются здесь на их бодрые, здоровые и какие-то сияющие лица. Это же по преимуществу — наши пенсильванцы. Но есть у нас, повторяю, и свои каролинцы. Эти большею частью сродни римским гусям. На первом слове у них старина и былые патриархальные предания. Таинственные и мрачные патриоты, господа каролинцы большею частью опираются на примеры старобытной, старосветской Малороссии. Это — наши южные казакофилы, хотя в старом казачестве было более свободы, чем в их требованиях. Их внешнее знамя — поклонение салу и вареникам. Их идеал — возвращение родных степей ко временам Хмельницкого. Небольшой круг наших любимых народных писателей с ними ничего не имеет общего. Они плачут над виршами Сковороды, считая этого мистика за поэта, плачут над слабейшими из повестей Квитки и не признают Гоголя. А наши

дни, наши верования — им не по сердцу. Словом, здесь — как везде: ум работает, безумие ему несет преграды...

Сведения о помещичьих имениях были собраны и внесены в губернские комитеты. Комитеты открыли и закрыли свои заседания. Много высказалось дельных мыслей, много выдвинулось живых людей. Пенсильванцы и каролинцы, аболиционисты и антиаболиционисты, сошлись на последней исторической разделке, вступили в борьбу, спорили, писали, составляли сходки, ополчения. Губернский застой оживился и передал движение уездам. Уезды разделились на свои враждебные станы, зашумели, а кое-где шумят и до сих пор. Из городов волнение перешло в хутора и деревушки. В городах оно давало волны большие, морские, если не волны самого океана; здесь оно отозвалось мелкою зыбью речонок. Оживились такие дома, где уже все, казалось, давно умерло, отпето и погребено. Тут также открылись ставни, крыльца усыпались песочком, в комнатах явились гости и все спорщики. Явились сюда и невиданные здесь вовсе газеты. Старые, забытые очки вынуты из ящика; пожелтелые стекла в них протерты, заржавленные ободки вычищены. Читаются правительственные циркуляры, списки выборов, программы; читаются печатные журнальные статьи. Там съезд, тут съезд. На съезд к холостым депутатам даже являются непрошеными шестидесятилетние барыни-хуторянки с молодыми внучками. И им подавай циркуляры и списки, и им объясняй программы и печатные статьи. Враги барынь находят даже, что эти нежданные наезды с их стороны — не более как ловкое видоизменение прежних способов выставить напоказ своих засидевшихся невест: то возили на балы, а теперь — на гражданские сходки... Подмешалась тут, разумеется, и всегдашняя уездная и губернская грязь. Она смело липнет к колесам нашей торжественной колесницы. Бездарные уездные остряки прежде потешались уличными сплетнями, описывая в тупоумных пасквилях какие-нибудь смиренные балы и семейные вечера, куда они сами же первые подобострастно вторгались. Теперь эти уездные памф-

летисты перенесли свои стрелы на степенных депутатов по крестьянскому делу. К чести пенсильванцев надо сказать, что они, как партия пока торжествующая, не прибегают к этим пасквилям. Зато каролинцы носят усердно в своих сановных и горделивых карманах замасленные списки сатир на своих ненавистных собратий и сами на старости лет становятся памфлетистами, как школьные мальчишки. Составляются враждебные эмансипаторам сходки, адреса; пишутся угрожающие, надменные письма...

А время идет своим путем, и пенсильванцы все-таки празднуют пока победы, задают пиры, произносят речи. Избиратели видят, кто торжествует, и заранее со вздохом спешат кроить на новый лад свой быт, свои верования и свои привычки. Много драм разыгрывается в маленьких хуторках, много надежд разбивается под соломенными и камышовыми кровлями, много поздних и не спасающих уже слез проливается из старых глаз. Наших Кавуров зовут предателями, наших Меттернихов превозносят последними и бесплодными овациями. Старики взывают, что дожили до времен, когда придется им повесить на древах свои лютни и «сидети и плакати на реках вавилонских». Молодые ждут не дождутся увидеть зарю жизни новой. В печальных попыхах только те, кто, как девы библейские, в ожидании прихода жениха найдены врасплох с угасшими светильниками. А солнце светит по-былому, по-старому, так же взойдет, поглядит во все яркие глаза, повеселит степь и пажити, сады и покосы и закатится. Дни идут; жатва спеет; серп и коса машут и блестят на солнышке. День прошел; зной сменен прохладой душистого степного вечера. Новые села теснятся между хатами старых: это — хлебные и сенные клади нового сбора, загромождающие собою токи и дворы. Пыль клубится. По дороге с поля ползут громадные золотые жуки, скрипя и звеня по пригорку: это едут возы, нагруженные червонно-золотыми копнами пшеницы. На возах едут хуторянки. Черные, бойкие глаза смотрят оттуда. Длинные, в ладонь шириной, горделивые косы качаются над снопами. Вечер тих.

Только черные глаза посматривают на одинокий степной проселок. С ним сливается за пригорком битая столбовая дорога. По ней летят почты и курьеры. И вьется дорога столбовая далеко, далеко — туда, где лежит милый и пока молчаливый север.

Был полдень. Место — под Сагайдачным Лугом, где сходятся дороги из Макарославского уезда в Южнобайрацкий.

Мы ехали опять с Говорковым и в той же нетечанке, в которой представились впервые читателю, по пути в Сорокопановку. Теперь мы пробирались на Желтые Воды, на отдых после трудов комитетских. Товарищ мой и бывший секретарь, в той же гороховой шинельке и смятом картузе, обдаваемый клубами белой густой пыли, умирая от зноя и духоты, по-прежнему не унывал и ободрял меня рассказами.

— Слышали вы, Александр Сергеич, у Ницнемацких опять съезд?

— Нет, не слышал.

— Эти господа так и метят в колонновожатые, так и хотят попасть в круг передовых, перед нашими смиренными Павленками, Дубленками, Макаренками и Назаренками!

Клуб новой, убийственной пыли обдал опять нетечанку и скрыл на мгновение Говоркова. Но опять высунулись оттуда его голова и рука. Он силился дохнуть чистым воздухом и кашлял.

— А слышали вы, что не только господин Пяльский, добрейший, впрочем, старикашка, едва умеющий подписать свое имя, сочинил целый проект эмансипации, — даже барыня Забайрачная уневестилась пишущей братии! Вообразите, эта барыня, кроме шуток, сочинила и написала собственноручно, говорят даже на картузной какой-то бумаге, полный проект эмансипации для края, возит его в карете шестериком, устраивает литературные вечера, тычет его каждому, ездила с ним к губернатору и чуть не разбранила губернского предводителя на улице за то, что тот от нее бегал, как от чумы, и семь раз ей не сказался дома. То-то бойкая дама!

— Вы сегодня, Абрам Ильич, очень злы, осыпаете насмешками даже полезных людей.

— Со смеху люди бывают! — заключил Говорков и закашлялся. Пыль решительно залепила ему все горло.

— Впрочем, нынче уже все тычутся в передовые, да поздно! И рада б теперь наша мама за пана, да пан не берет!.. Ох, проклятая пыль!..

И он опять закашлялся и скрылся в пыли.

Скоро мы спустились в долину. Дорога пошла зеленым, сыроватым лугом, без пыли и духоты. Впереди рисовались вербы и поселок. Это была недавняя еще слобода бывших южных военных поселений.

Сбитые и полуразрушенные кирпичные пирамидки вели к слободе, по бокам всей дороги. Они имели прежде назначение скрашивать и указывать дорогу и белились поэтому, чистились и поправлялись ежегодно миром. Теперь их тайком поселяне развозили на поправку печей. Издали еще, при въезде в околицу, мы увидели полосатые столбы и шлагбаум с цепью сельской, ныне упраздненной также, гауптвахты. Нам, при въезде в слободу, никто уже не опустил роковой перекладины. Заржавленная, забытая цепь ее уныло висела. На тяжелом конце праздно взброшенного шлагбаума сидела стая ворон. А на площадке тут же лепившейся маленькой гауптвахты бегала и шумно суетилась беспечная толпа ребятишек, весело крича и со смехом седлая друг друга. Улицы, по случаю полевых работ, были совершенно пусты.

— Вот, — заметил Абрам Ильич, — тут недалеко живет отставной капитан, имеет свой собственный хуторок и десять тысяч капиталу в сундуке. Он был здесь военным волостным, и я его коротко знал, даже чай у него пивал. Вообразите, он всегда говорил вместо «гауптвахты» — «абафта», вместо «слишком» — «слышком», вместо «комитет» — «комикет», а отлично знал службу...

— Абрам Ильич, пощадите! Лучше взгляните, какова слободка: загляденье!

— Да-с, свободное ныне, государственное село!

И, вздохнувши, он повел кругом тусклыми, желтоватыми глазами. Кучер тоже, как бы угадавши наши мысли и давая лошадям посмотреть на село, ехал шагом.

Мы оба переглянулись: так, очевидно, изменился образ слободки, которую мы оба знали. Видно, урожай особенно велик был в эти два года. Село ломилось от хлеба и сенных стогов. Я особенно всегда любил эту слободку, сорок лет назад вольную и обращенную потом в военное поселение. Лучших времен ее я не помню. Сорок лет прошло, и она опять принимала прежний, домашне-пестрый вид. Поселяне радовались, что они опять — хуторяне... Прежде все хозяева до единого чумаковали, то есть ходили в Крым за солью и на Дон за рыбою. Теперь хозяева-землепашцы опять начинали составлять чумацкие «ва́лки». На эту слободку нельзя было наглядеться. Переставши быть Новосамарском и ставши опять былою, тихою Цветовенькой, она особенно привлекала взоры, как все здешние государственные села, своим хлопотливым, добродушным домоводством и свойственным хуторянам довольством малым. При взгляде на ее белые хатки, гнездившиеся врассыпку, по пригоркам ее извилистых, между ярами и буграми, улиц казалось, что эти хатки строили бобры, а ласточки их обмазывали. Хатка на хатке, и сад переплетается садом. А внизу — пруды, один вытекает из другого; в них много рыбы. Вербами обсажены берега. Улицы вьются между садами. И все зелень, да беленькие хатки, да гладенькие соломенные крыши. Четыре церкви, усердно содержимые обществом. Вместо волостного — выборный из сел голова, в простой, долгополой свите, по местному степному обычаю — без бороды.

— Хорошо село! — проговорил даже наш кучер, ткнувши в воздух кнутом с козел нетечанки.

— Как бы, однако, сюда не затесался волостной, вроде того, что вместо «гауптвахты» говорит «абафта!» — заключил мой спутник.

— Трогай! — сказал он кучеру, и мы выехали опять в поле.

Лошади пробежали еще часа два или три. До подорожной корчмы, где мы рассчитывали их кормить, оставалось не более пяти верст. Надо было только переехать новую долину и речку. Кучер стал уже спускаться в долину. Нам дремалось. Вдруг он вскочил, замахал кнутом и давай кричать по-своему: «О-о, ге-е-й! А ну, бисовы сыны, поняйте с мосту!» Нетечанка стала.

— Что ты?

— Да гляньте, вон...

И он указал кнутом. С пригорка видны были внизу река и узенькая, жалкая плотинка. Два громадных обоза передними возами съехались — один с той стороны реки, а другой с этой, съехались на самой плотинке, сцепились колесами и не могли податься ни вперед, ни назад. Кучка озадаченного народа копошилась близ сцепившихся колес. Другие сидели молча или тут же стояли, ковыряя в носах. Кучер с бранью встал и пошел к плотинке, помахивая кнутом.

— Что мы будем делать? — сказал я в досаде. — Солнце заходит, а обозы столкнулись так, что, как говорится, когда зад их спать собирается и кашу варит, то перед уже Богу молится и отправляется в поход.

— Известное дело, будем ждать! — начал Говорков. — Теперь их сам черт не разведет... Я уже знаю, как это делается! Должно быть, вожаки ехали себе да ехали, то есть шли себе, помахивая кнутами. Каждому захотелось понюхать у встречного табаку. Вот, забывая о том, что сзади двигалась громада других возов, они и съехались на мостку. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «А ке, лишень, дядьку, кабаки!» Тот и подставил тавлинку. Нюхают и нюхают, и другие слазят с возов и тоже нюхают. А возы себе сходятся и сходятся. Ну, колеса затрещат, они и ахнут...

Кучер наш воротился разобиженный.

— Ну, что?

— Обломались, с хурами соли, как раз на мосту...

— А что! Я же вам говорил! — с радостью крикнул Говорков. — Теперь тут уж просидим до вечера.

— Когда б до вечера, — заметил кучер, — возов и до утра не разведешь; с плотины некуда податься — надо разгружать хуры...

Мы слезли с нетечанки, легли на траве и закурили сигары. Долго еще возились чумаки у возов. Долго еще неслись оттуда брань и споры. За нами раздался звонок и стук колес. Через минуту с горы показался экипаж, четверкой, в пыли. Не зная, подобно нам, что было внизу, он стремглав, звеня бубенчиками и колокольчиком, понесся туда. Крики нашего кучера остановили его. Две белые холстинковые фуражки высунулись из окон крытой коляски. «А? Что?» — спрашивали в сумерках фуражки. Мы рассказали, в чем дело. «Ну, Павладий, бери вправо по берегу!» — стоически заключили фуражки, знавшие, видно, лучше нас нужные сноровки при подобных встречах. Мы спросили: «А разве направо проедешь?» — «Проедете, тут есть другой мосток — вон и дорожка туда идет. А там сейчас Улановка Дядятовского. Мы туда едем. Всего семь верст осталось»... — «Дядятовского? Романа Романыча?» — спросили мы с Говорковым в один голос. «Да-с. Там именины и съезд». Коляска быстро свернула вправо и полетела лугом над рекой, подхваченная сытою и рослою четверкой.

Мы взглянули друг на друга. Дядятовского знали мы оба и любили, несмотря на его скупость и причуды. Это был помещик другого с нами уезда и каролинец. Как честные пенсильванцы, мы бы не поехали в такое время гражданских схваток к каролинцу и плантатору, следовательно, к нашему врагу. Это бы у нас назвали лазарничеством и неимением такта. Но то был владелец другого уезда и притом истинно невинный и простой человек. Разность в убеждениях нас с ним не поссорила и теперь.

— Признаюсь, хотелось бы посмотреть на съезд тамошних, — сказал Говорков, — да Роман Романыч кстати и именинник! Поедем к нему. Сколько времени уже мы не были у него! Да там же всегда и без церемоний. А гостей своих, особенно, например, из офицеров, он даже иногда и

по фамилии не знает! — И мы свернули вслед за коляской. Нетечанке, впрочем, было не под силу гнаться за нею. Мы скоро отстали.

— Догоняй богатого, что ветра в поле! — заключил Абрам Ильич, печально свистнувши вслед за крутым гоготаньем ее лежачих рессор, исчезавших вдали, по тропинке, между темными уже камышами.

Мы также въехали в камыши.

— Да еще как! — продолжал наш кучер, все еще в ответ своим недавним перебранкам с чумаками на плотине. — Я пришел, спорю; а они мне: «Да вы, бывает, не из жидов, что добрых людей в таком деле попрекаете?» А... мы с панами жиды?!! — И его огорчению не было пределов. — А я им! — продолжал возница. — Ах, вы душегубы! Чтоб вам сто-надцать лихорадок, да сто болячек, да все прыщи и свищи! Так вы панов жидами звать?.. Одного даже за чуб взял, да бросил после; ну его...

Дорога свернула влево. Лошади свободно простучали по какому-то мостику. Через полчаса мы впотьмах въехали в село.

— Это Улановка?

— Нет, еще не Улановка, а Гусаровка: Улановка через две версты! — отозвался чей-то голос из темноты.

Названия сел произошли от предков нынешних владельцев, бывших друзей. Один служил в уланах, другой в гусарах. Это они и оставили себе на память. Как в Гусаровке, так и в Улановке, при нашем проезде, с заваленок хат вскакивали и шмыгали за ворота какие-то пары.

— Это все влюбленные! — шептал опять Абрам Ильич. — Матери и отца нет дома — парубок и садится, обнявшись с дивчиною. Сидят себе в парочке, «дружкуются», «женихаются». А в конце села у какого-нибудь свата уже окна светятся. Там идет гульня. Старые условливаются о сватовстве детей. И сидят эти влюбленные всю ночь, пока, по здешнему поверью, заря скажет месяцу: «Месяченьку, мой братику, освитимо звиря в поле, щуку-рыбу в море,

чумака в дорози!» Только блеск месяца да стук панских колес и разгонят этих счастливых до новой встречи. И чего только они не перетолкуют: про свое хозяйство, про работы, кто из них что в этот день сработал, и что ему сказано, и как они устроят свое теплое житье-бытье после свадьбы! А у нас? Барин стоит на коленях перед барышней и говорит: «Я-с вас люблю-с!» Тьфу! Ажно противно! Да еще иной раз на французском диалекте. Я никогда так не говорил!

Мы въехали в ворота под крыльцо освещенного дома. Множество экипажей стояло в полусвете у конюшни.

— Пан по мечу и кудели! — шептал Говорков, вылезая из нетечанки. — Пан от двенадцати колен панских, этот наш приятель Дядятовский! В гербе у него, говорят, сущая шляхетская диковина: пул — пса и пул — козы да, как говорят еще в Польше, «чарна вешка по бембешку гопке бие!»

Кто-то распахнул на крыльцо двери, и нас разом обдало светом.

— А! Скавронский! Говорков! Какая радость! — И Роман Романыч уже душил нас в своих объятиях.

— Вон, — кричал он, таща нас на крыльцо, — что значит местоположение! Живу на самом пупе земли, на бугре; ко мне и слетаются все братья! Пожалуйте!

Но, сказавши это, он тут же засуетился и исчез. Мы прошли в боковую комнату, наскоро переоделись и пошли в зал. Не успели мы туда войти, как Дядятовский уже стоял в толпе других, окружавших какого-то рассказчика.

Роман Романыч был по-старому в ермолке, для прикрытия своей полнейшей плеши, в сереньком сюртучке и с огромным клетчатым платком в руках, по случаю нюхания табаку. Несмотря на свои шестьдесят лет и очень маленький рост, Роман Романыч сохранял еще много бойкости и подвижности нрава. Страсти в нем еще кипели. Тело было уже плоховато, как отзывался порою он сам. Голосок у него был тоненький, и он часто заливался веселым смехом. Выйдя рано в отставку и женившись на милейшей и красивейшей женщине, он скоро вдался в хозяйство, но остался в нем,

как и в своих убеждениях, охранителем старого. Сорок лет он прохозяйничал, но не улучшил имения ни на волос, и в конце мог сдать его в том виде, как принял. Получая порядочный, но ровный всегда доход, он и его не проживал. Где-то, в сундуках ли, или на стороне, составился у него значительный капитал. Но, смотря уже в гроб, одолеваемый болезнями, предтечами последней расплаты, он не мог сказать: я привольно прожил на свете! Теперь уже и хотеть-то он ничего не мог. Его деньги были — орехи под старость беззубой белке. Скопидомство перешло в скупость. Сперва свои сборы он берег из расчета не заявить их молодой жене и молодым друзьям, потом стал таить, как мрачный и негодный скряга. И, говорят, боясь сделать о них даже завещание, чтобы не узнали про них и не промотали их дети, он мог вовсе погубить этот капитал. Любя искусство от природы, он и теперь еще играл часто на скрипке и на фортепиано. Но, отставши от литературы за хозяйством, т. е. за самою дурною стороной хозяйства — за сиденьем над работником с утра до вечера, он уже не понимал современных явлений мысли и прикрывал себя довольно пошлою и жалкою отговоркою. «Вы читаете что-нибудь теперь, Роман Романыч?» — спрашивали его. «Э! Не читаю ничего, кроме бебуны (оберточной бумаги), — отвечал он, — с тех пор, как карбонеры стали писать там всякое эдакое!» Не имея на голове ни единого волоска, Роман Романыч всегда носил длинные седые усы.

— А! — шепнул мне Говорков, когда мы вошли и стали, незамеченные, в толпе других. — Посмотрите, Роман Романыч и бороду запустил, а ругает радикалов!

В самом деле, у него из-под жабо торчала пресмешная, белая, как кружевной воротник, борода. Он ее поминутно гладил. После мы узнали, что эту бороду он запустил потому, что один его знакомый, старик и его друг, тоже запустил ни с того, ни с сего бороду.

— Он умный человек и даром ничего уже не сделает! — говорил Роман Романыч. — Отпущу и я бороду, а при

встрече его спрошу, зачем это; коли нужно, оставлю, а нет, то сбрею!

— Ха, ха, ха! — раздалось вдруг среди залы из круга слушателей.

Мы с шапками подошли ближе.

— А я ему говорю, — продолжал рассказчик, — что же, что вы в комитете были?..

— Ну, что же он, что же он? — заговорил было кто-то из толпы слушателей.

Рассказчик, говоривший, как говорили на сходках в былые времена гетманы, т. е. по местному выражению, всех озираючи и ни на кого особенно не глядя, бросил презрительный взор на вопросившего, сердито сбил пальцами пепел с папироски, помолчал, вздохнул и начал снова.

— Ну, я пошел его валять, и пошел! Да мы, говорю, вас, щелкоперов, на выборах прокатим! Да мы теперь и губернского предводителя на вороных провезем! Да мы вас опубликуем! Что вы? А?.. а?.. нас продавать?..

Слушатели и сам Роман Романыч раболепно молчали, внимая этим перунам.

— Кто это? — шепнул я на ухо молодому белокурому господину, стоявшему впереди меня, именно одному из двух встреченных нами у плотины в белых фуражках.

— Пивантьев...

— Что же он так сердится?

— А видите ли, он теперь чернит действия нашего уездного депутата по комитету; этот комитет ему бельмо в глазу. На выборах того единогласно выбрали, а Пивантьева забаллотировали.

Новый хохот покрыл какую-то выходку ликующего Пивантьева. Он самодовольно отошел к стороне и направился в гостиную к дамам. Слушатели тоже разошлись, кто в кабинет, где играли в карты, а кто в сад, где гуляли девицы.

— Это, однако ж, приятно! — прибавил белокурый незнакомец. — У толпы есть в спокойные минуты свой инстинкт самосохранения. Теперь она этому господину

действительно аплодирует, а тогда его не выбрали. Говорят, Пивантьев прежде служил в какой-то комиссии и был нечист на руку...

— Пойдемте к дамам, — шепнул Говорков.

Севши в стороне, в гостиной, мы окинули глазами присутствующих. Слава Богу, ни одной знакомой!

— Правда ли, Марфа Петровна, — говорила, при нашем входе, одна помещица в зеленых лентах другой, бывшей в коричневых, набирая себе на блюдце варенья, — что уже наши девки нам ни шить, ни прясть, ни вязать, ни служить без денег не будут?

— Правда, матушка, правда, — отвечала дама в коричневых лентах.

— Так позвольте же вас спросить, — неожиданно крикнула та же дама в зеленых лентах, — как же я буду жить, когда у меня девятеро дочек, а имения, кроме долгов моего Филаши, ничего нет?

— Плохо, плохо! — пищала низенькая, в розовых лентах, соседка говорившей. — Много мне рассказывали, много читали, и про какие-то урочные работы, и про общины толковали. Ни клочка не поняла и не припомню из всего, хоть Бог меня убей, ни клочка, клянусь моей душою! Так написано!..

— Да еще то диво, что не чувствуют стыда! — прибавила первая дама в зеленых лентах. — Даже выезжают уже в свет, к избирателям в мирные дома входят!

— Это на наш счет, — шепнул мне Говорков, — стыдитесь!

Прошло несколько минут молчания. Слуги разносили конфеты и арбузы.

— А будет ли выкуп? — спросила протяжно молодая дама, недурная собой и не скидавшая перчаток.

Ей не ответили.

— Я полагаю, что выкуп, потому что это разом разрешит нам мировой вопрос! — несколько учено прибавила милая дама, бойко разрезывая маленькими ручками арбуз, но

не без волнения видя, что ее собеседницы ей не отвечают, несмотря на ее перчатки и миловидность. На какой-то новый вопрос она опять не дождалась ответа. Только вилка судорожно звякнула в руке дамы с зелеными лентами, усердно уплетавшей арбуз.

— Милая пенсильванка, — заметил Говорков, — пойду к тебе на помощь! — и подсел к ней.

Не рекомендованные, по случаю близкого конца праздничного дня, как и двое-трое других, подъехавших еще после нас, мы свободно располагались, где хотели. Оставя Говоркова с «милой пенсильванкой», я пошел в кабинет. Тучи дыма висели над игравшими в карты. С дивана, сквозь тот же дым, торчали ноги и головы беседовавших. Как новый человек в крае, и здесь я был не замечен.

— Да, — продолжал разговор с дивана молодой человек с длинными черными волосами и недурной собой, — уж и выдумали же штуку — уступить, продать им земли!.. Да я-то этого не хочу! Я-то, слышите ли, не хочу! Земля моя, и баста! Или уже, если продать, так по вольной цене! Я меньше двухсот целковых за десятину не возьму!..

— Семь в червях! Вист! Пас! — отдавалось на это со столов играющих в карты.

У окна в креслах сидел высокий, рябой, медноцветный, как житель Отаити, господин, в рыжевато-буром парике, толстый и сырой, лет восьмидесяти, держа и ворочая в руках изломанную, замасленную пуховую городскую шляпу и поминутно обливаясь потом. На него решительно никто не обращал внимания. Внук хозяина, девятилетний разбойник, сзади то посыпал ему сахару на парик, чтоб липли на него мухи, то просто его щипал и толкал. Не принадлежа к кругу помещиков, этот господин, впрочем, держал себя гордо и, утирая пот с лица, презрительно улыбался на иные разговоры. Кто-то с дивана сказал, что теперь ходит вообще множество всяких темных слухов.

— Да, — повторил рябой старик и встал, порывисто двигаясь в коротких брюках и во фраке с протертыми лок-

тями, как у Робера Макера, — в наше время этого не было. Тогда уважали законность! Да, законность! Вот и у меня в мои дни, когда я был губернатором — ведь я был губернатором! — никто у меня не уходил без аттенции, ни-ни! Suum cuique! Всякому была дана помощь! А теперь?! Нас презирают...

И он обвел кабинет желтыми, воспаленными глазами, теребя в одной руке шляпу, а в другой клетчатый, бумажный, продырявленный платок.

— Да, теперь, — добавил он шепотом и озираясь, — да! Пришли последние времена!

В эту минуту в кабинет вошел тот же белокурый знакомец наш с белой фуражкой, и с ним Говорков.

— Что, Андрей Петрович, что ты тут наговорил опять и наврал? — спросил громко и насмешливо белокурый.

Старик ошалел, завертелся, кашлянул и сел, со словами, что он многое слышал в городе.

— В городе? Да ты, ваше превосходительство, в городе уже пять лет не был! Лучше попроси у меня целковый на выпивку, а не ври! Иначе исправнику пожалуюсь!

Исправника старик, как видно, очень боялся, потому что замолчал окончательно. Сидевшие у стола стали опять играть. На выходку белокурого никто не обратил внимания. Старик был, очевидно, в черном теле у общества.

— Кто это? — спросил я Говоркова, указывая на белокурого.

— Турбачев, старший брат: их два брата, здешние богачи. Этот отказался от выборов два раза. У обоих пять тысяч десятин земли. Ведут хозяйство по новому способу и сущие янки. Не служат, путешествуют, хозяйничают и живут в свою волю. Я с этим сошелся. Благороднейший пенсильванец! Дамочка, к которой я подсел, их сестра, жена одного содержателя пансиона, тоже умного человека. А главное — оба смелы, самостоятельны и с языками, как бритвы...

Говорков меня сейчас познакомил с Турбачевым.

— Очень приятно, много слышал! — сказал он развязно и собираясь опять с натиском на старого вестовщика.

— Кто это? — спросили мы с Говорковым у Турбачева про последнего.

— О, это личность удивительная! — начал вполголоса веселый и развязный Турбачев. — Это Андрей Петрович Кузничевский. Он, действительно, был лет двадцать или тридцать назад где-то вице-губернатором, жил в богатейшем доме, задавал пиры, развратничал и любил хапанцы, но слегка, потому что было и свое имение. Тогда же он обобрал одного родственника, честнейшего малого, кажется, Твёрдова, отнял у него последний хуторок. Теперь колесо повернулось. Твёрдов нажил новый хутор; Кузничевский прожился в пух, отставлен от службы и живет у него же на хлебах, в какой-то лачужке, вымаливая у своего родного по четвертаку на утех! Клянусь честью, это не сказка! Да погодите, я его еще спрошу, как он возил с собою в Петербург одну одиннадцатилетнюю особу...

Но Турбачев замолчал.

В это время в кабинет впопыхах вошел хозяин дома, наш почтенный Роман Романыч. За ним шла толпа, и впереди всех опять Пивантьев.

— Господа, позвольте! Слушайте, слушайте, — заговорил вполголоса старик Дядятовский, сам вне себя от восторга, ломая руки и подобострастно глядя на Пивантьева. — Вот Макар Макарыч нас опять подарить хочет рассказами! Что за штиль, что за слова! Чисто жемчуг! Вот кто наши защитники, вот кого мы должны в золотые рамки вставить!

— Расскажите, расскажите! — раздалось со всех сторон.

Все сели. Пивантьев, не поднимая глаз и по-прежнему гетманом стоя среди комнаты, начал:

— Это пустое, господа, это случай; но о нем нельзя умолчать в наши дни.

Он оглянулся. У дверей, качаясь от дремоты, стоял ребенок-казачок.

— Вышлите его вон! — шепотом сказал Пивантьев. — Пошел вон! Чего ты, ракалия, стоишь тут? Все подслушиваешь! — крикнул хозяин дома.

Мальчик, качаясь, вышел.

— Да-с, в нашем уезде был недавно такой случай! — говорил, озираясь, Пивантьев. — Вы, конечно, Зеленчука, помещика, знаете? Хорошо. Все мы его знаем. Вот он прожил до этой эмансипации, или, как там ее зовут наши филантропы, до ампутации, что ли, пятьдесят лет безвыездно на своем хуторе. И какое же несчастье постигло его в жизни! Его дочка влюбилась в мещанина; случилось даже такое дело, что она пошла за него замуж, убежала и обвенчалась. А? а?.. И теперь где-то — увы! — живет наемницей, гувернанткой. Там же и муж ее нанимается. А?.. Ну, ведь подло поступила? Так ли? Хотя и славная барынька сама по себе вообще. Отец от нее, разумеется, отрекся. Правда, что и сам он проживал в утешении, то есть держал своих шамшурок...

Слушатели молча и почтительно внимали рассказчику. Турбачев презрительно усмехнулся.

— Так что же вы тут находите особенно печального? — спросил он со сдержанною злостью.

Страшный ропот раздался в кабинете. Добрый, но трусливый от природы, Дядятовский чуть не плакал, смотря на Турбачева. Сперва он дергал его за фалды, чтоб тот не заходил слишком далеко, а потом начал ругать его.

— Это удивительно, до чего доходят ныне молодые люди, — пищал Роман Романыч, — какая смелость, какое даже нахальство, какая самонадеянность! Молокососы!

— Роман Романыч, Роман Романыч! — начал медленно и со вздохом Турбачев, дрожащими руками оправляя себе галстук. — Это правда, вы меня на руках носили, почти няньчили; вы были дружны с моим отцом; я моложе вас. Да за что же оскорблять меня? И вам ли опять жаловаться на своих вассалов? Тоже сорок лет с ними живете? А обидел ли вас хоть единый?

В дверь вошел лакей и нагнулся на ухо к Дядятовскому. Тот стал как обваренный: дыхание замерло и рот раскрылся. Он шагнул к дверям.

— Что вы? — спросили его.

— Э, это пустое! Пришел атаман, староста: чего-то мужики мои пришли там.

И он торопливо вышел.

Турбачев шепнул нам:

— Вот трус! Нарочно обегу кругом дома и посмотрю, в чем дело. Я уже знаю его...

Как школьник, вышел Турбачев в соседнюю прохожую комнату, раскрыл окно, осмотрелся кругом и выпрыгнул в сад, а там завернул за угол дома к крыльцу, куда собрались мужики Дядятовского.

— Мне не нравится эта безобрядность, бесцеремонность Романа Романыча, — начал вслух покровительственно Пивантьев, едва тот ушел, — скверно то, что всегда здесь какой-то сумбур! Назовет кучу гостей, всякого сброда! Все тычутся по углам; нет того, чтобы усесться да побеседовать с умными людьми! Приезжают и уезжают, как из трактира. А тот еще благодарит за посещение!

— Семь в пиках! Вист! Пас! — опять раздалось с карточных столов.

— Макар Макарыч, вас зовут девицы! — послышался голос из дверей.

Пивантьев вскочил и ушел в сад. У окна, сквозь табачный дым, мелькнула белая фуражка.

— Господа, пожалуйте сюда.

Мы с Говорковым подошли.

— Вообразите, — начал он шепотом, — это просто невероятное событие. Я подкрался к окну кабинета. Смотрю: наш-то почтеннейший Роман Романыч прибегает туда, впотьмах зажег спичку, возится, руки дрожат, и затем тихо шагнул в лакейскую. Я припал с двора к окну лакейской. Он что-то шепчет казачкам, расстанавливает их, отвернулся опять, тайком перекрестился и ступил в сени. Тут уже я его дожидал

впотьмах, у крыльца, у водосточной трубы. Он вышел, еле дышит, спрашивает у мужиков: «Что вам надо?» Те подходят ближе; он к сеням... Да уже кто-то побойчее вышел из толпы, поклонился и говорит: «Мы, пане, целый день возили хлеб, а теперь воротились с поля и пришли вас поздравить с именинами!» И кланяются. Он даже икнул от неожиданности, тоже поклонился, велел атаману им дать по рюмке водки, еще что-то сказал и ушел... Уж девять месяцев он лично не являлся на полевые работы.

Мы не верили словам Турбачева.

— Клянусь вам, господа, — добавил он, — все это правда! Да вот он и сам! Подожду я тут у окна в саду.

Вошел медленно Роман Романыч, даже с улыбкой, утерся платочком, смиренно сел, сложил на коленях маленькие ручки и беспечно вздохнул, как ни в чем не бывало. Но дыхание его еще было неровно, и сам он был изжелта-зеленоватый. Ермолка была на затылке.

— Что, Роман Романыч, где ваш сын теперь? Мы так давно его не видали! — спросили мы с Говорковым в ободрение его.

— Сын мой, сын? Да!.. Я было вас не расслушал!.. Ходят всякие слухи, как вообще теперь. Да Бог его знает, где он! Все просит у меня, однако, денег. Я же говорю: отчего не служишь? А он говорит: давайте денег! А где я возьму денег! Доходов нет уже тридцать лет, и я болен! Впрочем, сын мой не может в кавалерии служить, а в пехоте не хочет. А вон его сын, мой внучек, бегает, все Кузничевскому сахару на парик подсыпает! Видите! Вот гений! Кольми паче еще няньку ругает так, что просто молодец!..

Роман Романыч отирал с лица обильный пот.

— Нет, вы позвольте, вы позвольте, — отозвался с дивана голос того самого молодого, с длинными черными волосами, человека, который ценил у себя землю по двести рублей серебром десятину, — вы мне скажите: может ли быть в наше время новое переселение народов? Возможны ли движения народов с севера на юг? Я думаю, что нет! Я,

слава Богу, таки учился: знаю экономистов ныне западных. Именно нет. Литераторы также трезвонят о филантропии, о любви к ближнему! Подлецы, чистые подлецы! Это все выскочить хотят на наш же счет; известное дело, им рисковать нечем... На кол бы их посадить — пусть любуются видами! — четвертовать! Нет, господа, дайте мне хоть еще пять лет сроку, и я ворочу в доходах тройную ценность имения; а там хоть трава не расти...

— Кто это? — спросил я опять Турбачева.

— Это друг Пивантьева, довольно богатый и не совсем глупый человек, Торбанин, если даже хотите, несколько и наш брат, «степной янки», отличный хозяин, но закоренелый эгоист в душе. И ведь что тут грустно, — продолжал Турбачев, облокотясь из сада в окно, — будь он фронтовик; а то ведь из наших, университетских, и даже товарищ мне по факультету! Учился-то он плохо и товарищ нам был так себе, не из лучших. Но все же таки натерся около науки и хоть понаслышке знал имена Бэкона, Смита, Маколэя и хоть, положим, нашего Грановского... А теперь каков? Порочит каждый шаг наших комитетов, ругает всякую прогрессивную мысль, и это двадцатисемилетний студент, выпущенный шесть лет назад! Посмотрите, с каким благоговением слушает его Дядятовский!... Пойдемте, господа, в сад, здесь свежее...

При нашем выходе из кабинета Торбанин, кусая до крови ногти, вдруг взмахнул длинными волосами и, скрипя зубами и показывая кулаком в воздух, сказал:

— Разве не будет выборов? Это ни на что не похоже! Это бесчестно! У нас завелись уже предатели, слуги пресловутой гласности — я их знаю. Трезвонят, грабят нас! На кол их! В Австрии Радецкий их розгами сек...

Мы вышли в сад. Там было действительно свежее. Часа полтора мы ходили, слушая рассказы Турбачева о хозяйстве.

— Мы с братом Петром, — говорил он, — получили имение разоренное, хотя и порядочное. Не было сена — мы наняли в долг луга; стали дешевы овцы — мы в долг купили

у тех, у кого они падали от голоду; продали отцовские экипажи, мебель и всякий хлам, устроили салотопню и в один год выплатили с сала и за наем лугов, и за овец, а салотопню продали через год и выплатили главный долг на имении. Мы завели машинное хозяйство. Я сам пробыл два года в Ливерпуле, на фабрике хозяйственных машин, и вывез оттуда паровой локомобиль. Через год мне половины крестьян наших не надо уже. А брат едет весной в Америку...

У освещенной беседки мы увидели Пивантьева. Он стоял, опять окруженный девицами, и с полным свойством медного лба занимал снова всех рассказами. Увы, он помешался на роли говоруна единственно только потому, что какая-то старуха-аристократка, бывшая когда-то большая практикантка насчет молодых людей, проездом через Южно-Байрацк, сказала ему где-то за обедом: «Да вы, м-сье, краснобай! Владеете слогом!»

— Я прошу вас, девицы, разрешить мне один вопрос, — говорил Пивантьев, развязно качаясь и охорашиваясь. — Хорошо или нехорошо брать жалованье на службе по выборам?

Те, разумеется, молчали, робко прижимаясь друг к другу и пугливо следя за его туманными намеками.

— Ну, так я же вам скажу, что наши филантропы...

— Ну, погоди же ты! — прошептал с холодной злобой Турбачев. — Я же тебя оборву! Вот скотина! Извините, господа, за такие крупные выражения! Вы себе представить не можете, до чего безобразен этот господин!

Мы ушли в темные аллеи. Еще проговорили с полчаса. Турбачев расспрашивал о нашем Южно-байрацком уезде, посевах, сборе хлеба, делал предположения об устройстве громадного общества для торговли хлебом, расспрашивал о нашем губернском положении, о крестьянах, и вообще смотрел с большим сочувствием на все сделанное депутатами. Говорков, хотя и не бывший в составе комитета, в качестве моего друга и письмоводителя, просто ликовал. «Эк, душа-то душа-то!» — шептал он, толкая

меня. Перед освещенной ротондой, в одном месте сада, где играла музыка, ходил с понуренной головой седой, с длинными белыми волосами на голове и в длиннополом сером сюртуке, старик-помещик.

— Это печальный пример, это профессор и наш помещик! — начал Турбачев, указывая на старика. — Он попал в соседний с вами комитет о крестьянах. Я был когда-то его учеником, любил его всею душою, веровал в него и ожидал от него всегда многого и многого! Его чтения в классах распаляли нас страстною любовью к людям! Он был у нас гуманист в полном смысле слова, поклонник Гегеля, Гейне... Открылся комитет, он и там стал из первых, в ряду либералов: даже тайком его называли красным, чем он втихомолку и гордился. Так дела шли месяца два! И что же? Как-то на нос председателя комитета села муха, в то самое время, как этот почтенный либерал читал свою речь по какому-то вопросу; тот громко чихнул; члены тоже чуть не дремали. Этот обиделся, перешел на сторону оппозиции и запутался так, что под конец даже трудно было понять, чего он хотел. Он решил тем, что кинулся в объятия отсталых плантаторов, но и те его, говорят, не приняли. Жаль мне его: истинно добрый человек, только очень мягкий. Мы както с приятелями недавно поминали его. «Покойся сном праведника, чистая карьера былого гегелиста; ты стал помещиком и все позабыл!» — говорили мы, распевая над жженкою студенческие песни.

— Пожалуйте ужинать! — сказал слуга, добежавший к нам напрямик, через вишенник и поляны сада.

В ярко освещенной зале мы уже всех застали в сборах усаживания за стол и выбрали себе три места рядом. Стулья прогремели, слуги вошли с дымящимися тарелками. Все шло чинно; дети гостей сидели за особым столом, сам хозяин сидел на одном конце стола, жена его на другом. Пивантьев — среди девиц, беспрестанно услуживая им. Попавши так нежданно к Дядятовскому, вообще любившему в свои семейные праздники, как верно выразился Пивантьев, при-

нимать всякий сброд, лишь бы было побольше гостей, мы опять принялись расспрашивать Турбачева о разных незнакомых лицах. Речь начал Роман Романыч.

— А слышали вы, господа, у нас на тот год предрекают саранчу и голод?..

Пошли толки о саранче.

— Что саранча! Говорят, залогов уже имений больше не будет! — произнес кто-то.

Бородатый господин, едва дышавший от толстоты, протянул руку за квасом и спросил, покашливая по-своему:

— Говорят, в нашем губернском комитете вышли несогласия: брат восстал на брата и сын на отца, как говорится в писании о последних временах?

— Срам, чистый срам! — подхватил Роман Романыч. — Чуть не шли на ножи! Я там не был, а слышал, что были случаи, как в уездной школе! Даже, по-видимому, садились по звонку, говорили и молчали, как в классах, еще и в мои времена!

— Это и в английском парламенте заведено, Роман Романыч! — перебил Турбачев.

— В английском! Да хоть бы и в китайском. Что англичане? Соловецкий монастырь разграбили, заставили потопить наши корабли в Севастополе, а теперь новые нам за деньги сами строят! Вот австрийцы — это народ: неговоруны и незатейливы...

Незнакомый сосед мой с левой стороны, горбатый, подслеповатый, немного выпивший и навеселе, толкнул меня под бок, указывая на высокого и бледного черноволосого лакея, стоявшего с тряпкою за чьим-то стулом.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Посмотрите сюда: вот слуга, — начал горбатый сосед, сопя и ковыряя перышком в зубах, — слуга, лакей! Только хитрое и умное создание!.. чистая бестия! Посмотрите только на его глаза! Его отдавали в художники, в академию, в Петербург, — и вышел, ничего, артистом!.. Славно малюет-с. Даже там в какую-то барышню было, го-

ворят, влюбился! Ну, да ничего — теперь служит и об искусствах говорит: хоть нескучно! Хитрая бестия!.. Павел!

Сосед мой кивнул головой; черноволосый слуга подошел к нему и нагнулся.

— Кто был первым художником в России? — спросил горбатый сосед вполголоса.

— Карл Павлович Брюллов, творец картины «Последний день Помпеи», — тихо и как-то ласково-грустно ответил лакей под шум общих разговоров.

— А что такое искусство? — продолжал глумиться веселый мой сосед.

— Свободное творчество! — отвечал лакей.

— А что лучше: хороший ли обед, или картина? — говорил насмешливый барин, хихикая себе под нос и ковыряя в зубах.

Лакею-художнику готовились новые шутки и веселости, как в другом конце стола раздался нежданно шум, скоро перешедший в крупную перепалку. Спорили Пивантьев и какой-то студент.

— Нет, этого быть не может, — резко повторял студент, — ваши слова отзываются личностями! А кто злится, тот не прав!

— Личностями? — подхватил Пивантьев. — Ха, ха, ха! Прошу вашего внимания, господа! Юноши зовут нас отсталыми; враги на возрасте зовут нас плантаторами! Где же тут молчать? В качестве плантатора имею честь передать вам, что наш председатель того... свихнулся!

Головы и глаза общества устремились к спорившим. Дядятовский стал даже торопиться уничтожением тарелки какого-то любимого соуса.

— Как это, как это? Расскажите, — подхватил Роман Романыч, утирая губы. — Ах, не могу молчать! Вот настоящий плавный штиль! Вот истинное красноречие! Вот наши защитники! Расскажите!

— Дело было вот как, — начал, важничая и дерзко поглядывая на всех, Пивантьев, — я не служу в комитете, не

имею этой высокой чести, да, не имею, но знаю из верных источников, что, метя на какое-то значительное место, наш здешний великий сановник затеял составить себе сильное большинство по одному делу... Стал выведывать перед баллотировкой — оказывается, что голоса разделились так, что не только не выходило сильного большинства его мнению, но даже и с его голосом на стороне его было одним шаром меньше...

— Правда это? — шепнул мне Турбачев, схвативши меня за руку и едва подавляя в себе волнение. — Вы были сами в комитете! Правда это?

— Клянусь Богом, ничего подобного не было: у нас дружное большинство встретило и до конца провожало всякое действие председателя...

— Благодарю вас... Хорошо... будем слушать! — И Турбачев впился глазами в Пивантьева, изрезывая мелкими кусочками хлебную корку.

— Да-с, плохо приходилось нашему официалу! — продолжал Пивантьев. — Он решительно терялся. Вдруг в ум его мелькнула счастливая мысль. Вспомнил он, печально вглядываясь в список членов, об одном господине с широчайшими бакенбардами, либерализмом и страстью к англомании, бывшем на стороне его врагов, сообразил, что англоман сильно нуждается пока в субсидиях по поводу одной городской интрижки, а впоследствии в теплом местечке, позвал его, под общий шум и споры, к своему креслу и шепнул ему на ухо: «Выходите в зал» Там в будущем обещано представление к месту, и дело слажено... Пошло на голоса, и мнение его восторжествовало... И вот, господа, пути, по которым разыгрываются дела у нас...

Сказавши это, Пивантьев спокойно принялся за недоеденный кусок.

Тарелка звякнула в руках Турбачева.

— Вы лжете, — сказал он гладко и как-то особенно кругло и внятно, смотря на Пивантьева, а сам был белее

полотна, — вы лжете, как пятилетний мальчик! И это не делает вам чести!

Многие вилки остановились в воздухе; многие рты, не проглотя вкусного цыпленка с грибами, остались незакрытыми.

— Что-о-о? — спросил озадаченный Пивантьев, еще блуждая глазами и сперва не разобравши, кто его так оборвал.

— Вы лжете! — опять звонко и внятно сказал Турбачев. — Это клевета...

Слуги стали убирать тарелки и разносить жаркое.

— Наш пенсильванец, однако, тоже горячится! — шепнул мне Говорков.

— Вот мило! Это еще у нас, господа, и не слыхано! — возразил Пивантьев, стараясь улыбнуться как можно беззаботнее, поперхнувшись и озираясь во все стороны. — За столом, при дамах, говорить такие дерзости!

Глаза общества, однако, мигом устремились в тарелки. Бледные и встревоженные дамы стали торопливо перешептываться, косясь то на Дядятовского, то на его жену. Но хозяева тоже молчали. Роман Романыч было отозвался, тоже улыбнувшись и поперхнувшись, словами: «Да, правда! Это немножко того, резко сказать без причины: вы лжете», но тут же утер губы салфеткой и, присмиревши, стал медленно жевать крылышко цыпленка.

— Вы клеветник, господин Пивантьев! — продолжал тем же голосом Турбачев. — И мне приятно будет это доказать публично. Лучше заранее извинитесь сейчас же, за столом, сию минуту, перед обществом и передо мною!

— Как? Мне?? Перед вами??? Ха-ха-ха!

Турбачев положил руки на стол. Красивые перстни сверкнули на его кривых пальцах.

— Если вы будете паясничать и хохотать, я вас прогоню из-за стола... почтеннейшего Романа Романыча! — начал опять Турбачев, закрывая глаза от дрожи и злости, прохватывавшей его до костей.

— Меня? О, нет, нет! — крикнул красный уже, как рак, Пивантьев. — Я, господа, на вас ссылаюсь, на вас! Если бы не дамы, я проучил бы... всякого! Господин Турбачев богач, а я бедняк! Им можно иметь такую смелость! Я обижен, господа, обижен и буду требовать общественного суда, суда всех дворян, всего сословия, у губернского стола... Я обижен... Клянусь, я говорил правду, я желал обществу пользы. Все, что я ни говорил, сущая правда! Я докажу... здесь свидетелей нет, но я найду, у меня будут свидетели моих слов!

Прошло несколько секунд мучительной паузы. Все сердца бились напряженно; все глаза стремились, по обычаю в таких случаях, под стол.

— Что же, господа, будем вставать! — сказал было Роман Романыч, пуская известную уловку старины, любившей заминать всякие дела, не допуская их до крутых разделок.

— Нет, господа, позвольте, подождите! — перебил его Турбачев. — Здесь обижены мы все, и потому запросто, не вставая, кончим дело. Против господина Пивантьева есть улика! Между нами теперь сидит один из господ депутатов комитета — г-н Скавронский!

Он обратился ко мне, и взгляды всех остальных последовали за его движением. Даже не повинный ни в чем Роман Романыч — и тот поспешил загладить свой промах и спросил меня: «Так вы тоже депутат? А я этого и не знал...»

— Позвольте вас спросить, Александр Сергеич, как постороннего свидетеля этой выходки, — сказал мне Турбачев, — было что-нибудь в нашем комитете подобное тому, что так громко и свободно постарался передать г-н Пивантьев?

Мертвая тишина осенила все общество. Даже слуги остановились у дверей. Слышно было через стул, как билось сердце у Говоркова и как тупоумно и обливаясь потом сопел отставной вице-губернатор.

— Я скажу одно, — ответил я, — подкупал ли NN кого-нибудь из моих сочленов, я не знаю; но по делу об

усадьбах, да и вообще во всех спорных баллотировках — он в этом не нуждался. Везде мнения круга, к которому я сам принадлежу и где он имел честь руководить, выражались всегда огромным большинством тридцати голосов против десятерых. Разделения голосов поровну быть не могло: партия десятерых у нас до конца не завоевала себе ни одного голоса.

За моим ответом раздался такой шум за столом, что ничего нельзя было разобрать. Все спорили и кричали. А у Романа Романыча мелькали одни усы да борода; слов его не было слышно. Турбачев сидел с достоинством и, бледнее против прежнего, молча выжидал конца споров. Пивантьев кричал во все горло.

— Да, может быть... но... все-таки, говорят, что было так! — кричал, покрывая все голоса, Пивантьев.

— Покоритесь, сосед, — раздался голос с другого конца стола, — покоритесь, вы неправы, далеко хватили! И я в этом случае против вас...

Это говорил, преклонивши седую голову, тот самый отставной профессор, бывший депутатом комитета соседней губернии, о бедственном падении которого нам передал в саду Турбачев.

Пивантьев глянул на него и на всех, как волк в последней угонке, огрызающийся на близкие уже морды плотоядных борзых.

— Но как же, однако, это? Я не могу!! Нет, нет, не могу поддаться на это доказательство! — сказал он, едва уже владея собою.

Но в это же время окно сзади Пивантьева зазвенело, и стекла разлетелись вдребезги. Мимо уха его, задевши за курчавый локон, просвистела фаянсовая тарелка, пущенная в голову злополучного болтуна Турбачевым. Общество вскочило. Скандал вышел полный и небывалый...

— Что вы наделали? Боже, Боже! Осрамить мой дом! — вопил Дядятовский, подбегая, когда все встали и слуги стали поспешно уносить со стола посуду, то к пылавшему местью и злобой Турбачеву, то к ахавшим и пищавшим дамам.

— Нет, пересолил и наш пенсильванец! — сказал мне Говорков, с сожалением глядя на общий шум.

— Оррер, оррер! — кричали некоторые из девиц.

— Так подобных молодцов и учат! — говорил студент, ставший спиною к кому-то из подошедших к нему с увещаниями.

Мигом все общество стало разъезжаться. Но шум не прекращался в кабинете, куда друзья Пивантьева собрались толпой, с угрозами отмстить Турбачеву. Турбачев нежданно и смело вошел туда, с хлыстом и папироской, и объявил, что вызывает каждого, кто еще пикнет о комитете. Пивантьев, ероша волосы, стоял у окна.

— А вас, — сказал Турбачев Пивантьеву, — я прошу ожидать от меня, где бы мы ни встретились, всего, что только можно сделать пятью пальцами! Теперь, не сходя с места, прошу вас объявить сейчас же, при всех, что вы за столом сказали ложь, и с умыслом.

Пивантьев оглянулся за спину, на окно, потом на общество и сказал, запинаясь:

— Да, извините... я за столом немного ошибся...

Студент, дама-аболиционистка, еще два-три гостя и седовласый профессор-помещик, очевидно искавший в полном осуждении своего соседа Пивантьева чистосердечного искупления своей недавней депутатской карьеры, стояли на крыльце, вдали от озлобленных, разъезжавшихся приятелей Пивантьева.

— Ай да Турбачев! — говорила громко и с увлечением молодежь из гостей, в потемках усаживаясь во дворе в экипажи. — Вот так проучил! Да еще чуть не выкинул в окно! Заставил сознаться — и тот сознался! Дуэлист! В университете он побил одного господина...

К стоявшим на крыльце подошел, сверх всякого чаяния, сам Пивантьев, уже закутанный в шинель. Он всхлипывал и бил себя в грудь.

— Меня назвали лжецом, меня! Пустили в меня тарелкой! — говорил он. — Бог ему судья!.. О, до чего я дожил,

до чего... Нельзя было уже и пошутить. И желал сословию добра! Ах, грустно и горько у нас служить обществу!..

Он опять ударил себя в грудь, сел в какую-то бричонку и уехал. А вдали, уже за деревней, опять гремели бубенчики и колокольчик на дышле бойкой четверки, уносившей в белых фуражках наших дорожных знакомцев, братьев Турбачевых. Уехали и дама, и студент, и профессор, и отставной вице-губернатор в парике, присыпанном сахаром. Последний, говорят, под шумок, за ужином, решительно напился пьян, и его замертво уложили в чью-то чужую телегу. Сюда он пришел за семь верст пешком, во фраке и в шляпе без шинели.

Уехали и пенсильванцы, и каролинцы... Остались дома одни хозяева да мы с Говорковым, нуждавшиеся в отдыхе и корме лошадей. Ночь прекратила все гражданские смуты. Оба лагеря погрузились в тишину на всем протяжении губернии... до новой схватки поутру.

Роман Романыч, наш былой короткий приятель, простился с нами сухо. Добрая жена его тоже глядела на нас с каким-то сожалением, провожая нас на покой.

Нам отвели комнату во флигеле. Говорков, по обычаю, приобретенному им еще в какой-то роте в Сибири, прочитавши громко и с поклонами при мне все молитвы, лег и заснул как убитый. Мне не спалось. Промаявшись на постели, я встал и посмотрел на часы, наведя их на месяц: было два часа ночи. Я вышел на крыльцо, вырубил огня и закурил сигару.

Двор, дом и сад спали в тишине.

Посидевши несколько времени, я уже хотел идти во флигель на кровать, как из-за угла кухни, от села раздались мерные шаги и какое-то мурлыканье грубым голосом, точно кто едва двигался и бормотал или пел сам с собою. «Конкуррентус, винентус, бабентус...» — отдавалось в тишине. Я вышел за кухню. На полном сиянии месяца двигался ко двору по поляне, с палкой и в каком-то белом балахоне, не то в халате, не то в длинном сюртуке, вид человека — старика

и, очевидно, слепого. Точно, это был слепой старик. Ощупывая палкой знакомую дорогу и напевая про себя непонятное: «Конкуррентус, вивентус, бабентус», — он поравнялся со мной, остановился и вдруг скинул шапку.

— Здравия желаю! — сказал он, шамкая губами и в нос.

Это меня сперва удивило. Но потом я понял, в чем дело.

Запах сигары дал ему средство угадать мое присутствие.

— Кто ты такой? — спросил я старика.

— Крепостной его благородия Романа Романыча!.. крепостной и усердный холоп Елизар Приходько, отставной музыкант, капельмейстер, сочинитель нот и певчий, от малых лет имел необычайный голос!.. А вы кто?

Я назвал себя и объяснил свое депутатство.

Он гордо выпрямился, отставил ногу и, помахивая шапкой, с презрением отвернулся.

— Это все пустяки, дрянь, ваша милость!

— Как пустяки, отчего?

И я стал объяснять ему, что вот «пришла пора» и что теперь господа и правительство дают и вскоре объявят крестьянам свободу.

— Это все пустяки, — повторил он, — сами не знают, что делают. Я с малых лет певчим был у отца моего, настоящего пана; дискантище у меня бедовый был! А теперь вот сегодня я пьян; ну, пьян и пьян, даже в канаве проспал целый день... Ну, пан-то мой, значит, Роман Романыч наидобреющий, только глянул на меня, да и полно; а прежде дали бы дерку, посватали бы с березой липовой на пять недель...

Я не оспаривал отставного музыканта, сказавши только, что, пожалуй, ему-то вольность и не нужна, да молодые-то за нее поблагодарят. Он усмехнулся и помолчал. Выражение безбородого, бледного и морщиноватого лица его из насмешливого перешло в грустно-задумчивое, ноющее.

— Скучно на свете жить, — добавил он, — скучно, а выпьешь, и веселее станет... Эх, паныч вы мой, паничен-

ко! — сказал он, качая седой, плотно остриженной головой. — Где она, вольность-то, у нас на свете? Птицы ее, что ли, имеют, или муха крылатая, или зверь полевой? Не-ма ее, не-ма, и бес ее знает, где она! Не-ма! И пусть на нее молодые не таращатся. Не-ма, панычeнко, и не ищите!

Он надел картуз, как-то всхлипывая, вздохнул, хлопнул по картузу ладонью и пошел далее через двор к какой-то конуре, коверкая опять на латинский лад бессмысленные слова. Я ему крикнул вслед: «Елизар, погоди, я объясню тебе кое-что... ты не понимаешь!» Но старик не воротился. Старый слуга верил старому времени... На дворе свежело... «Стожар» или «волосожар» — по местному названию — голубоватая кучка звезд по северной стороне неба отливалась розово-золотистым огоньком и спускалась к земле. Это опущение здесь считается за близость утра. Большая медведица, по-здешнему — воз, также склоняла уже к земле и свое дышло, и свои оси, и бока своей воздушной колесницы...

Со стороны вольной слободы, где стояли, по словам старого музыканта, солдаты, послышался в тишине медленный крик. Замолчал он и отдался опять. Я стал вслушиваться. Кто-то из гущины верб, ограждавших огороды, — должно быть, солдат — кричал навеселе и, должно быть, товарищу на все лады: «Ива́нов! Ивано́в! А чи не хочешь ты Гапки?»[1] И этот оклик повторялся несколько раз, разносясь по тихим полянам и по реке, уже подернутой туманом близкого рассвета.

1860 г.

[1] Гапка — сокращенное имя Агафьи.

БЫЛОЕ И НОВОЕ

Тетушка моя, Анисья Еремеевна Магденко, говорила как-то, что прежде, бывало, выедет землемер и говорит:

— Хотите, матушка, я вам землицы отрежу чужой, а вы мне заплатите?

— С радостью, батюшка, отрежьте!

— Сколько же вам нужно?

— Да десятинок двести, у соседа Бакланова хорошо бы прихватить! Пустыни отличные, как раз вон за рекой, с моими смежны; конопля и просо отлично родятся!

— А как благодарность будет?! Я меньше ста рублей не возьму. Нужно в губернии заплатить, чтоб бумагу и указ мне написали резать!

— С удовольствием, батюшка, с удовольствием.

Вот и скажет землемер в чертежной, что такая-то помещица просит выслать межевщика, отрезать у соседа купленную землю. Ну, присутствие и высылает с бумагой, за должной скрепой. Выезжает господин. Соседа, как нарочно, дома нет. Показывает бумагу, где предписывается произвести должное отмежевание. Староста соседский ничего не понимает. Выводят с обеих сторон понятых. Ставят вехи, астролябию, ведут черту по самой целине, по черте проводят плугом приличную борозду, роют ямы и ставят столбы. Землемер даже ловкие меры принимает, чтоб и потомство не забыло о его межах, а у самых ям сводит толпу деревенских ребятишек и сечет их, чтоб, когда даже «прежние парнишки станут бородаты» — и тогда бы памятно им было, что там-

то шли они с образами, а там-то еще им задали припарку. Кончает дело землемер, как следует, и говорит барыне: «Ну-с, земля ваша! Теперь благодарность!» И увозит, кроме ста рублей, полотна еще, мотков, грибков, варенья, наливки и всякой рухляди. Ликует барыня. Разумеется, сосед возвращается, видит как раз на сенокосной степи свежие борозды и межевые столбы.

— Это что такое?

Староста говорит:

— Наехал землемер и отрезал такой-то Анисье Еремеевне!

— Быть не может! По какому праву?

Летит в суд. Суд, разумеется, предписывает барыне отдать неправедно отнятую землю; столбы выбрасываются, межи и ямы сравниваются. Все забывается. Землемер ликует. Барыне не тягаться же с ним. Да и улик налицо нет. Межевщики-де не отвечают за землевладельцев и режут, что попросят их размежевать. И остается только в памяти ребятишек, что тогда-то, действительно, их высекли. Был один такой землемер, еще маленький да худенький, невзрачный, а поди — какая птица, что из одного уезда таким образом вывез четыре тысячи на ассигнации. Все у соседей соседям отрезывал поля, а дворяне были на ярмарке, — без себя и поручали благодетелю расправляться. Да еще какой это был проноза! Нужно, бывало, отклонить в роще или столетнем бору линии от астролябии в сторону: он взберется на дерево, зацепится за ветку вверх ногами, повиснет и начнет кричать не своим голосом. Ну, мужичье, понятые и разбегутся от страху. А ему этого и нужно. Сделает свое дело, да их же еще и срамит.

— У меня, говорит, живот заболел. Я так всегда лечусь. А вы чего разбежались?..

Теперь, конечно, люди стали умнее. А жить нужно. Ну, и берут другими путями. И всяк это знает. Думали у нас сначала, что кончившие курс в высших учебных заведениях не будут брать. А оказалось иначе.

— Я, говорит, девятым классом выпущен. Мне нужно и выпить, и поесть, и перчатки тоже нужны. А жалованья сколько?

Все мы, оказывается, немного капитаны копейкины! Как-то один раз в нашей губернии студент из старых московских студентов, уже дряхлый и разорившийся барин, приехал по делу о продаже имения, узнал, что надсмотрщик из университетских и посовестился дать ему благодарность. Смотрит, а дело не подвигается. Что за наваждение! Спросил.

— Те-те-те, — запел ему помощник из канцелярских детей, — да вы дайте ему фиолетовую, и дело с концом!

Сгорел старик со стыда, вспомнивши Мерзлякова, Карамзина и весь классический идеальный мир прежнего храма науки; а делать нечего: вынул из старенького платочка единственную фиолетовую и подал надсмотрщику между листами дополнительных справок. В тот же день дело было подписано. Не вытерпел старик и, бледный, едва сдерживая дыхание, свертывая дрожащими руками дело, на дому у надсмотрщика сказал ему:

— Многонько изволили взять!

Тот вспыхнул и вскочил:

— Милостивый государь, извольте идти вон! Вы забываетесь, милостивый государь! Вон!

Едва выскочил на крыльцо потерянный старикашка.

— Ишь ты, — рассуждал он, — прежде, бывало, дашь, подьячему, да и с ним же еще и выпьешь. А тут!..

И он махнул рукой. Да и винить ли вполне чиновника? Место исстари доходное, так уже принято, и держится на откупу. Долго до него надо дослужиться. А в губерниях при том же все так непомерно вздорожало: четверть ржи прежде стоила два с полтиной ассигнациями, а теперь шесть с полтиной серебром, индейка — целковый, фрак — сорок пять рублей серебром. Тяжелое время!

Кто же не берет? Люди-призраки, люди-идеалисты, люди-либералы, которых еще вчера называли беспокойными, и, наконец, особенно склеенные природы. Ведь бывают же та-

кие антики, плезиозаурусы и мамонты нашей общественной фауны...

Нынче «новым веет» у нас...

Был я как-то на сельской богатой ярмарке, и показали там мне помещика по прозвищу Криничка. Тут кроется острота. Видите ли, как вода в криничке (степном ключе) чиста, так-де и поведение этого господина было чисто и непорочно. У него даже составился особого рода «норов чести», как бывает у русских людей «норов правды-матки», «норов усердия», «норов чистоплотности» и «норов кутежа. Он не иначе при этом уж, разумеется, ходил, как в каком-то засаленном сюртучишке, шалоновых брючках, всунутых в сапоги, в нанковом жилете, грязных рубашках из домашнего холста, нечесаный, с изъерошенной головой, ел гадко, пил простую очищенную, а имел три тысячи десятин земли и везде и каждому совал под нос любимую поговорку: «Палюби, бра-атец, нас в черне, а в беле нас вся-акий полюбит!» Проводил он время, разматывая с утра до ночи мотки пряжи и вывязывая тенета и перепелиные сети. Носил на тоненьких ножках отвислое брюшко и нюхал табак из лубковой тавлинки. Действительно, по общему говору он не брал на службе взяток, служа по выборам, и в расчетах был честен. С любопытством я приглядывался к нему на ярмарке, где он ходил, как падишах, и все ему шапки снимали. Да что же из этого? Через полгода, когда я уже с ним познакомился, послал этот Криничка шерсть со своих овец на ярмарку, не в свой, а в соседний город, продавать, заслышав, что там лучшая будет цена. И что же вы думаете, для чего он при шерсти послал не писаря своего, всегда продававшего шерсть, а старосту? Он хотел наградить старосту.

— Шерсть-де продастся, положим, по пятнадцати целковых за пуд, а он покажет, положим, по четырнадцати рублей по восьмидесяти пяти копеек серебром. Ну, сто целковых в кармане и будет безгрешных барышей! Выторговал! Нельзя же, надо и ему дать почувствовать сладость и утехи тепленького, доходного местечка! Пусть-де поправится, оперится!

Вот и честный, не берущий взяток человек. Сам не берет, да допускает возможность арендаторства там, где одна тень неправды уже бросает порчу в самый корень звания и места, хотя бы это место было не более, как сан сельского старосты. Расскажу вам о хивинце Эскер-Аге, или, иначе, о русском поручике Эскерове, приемном сыне помещика Чебардина. Сидел я однажды у приятеля моего, землемера губернского, Щуковича, в то время, как он еще не затевал печального дела с парикмахером Исидором, но уже, под обузою губернских приятностей, говаривал: «Боже, Господи! Когда-то я буду иметь возможность купить десятины две лесу, в лесу выстроить домик и обнести его частоколом, сажень на сто во все стороны, чтобы погрузиться, в тишине, в созерцанье собственного достоинства, а калитку запереть ото всех на замок и на цепь! Кто придет, даже в двери не стукнет, не заглянет в окно, а прежде повозится у калитки. Вот, провести бы этак годика два жизни, не видя и не слыша никого. Много бы хороших вещей надумалось... Недаром присяжных в Англии запирают в отдельную комнату и морят голодом, пока те не решат, в присест, известного дела единогласно. А тут отписывайся! Ничего и не идет в голову!»

Зашла как-то речь о честности.

— Видели вы, — спросил он, — вчера господина Эскерова у меня?

— Нет.

— Жалко же! Вот субъект, мимо могилы которого я никогда не пройду с покрытою головою. Сущий гость эдема!

— А что?

— Да не любят его у нас разве одни барыни: обидятся, что всегда без перчаток ходит и не танцует польки. Вон, вчера, мадам окружная при муже, нарочно в пику ревнивому супругу, объявила при всех с утонченной развязностью: «Я, Свищев и козел всегда вместе!» А Свищев ее любовник. Вот и поди ты с нашей развязностью. И муж стерпел; только улыбнулся и поцеловал еще ей ручку. Этакая, разумеется, Эскерова не полюбит! Однако, вот в чем дело: покойный свитский полковник

Чебардин, приемный отец Эскерова, делал один раз съемку берегов Каспийского моря и высадился с небольшим конвоем на песчаную косу Хивинского залива. Пока он курил отличную гаванскую сигару и делал свои наблюдения, три всадника, должно быть странники, показались на ближнем пригорке. Они, по-видимому, ехали мимо. Конвой офицера был в шлюпке, куда и он уже готовился воротиться, но еще уклонился в сторону. Вдруг всадники гикнули, кинулись на него, схватили его на седло и умчали. Наши солдаты выпалили по ним из винтовок и пистолетов, но понапрасну. Хивинцы скоро умчали Чебардина из виду. Дорогой он быстро понял свое отчаянное положение, но сохранил присутствие духа. Как это он оплошал, было ему самому непостижимо! Три хищные рожи торчали перед ним, только махая на восток: туда, дескать, тебя запропастим. Вскоре на дороге за холмом, в овраге, к ним пристали еще двое, старик и мальчик, очевидно наблюдавшие за ними издали. Лицо мальчика болезненно дрогнуло при виде скрученных толстым ремнем белых рук и ног всадника, помещенного както в стоячем положении между двух седел. Целый день, пока хищники ехали по степи, глаза мальчика с жалостью обращались то на русского, то на его похитителей. Это незримое участие возросло до невероятной степени, и четырнадцатилетний хивинец стал видеть в Чебардине чуть не полубога, когда на первом же ночлеге офицеру освободили руки и он, вынув из кармана карандаш, на доске поданной деревянной миски набросал удивительно схожий портрет дикаренка. Тут же они кое-как объяснились (Чебардин говорил немного по-персидски) и назвались братьями. В ближнем городке слух о знатном пленнике уже разнесся далеко. Густые полковничьи эполеты, самый вид статного и полного Чебардина и его кабалистические занятия на берегу с магнитной стрелкой и зрительной трубой заставили принять его чуть не за наместника Кавказа. Городские власти тотчас взяли его на свое попечение, думая особенно им угодить хивинскому хану, снарядили караван из верблюдов, пеших и всадников и отправили его далее. Сочувствие маленького Эскера не ускользнуло от первых хищников,

ставших во главе торжественного отряда, и они сказали об этом городским властям. Без дальних околичностей, власти закатили мальчику, несмотря на его княжеский титул, сто палок по пятам и запретили ему шествовать при отряде. О! Тогда месть закипела в груди его. Схвативши миску с нарисованным на ней собственным своим портретом, он сел на коня и в двое суток слетал в свой родимый околоток, где он с другими братьями был в числе владетельных князьков. Прискакал, стал бить себя в грудь, рвать на себе волосы и с пеной у рта клясться и божиться, что надо отнять у таких-то такого-то пленника, что этот пленник стоит большого выкупа, что царь русский не пожалеет за него ничего, что он так-то и вот так-то рисует. Миска пошла по рукам. Дикари забормотали гортанные речи, кинжалы сверкнули, и пятнадцать улусов возмутились и поднялись на ноги. Мигом составлена вооруженная погоня, караван догнан и разбит. Братья и родичи мстили еще за оскорбление родной крови, за наказание Эскера. Чебардин перешел в полчаса из рук в руки — и хивинцы пошли восвояси, ведя вместе отнятых верблюдов. Тут, выждавши на пути случай и время, Эскер-Ага ночью пришел к Чебардину и, подавая ему кинжал, сказал по-персидски:

— Брат, возьми этот кинжал и заколи меня! Я не могу вести тебя в неволю и торговать твоей свободой, а без тебя братья меня зарежут, как барана! Лучше ты меня убей и беги...

Чебардин стал его уговаривать.

— Полно, полно, Эскер, убежим вместе! Я тебе дам в России денег, и ты будешь жить со мной.

— Денег? Нет! Эскер-Ага такой же князь, как и ты, и у него всего вдоволь — земли, скота, овец и садов! Денег я не возьму и не поеду с тобой: ты меня сделаешь своим рабом!..

Чебардину немало стоило труда переубедить Эскера. Он поклялся, что никогда не обидит его предложением денег, будет считать его равным себе и самому царю о нем скажет. Эскер-Ага согласился, выбрал у братьев лучших двух коней, скинул с себя нарядный чекмень и все лучшее, изрезал это кинжалом, чтоб не показать, что берет что-нибудь лишнее, ос-

тался в простом исподнем кафтане и бежал с Чебардиным. После мучительной дороги, на второй день они, верхом и пешком, достигли наконец нашего передового поста. Чебардин, освобожденный так романически из плена, действительно сдержал слово, Эскер-Ага получил имя Эскерова и русское дворянство... Грудь его украсилась серебряной медалью «За спасение»... Чебардина, который его усыновил, Эскеров так любил, что однажды, когда тот отлучился по службе в дальнюю командировку, а Эскера оставил дома полным хозяином, он чуть не уморил себя голодом. После шести или семи лет упорной школы новый пересаженный цветок наконец немного освоился с местностью, принял лоск русской жизни, был записан в полк, говорил уже по-русски, хотя во всем еще сохранил черты степного дикаря, и был произведен в поручики. Одна беда: Чебардин вскоре умер, но, оставя названому сыну дворянство, не догадался оставить ему ни копейки наследства, хотя сам был значительно богат... Говорят, просто забыл составить духовную!! А настоящие наследники, разумеется, обошли хивинца, пользуясь буквальным смыслом закона о родовом имении. Но и тут простодушный, честный хивинец не свихнулся и ни одним словом не намекнул, что скорбит и жалеет об оставленной в Хиве родне, княжеских почестях, стадах, землях, садах и родных, проклявших его за измену во имя дружбы.

— Мой атец, Чебардын, лубил меня. Мой ошень лубил ево! Э, фай! О других я не думайт! — говорил он.

Через месяц после сообщенной мне биографии Эскерова я опять заехал к первому.

— Да! — сказал он после первого приветствия. — Помните мой рассказ о хивинце?

— Помню. Что же?

— А вот что, вообразите. На днях он отчислен был из полка в соседний город для приемки рекрут. Ну, а вы знаете, что такое приемка рекрут?.. Сидит он за столом у станка, крутит усы, держится за шашку да топорщит белки на сдатчиков и на рекрут. Воет баба и ругается.

— Лоб! — кричит главный приемщик.

— Как лоб? Как лоб? — кричит баба. — Он одним оком плохо видит!

Происходит замешательство. Баба воет. Медик показывает, что ничего не замечает, и что-то пишет у двери.

— Коли так, — кричит баба, рванувшись к присутственному столу, — так пусть же лекарь отдаст мне назад пять золотых; он взял у меня, видит Бог, взял!

— Кровь застучала в висках Эскерова; губы его сперва побелели, потом посинели. Он встал...

— Как лекарь взял? — спросил он, шатаясь и неровно идя по комнате.

Лекарь, худенький, золотушный человечек, в зеленом вицмундирчике и в очках, застегнутый на все пуговицы, скромно заложа руку за лацкан, стоял между тем у двери.

— Ты кто? — спросил Эскеров у бабы. — Муж есть, али ты вдова?

— Вдова, батюшка, вдова: пятеро детей и все дочки, а это один мой сынок!

Эскеров глянул исподлобья по комнате и, казалось, уже не видя ничего, подошел к лекарю.

— Вынимай деньги сейчас при всех! Слышишь ли? — сказал он ему громко, стискивая рукоятку шашки и бешено вращая налитыми кровью зрачками.

— Как-с? Что-с? — забормотал лекарь, щурясь и ерзая у двери.

— Отдавай! — крикнул Эскеров уже с таким зловещим выражением лица, что лекарь вытянул только к нему побагровевший носик и замолчал: прилип язык к гортани. Червонцы сама собою как-то при этом достала из правого кармана серых брючек правая же рука и протянула их Эскерову.

— На твои денга! — сказал Эскеров вдове и в то же мгновение, шагнувши мимо присутственного стола, рванул доктора с полу и вышвырнул его за окно... Одни золотые очки зазвенели по полу...

— Благо, что оно не было высоко! — замечали, толкуя про этот казус, местные чиновники. Лекарь отде-

лался небольшим ушибом, а приемка рекрут пошла более честным путем.

Рассказ об этом был сообщен Щуковичем в присутствии нескольких человек гостей, где были и дамы.

— Да! Герой для повести! Уж мосье Щукович всегда такую любопытную историйку сообщит! — говорили дамы.

— Нет, это понятно... понятна цель рассказа! — возразил, горячась с каждым словом, сухой и едкий чиновник из уголовной палаты. — Только предмет не достигнут! Что же вы хотите, милостивый государь, сказать? Что если кто не берет у нас взяток, так только выходцы, люди, подобные Эскерову, дикари, первобытные натуры, бросающие родину, домашний почет и братьев за слово «друг»? Сущий вздор, милостивый государь, сущий вздор! Наше время ушло вперед, ушло-с! Да! И вы умалчиваете, умалчиваете! Есть уже люди с образованием, совестью, вкусом и сознанием долга! Вон наш Трембицкий писал, и другие тоже писали! Да... есть люди, не берущие взяток, есть; а это — либерализм, пустословие. Расскажу вам о Карпе Семеныче Мокроболотове...

Но, увы! Красноречивый защитник Карпа Семеныча Мокроболотова начал службу с рублем, а теперь — не угодно ли справиться? Имеет на имя жены два дома и строит свечную фабрику на краю города...

Пройдет еще пять лет, он будет покровителем и сподвижником дела цивилизации. И прошу покорно тогда заговорить ему о взятках. Одна из роскошнейших роз нашего околотка, он назовет скромную быль о хивинце Эскерове журнальной дребеденью и скажет:

— Молодежь, молодежь! Шумит, пока перебесится. Эх, вы, умники, умники! Россию вы мало знаете! А узнаете, не будете так горячо доверять всяким вздорным писакам... Словом, знакомые мысли...

1860 г.

ВЕЧЕР В ЧЕРЕШНЯХ

Был у меня в соседнем казенном местечке, Черешнях, приятель-доктор. Служа при военном госпитале, он составлял редкое исключение. Ну, велико ли казенное жалованье военного медика? А посмотрите, между тем, чего у него не было! Последняя копейка шла на приобретение книг, газет и журналов. Рижскому известному садовнику и поставщику припасов на всю Россию, Вагнеру, стоило только назвать имя Карталинского, он приходил в восторг: «А! Герр Карталинский, герр Карталинский! О! Это — великий знаток и покровитель флоры: он ее понимает и живет ею!» Стоит ли прибавлять, что герр Вагнер знал герра Карталинского по переписке, за полторы тысячи верст, и что сад великого покровителя герра Карталинского был величиною всего в пять квадратных сажен. И когда подумаешь, что другие соседи, окрестные помещики, владельцы имений в тысячу и в пять тысяч десятин земли, имеют сады, где прозябают искони одни яблоки да дико растущая туземная вишня, то невольно берет злость. Иной раз приедешь к такому господину — на дворе жарко, в комнатах без занавесок душно, и спешишь в сад.

— Куда вы?

— В сад! Хочется посмотреть на ваши дорожки и беседки. Ваш сад, говорят, столетний, и еще адъютант Потемкина, ухаживая за вашею прабабкою, насадил каштаны.

— Э! Помилуйте! — отвечает без запинки хозяин. — Стоит ли ходить по бурьянам? Каштан этот, может быть, и есть, да я не видел его; а дорожки у нас не чистятся уже седьмой год. Перестали плодить бергамоты, мы его и запустили!

А у Карталинского — чудеса, сущие чудеса. Пришел он чуть не пешком в местный университет, кончил курс, живя уроками, женился, кажется, на другой же день после выпускных экзаменов, на сестре губернского учителя, такого же бедняка, как и он, и был причислен к военному госпиталю. Квартирка его в Черешнях, бедном местечке, где квартировал уланский полк, состояла из трех комнат. При квартире был дворик величиною с любой зал иного помещичьего дома. У этого-то дворика он и отрезал часть земли под сад. Удобрил землю, насадил деревьев, и пошли дива дивные. В одном углу сада, с необычайной быстротой давшего уже густую тень от белых акаций, дикого жасмина и душистых тополей, явилась тепличка, в три аршина длины и вышины, куда невозможно было даже и войти, но где разводились на зиму и выставлялись к весне на воздух оранжерейные растения. В другом углу возник парничок, и к Пасхе за столом доктора стала являться зелень, редисы, щавель, салат и скороспелые огурцы. У самых окон дома, выходивших в сад, раскинулся диковинный цветник таких цветов, о которых в околотке и не подозревали. Среди клумб вознеслась беседка с хитро размалеванными карнизами и стенами. Хмелевая беседка, с ванною внутри, приткнулась уже у самого плетня в переулок. Наконец, вдоль белой, солнечной стороны домика, имевшей, даже в осенние дни, градусов до пятнадцати тепла, явились виноградные лозы, и на второе же лето собственные ребятишки Карталинского, в конце сентября, нарвали корзинку, фунтов в двадцать, своего винограда, да какого еще: первейших южных сортов, нарочно выписанных из Крыма и Кавказа! А собственная душа Карталинского, любовь к чести и к правде, вопреки житейской логике? Э! Лучше об этом и не упоминайте... Люблю я эту слободку Черешни... Сидел

я на днях в садике у Карталинского. Зелень едва проглянула, но на солнце было уже тепло. Он курил сигару из своего доморощенного мерилендского табака, который тоже возделывал, и был в торжественном настроении духа. Жена его, Вера Осиповна, еще в ваточной мантилье, сидя на скамеечке с косым изголовьем, читала вслух какую-то повесть из новых журналов. Изредка чтение прерывалось общими замечаниями. Чего, казалось, еще недоставало для счастья бедных людей нашего десятка? Весна, первые теплые дни, умная книга, милое общество доброй молодой женщины. Соловьи только что прилетели. Кругом разносилось дыханье первых липких почек тополей, одаренных необыкновенной пахучестью. Кусты крыжовника убирались зелеными куколками. Береза из-за плетня опускала ожерелье своих гладеньких цветочных сверточков. За ближними вербами, по ту сторону соседних огородов, раздавалось веселое побрякивание цимбал и тренькание ходячей скрипки. Там был спрятан под ветвями, у реки, шинок. А над нами трепетно сквозила и точно носилась вверху и плавала «лазури таящая нежность...»

— А вот, вы не знаете, о чем я думаю? — сказал Карталинский.

— Не знаю, Михаил Петрович!

— Вот о чем. Только что я сегодня сделал обход в госпитале, побывал на перевязке и у труднобольных, как говорят мне, что какой-то помещик приехал прямо в госпиталь; прихожу я к нему. «Что вам угодно?» — «А вот, нельзя ли дать этому сыну моему свидетельство, задним числом и годом, что ему привита оспа?» Удивило уже меня это предложение о заднем числе, но я скрыл удивление и только спросил, зачем такое свидетельство. «А в гимназию думаю его поместить. Только туда не принимают без такого свидетельства. Напишите, я вам и денег дам!» Отпустил я фельдшеров и вступил с ним в разговор. Думаю: хоть усовестить его, а то еще и к другому с такими же предложениями поедет. Разговорились мы. Что ж бы вы думали? Неймет его! Так и лезет: напишите да напишите! «Я, — говорит, —

пять целковых дам!» — Из мелкопоместных! — «Да вы, — говорю, — заразите все училище!» — «Э! В том-то и штука, что нет; там уже у всех привита; Ване моему и не у кого будет заразиться!» Насилу его спровадил.

Разговор перешел к заботливости некоторых помещиков заводить у себя для лечения крестьян «домашние аптеки».

— Что же, это превосходно, мой друг, — заметила жена, — дело цивилизации выиграет, хоть люди твоего ремесла и теряют...

— Цивилизация!.. Превосходно!.. Год назад зовут меня за Подпольную: гонцом прискакал какой-то юнкер, в усах, с косую сажень, тройку лошадей загнал. Что такое? «Папенька, — говорит, — сестрице хотели дать слабительного, да вместо того спросонок, после обеда, дали чего-то такого, что ее все рвет да рвет, и она кричит, точно под ножом!» Полетел я. Оказывается, что заботливый батюшка дал дочке вместо английской соли ложечку свинцового сахару. Насилу отпоили и вылечили. И то до сих пор резями страдает. А другой вместо кремортартара собственному садовнику закатил мышьяку. Так и схоронили бедняка. Меня же еще и позвали, точно на похороны. И славный был садовник: Ван-Гутта понимал и за границей был... А то, тоже завелась у некоторых страсть репутации фельдшеров составлять. Иной подумает, что из зависти это говоришь. Отрядишь в деревню для первых пособий фельдшера — кровь бросить, банки поставить, рану перевязать; смотришь — через месяц его уже и не узнаешь. А чем портят? «Иван Гаврилыч да Агей Филимоныч!», и становятся Ванька и Агешка в число окружных гениев. Воротнички отпускают; на неофициальном, праздничном сюртучке офицерские погончики тайком ставят. А помещик и уши развесил! Важничает и ломается у него фельдшер. Уж и за одним столом обедает. А отчего? Дешевле, видите ли, визиты стоят, чем приезды настоящего доктора. Ну, до поры до времени и сходит с рук как-нибудь. Та же английская соль, рвотное, пипирменты, сода, тинктура, валериана и другие подручные снадобья играют пока без-

вредную роль. Но вдруг помещик заболел не на шутку. Затянулась злая лихорадка, грозит горячка, завалы сделались, острое воспаление. Что же вы думаете, доктора тогда позовут? Как бы не так! А Гаврилов зачем, а Филимоныч разве не гений-самородок? «Ведь, — говорят, — у Трындиной грудница после родов сделалась, лечили-лечили эти доктора (в сущности, оказывается, что одного Яблочкина позвали, по знакомству, из городка, да и тот не поехал, зная скаредность звавших), а он сделал припарки, и все как рукой сняло». Вот и посылают за Филимонычем уже не тележку, а экипаж, коляску четвериком. Филимоныч заводится штатским платьем. Отводят ему комнату, и живет он там по неделям. В госпитале до него мало дела, и жуирует он на сладких хлебах, даже рецепты тайком в губернскую аптеку посылает. Хвать, а помещик уже и на отходе... «Пошлем, — говорят домочадцы, — за Карталинским!» Едет Карталинский, ничего не зная. Филимоныч при этом разоблачается и в погончиках встречает начальника навытяжку. «Чем ты лечил?» — «Так и так-с, одни предварительные-с меры». Расспрашиваются далее домашние. «Как предварительные? Ах, ты душегуб, мерзавец, убийца! Ведь ты кровь бросил?» — «Бросил-с...» — «В лихорадке и старику кровь бросил?! Вон отсюда! Мерзавец, вон»... Но уже поздно, и экономный господин отправляется, благодаря Филимонычу, на тот свет... А прошу покорно уверить их, что теперь доктор без платы за визиты лечения жить не может! Плату суют, краснея и заикаясь, точно взятку дают. Да о том еще и не подумают, что коли тебе известно, что я по полтора целковых в час беру, так ты уже, суя деньги из-под полы или в шляпу, все давай, а то смотришь, трех целковых и недодал... Точно подарок или милостыню дает... Да чем же мы-то виноваты, что в детстве голодали, молодость убили за книгами и в душных клиниках, а теперь обладаем таким же собачьим аппетитом, как и вы все? Чем виноваты в этом мы?.. Нет, далека еще та пора, когда умственная производительность будет у нас цениться если не выше, то хоть наравне с ве-

щественной. Сапожнику заплатит долг сполна, а учителя музыки надует! Перчаточнику заранее шлет деньги, а книг не покупает в лавках и по объявлениям — у приятелей зажиливает! Будто эти господа писатели для того и живут, чтобы голодать да думать о бессмертии в потомстве! Нет, коли ты сыт, весел и здоров, так дай же есть и литератору, и музыканту, и доктору... Был недавно один презабавный случай...

Карталинский не окончил. На дворе стало сыро, и мы вошли в комнаты. В зале было шумно уже и горели свечи. Старший сын хозяина, Александр, гимназист пятого класса, живя на пасхальных праздниках, возился у стола над сосудом с проволоками, где отливалась гальванопластикой какая-то красивая медаль. Полненькая, черноглазая дочка хозяина, Машенька, пансионерка, вырезывала восковые цветы. Меньшой сын, Миша, возился с собакой. Мы перебрались в гостиную...

— Был один презабавный случай, — продолжал здесь снова Карталинский, — и, кажется, всего лет пять-шесть назад. Один богатейший помещик на Подпольной, Проскуряков, начитал где-то в газетах, что какой-то иностранец предлагает выгодно устроить сахарный завод. А у него был какой-то доморощенный заводец с отсталою системою производства, с тяжелыми и устарелыми машинами. Вот он и выписал иностранца. Нельзя же. Является на Подпольную честнейший бельгиец, Девинь, как теперь помню, — я даже видел его. Мне показывали его на ярмарке, уже прогорелого. Начинается дело. Пишется контракт. Завод сдается на том условии, что, положим, с каждого берковца сахару в пользу Девиня, как преобразователя завода, за его труд и хлопоты отчисляется десятый процент. Контракт подписан обеими сторонами, и в нем положена еще неустойка, что-де «кто нарушит контракт, платит противной стороне пени тысячу рублей серебром». Закопошился бельгиец, трудится день и ночь, ползает по лестницам и печам, переменяет людей, переменяет машины, ведет корреспонденцию с лучшими загра-

ничными сахароварами и рафинадными заводчиками, на безденежье помещика прилагает в кипучем деле три тысячи целковых собственного кровного капитала, с прибавкою жениных денег, и кончает тем, что делает чудеса: в два с половиной года завод, прежде не окупавший работ своих и материалов, усемеряет производство. Помещик в первый год стал получать десять тысяч серебром чистого дохода, на второй — восемнадцать, на третий — двадцать пять. Готовясь к четвертому году, Девинь объявил, что надеется этот доход в грядущем году довести до тридцати пяти тысяч рублей и что кладет последний камень, становится простым компаньоном, а из Манчестера на два года выписывает еще новую машину и такого машиниста-заводчика, что фабрика на седьмом году станет на неизменный путь пятидесяти тысяч целковых ежегодного барыша. При этом самому Девиню десятым процентом выпадало на долю пять тысяч рублей серебром. Завидная доля, зато же и хлопот много, а знания и природного гения еще больше. «Пять тысяч целковых, — стал между тем рассуждать наш господин, — да этак, считая платежи в опекунский совет да вычеты по долгам частным — и все мое имение того не стоит! За что же давать басурману?» Покрепился еще, выждал, пока Девинь действительно выписал новую машину и шотландца-машиниста, да в одно прекрасное утро выгнал бельгийца, со всей его семьей, за околицу своей деревни. Он рассчитал, что гораздо выгоднее ему заплатить сразу тысячу целковых неустойки, чем, сохраняя при устроенном уже заводе Девиня, уделять ему ежегодно по пяти тысяч целковых. Как был Карл Богданыч в шлафроке и вязанном дочерьми колпаке, так его и вышвырнули, сунувши в руки пакет с тысячью рублями и с письмом барина: « Я-де тобою, Карл Богданыч, недоволен. Иди с Богом и устраивай заводы в других местах. А за неустойкой я не погонюсь — возьми ее себе до копейки по условию!» — «Вздор, вздор! — вопил бельгиец, бегом летя в шлафроке через озадаченную деревню к барским покоям. — Ты отдал неустойку? Хорошо! А мои лучшие шесть

лет жизни, а моя репутация, честь и слава!» Проклял Подпольную бедный бельгиец и пошел таскаться сперва по разным заводам, предлагая свои услуги, а там уже просто по кабакам. Осрамился перед соотчичами, перед семьей и запил горькую чашу. Я, говорю, видел его сам как-то на ярмарке в Лышкове. Стоит издали, прислонясь к возу с мешками, ногу за ногу заложил и качает головой, а голова уже белая, как серебро, и весь распьян. «Мусью, — кричат местные мелочные торговцы, — открой завод!» А в другом конце площади стоит толстый-претолстый брюхач. «Кто это?» — «Проскуряков!» Подхожу ближе. Разговор, слышу, идет о той же известной всем проделке его с бельгийцем. Он говорит, размахивая руками и косясь через плечо к видному вдали возу с мешками, а слушатели надседаются от хохота. «Как так?» — «А вот как! Рассчитываю я, что заплатить неустойку выгоднее. Ну, вот я призываю приказчика Нестеренко. Так и так, Нестеренко, обделай дельце. Ну, и обделал»...

Карталинский не кончил и стал перелистывать книги и газеты на столе; мы поболтали еще и готовились разойтись спать. Я мимоходом взглянул на разложенные по столу книги. Передо мною лежал Шиллер, с картинками, которые перебирали перед тем дети.

— Да, — заключил Карталинский, — оспа, коммерческая честь и взаимный кредит у нас туго принимаются, да вряд ли когда вполне и примутся, а вот романтизм так глубоко пустил корни. Знаете ли, что в мои студенческие годы, не далее, значит, пятнадцати лет, у нас на Вшивой Горе был свой Вертер? Да! Вы смеетесь? Нет, истинная правда! Вообразите, полюбил пехотный офицер барышню, зачитавшись Марлинского и других сочинителей, свирепствовавших в то время в нашей литературе. Читают они вместе «Фрегат Надежду», «Капитана Миловзора», «Торкватто-Тассо» и кстати «Страдания Вертера». И что же бы вы думали? Напечатлели один раз друг другу поцелуй, за чтением наедине, да и поехали на Вшивую Гору. Приезжают ночью, а там есть клад-

бище. Привел офицер барышню на какую-то могилу, а она в белом платье, и волосы распущены. Поставил ее на колени, велел молиться Богу. Поцеловались они еще раз. Он ей и говорит: «Там увидимся, где вечный май?» А она ему отвечает: «Ах. Точно. Там увидимся, где вечный май!» Приложил изверг ей пистолет к груди, и бац. А сам, пока она трепетала в последнем издыхании, взъерошил себе волосы, выкурил трубку и тоже застрелился. Сторож видел всю эту проделку, но так перепугался, что не высунул носа из будки и на другой день только все рассказал полиции.

— Да отчего же ты не крикнул, никого не позвал, по крайней мере, на помощь? — допрашивали его. — Может быть, тебя услышали бы?

— А я думал, что это черти! — отвечал сторож.

Так и похоронили...

P. S. Когда рассказ этот готов был к печати, я получил письмо от жены Карталинского: «Вообразите наше горе. Без всякой видимой причины, мужу моему сегодня объявили, что он переводится в Грознуйск. Прощай наш сад, оранжерея; прощайте и вы. Напрасно он толкует о ломке. Надо ехать с места, где мы прожили столько лет».

1858 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 6

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 26.12.94. Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,3. Уч.-изд. л. 24,53. Тираж 15 000 экз. Заказ 12

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ